ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[9] 2011

роман АТТИЛЫ БАРТИША
«СПОКОЙСТВИЕ»

СТИХИ ИЗ КНИГИ «СОН-ТРАВА» ИВАНА ГОЛЛЯ

Основан в 1955 году

[9]
2011

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

3 Аттила Бартиш *Спокойствие.* Роман. Перевод с венгерского Дарьи Анисимовой

191 Дэниел С. Либман *У кошки в брюхе.* Рассказ. Перевод с английского Антона Ильинского

204 Иван Голль *Стихи.* Вступление Клэр Голль. Перевод с немецкого и послесловие Вальдемара Вебера

Из будущей книги

213 Евгений Беркович *Томас Манн в свете нашего опыта*

Трибуна переводчика

257 *"Я не был первооткрывателем Томаса Манна".* Интервью Натальи Громовой с Соломоном Константиновичем Аптом 27 сентября 2009 года

Письма из-за рубежа

272 Сергей Гандлевский *Повторение пройденного: пять дней в Гаване*

БиблиофИЛ

278 *Среди книг* с Верой Калмыковой

281 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2011

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. М. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Кэндзабуро Оэ
Роберт Чандлер
Умберто Эко

Редакция :

Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Ю. А. Ларикова
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
Ю. Д. Романова
Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина"

Аттила Бартиш

Спокойствие

Роман

Перевод с венгерского Дарьи Анисимовой

ПОХОРОНЫ назначили на субботу, сказали, в первой половине дня в одиннадцать, сначала я думал, стоит подождать несколько дней, возможно, Эстер уже вернется, но замораживание не стали продлевать даже за доплату, женщина в бюро ссылалась на какой-то новый порядок и еще спросила, почему я не хочу кремацию — это и дешевле, и гораздо практичнее, к тому же я смогу выбрать дату, которая подходит всем членам семьи, — я ответил, я не могу сжечь свою маму, тогда уж лучше в субботу, и заранее заплатил за трехдневное хранение, она оформила счет и записала в книгу доставки: семьсот четыре-с-гробом-суббота-Керепеши, затем положила передо мной какие-то бумаги и показала шариковой ручкой, где я должен расписаться.

Когда женщина в бюро предложила кремацию, я невольно вздрогнул, потому что вспомнил мамины судорожные гимнастические упражнения — смотри, вот так они садятся, говорила она и, цепляясь за спинку металлического стула, стоявшего рядом с ее кроватью, показывала, как садятся мертвые в печи, по-

© 2001 by Bartis Attila
© Дарья Анисимова. Перевод, 2011

тому что пару месяцев назад она смотрела на эту тему научно-популярную передачу. С тех пор почти каждое утро она демонстрировала мне, как садятся мертвые, а я говорил, успокойтесь, мама, никто вас не сожжет, и осторожно, у вас опрокинется чай, но через несколько дней она снова заводила об этом речь, сынок, кремация — это безбожно, и я знал, она боится, что тот, кого сожгут, уже не воскреснет, и мне это даже нравилось, потому что никогда в этой долбаной жизни ей не было дела до Бога. В итоге она стала требовать от меня, чтобы я поклялся, что она не попадет в крематорий, она запрещает сжигать себя, на что я ответил, что не собираюсь ни в чем клясться, к счастью, она ведь не лежачая больная и вполне может дойти до нотариальной конторы и там получить бумагу, что ее нельзя сжигать, и только тогда она перестала об этом говорить, потому что последние пятнадцать лет она панически боялась выходить из квартиры.

Словом, сперва я представил себе, как она садится — уже в печи, но потом я вспомнил про Эстер, а вдруг она все-таки вернется, мне хотелось, чтобы она увидела это исхудавшее тело, ногти, в последнюю ночь изгрызенные до лунок, узловатые пальцы с семью памятными кольцами: памятное кольцо сезона Юлии, памятное кольцо фестиваля поэзии, памятное кольцо московского фестиваля... фальшивые кольца, с которых уже давно слезла позолота, и они окрашивали основание пальца в черный или зеленый в зависимости от того, были они сделаны из меди или из алюминия. Я хотел, чтобы она увидела ее липкие от лака соломенно-желтые волосы, на которые из года в год все более причудливо ложилась краска и из-под которых уже просвечивала пепельно-серая кожа головы, я хотел, чтобы Эстер увидела груди, снова тугие от трупного яда, которые мама в свое время, после того как новорожденные сосали их полтора месяца, мазала солью, чтобы укрепить соски, но больше всего я хотел, чтобы она увидела мертвый взгляд — взгляд, ничем не отличавшийся от живого, синее свечение которого, начиная с субботы, будет освещать глубину пятнадцать лет ожидавшей ее могилы, потому что я так и не смог закрыть ей глаза.

В некрологе не было необходимости, последние полтора десятка лет у нее не было знакомых, и я не хотел, чтобы кто-то, кроме Эстер, приезжал на Керепеши. В сущности, я ненавижу некрологи, около тридцати таких лежало в маминых ящиках. Ее имя забыли вычеркнуть из каких-то списков по рассылке, так что в позапрошлом году почтальон принес очередной некролог, а она целыми днями их перечитывала — бедный несчастный Винклер, а какой одаренный был Гарпагон, ну не ужас-

на ли жизнь, даже такие выдающиеся актеры, никто не избежал плачевной участи. Ужасно. Просто ужасно. Никогда не забывай, сынок, сегодня Винклер, завтра ты. Ужасно.

Иногда она отыскивала в ящике несколько некрологов и раскладывала их на письменном столе, один за другим, словно пасьянс. От многочисленных прикосновений они покрылись жирными пятнами, как цыганские гадальные карты, только по ним гораздо точнее можно было определить дату смерти и узнать, наступила она в результате трагической случайности, или после долгой болезни. Она часами раскладывала листочки с черными краями, систематизируя их в зависимости от даты смерти, или от возраста умершего, или по его религиозной принадлежности — и в это время пила мятный чай.

Протестанты в среднем живут на шесть с половиной лет меньше, чем мы. Это же не случайно. В таких вопросах не бывает случайностей, сынок, говорила она.

Конечно же, вы правы, мама, но сейчас мне надо работать, говорил я, и она возвращалась в свою комнату, и снова подсчитывала, кто живет дольше.

В воскресенье накануне я поехал в провинцию на встречу с читателями. Я принимал эти приглашения не столько из-за денег, сколько из-за того, что в городе мне не хватало воздуха. Я сходил в магазин, приготовил еду, и затем, запирая дверь, уже после второго поворота ключа я услышал, когдатыпридешь?

Постараюсь пораньше, мама; самое позднее завтра вечером, суп в холодильнике, не забудьте разогреть, телевизор выключайте на ночь, повторил я, по сути, обращаясь к двери, закрытой на двойной замок, которую мама для безопасности дополнительно запирала на двойную цепь, она считала, что дополнительные меры предосторожности не помешают, из тех же соображений она держала дома огнетушитель, и дезинфекционную камеру, и несгораемый шкаф Вертхайма, точно так же из соображений безопасности она несколько недель распечатывала свои письма вместе со мной, после того как увидела по телевизору, что осталось от премьер-министра или от мэра, которые сами распечатывали свои письма.

Клочки, сынок, по телевизору показывали клочки вокруг стола, говорила она и спешила в туалет, словно доверяя мне вскрывать письма исключительно потому, что ей именно сейчас надо было пописать. Однажды она постучалась в мою комнату, ночью разумеется, встала на пороге — когда я был дома, она никогда не входила — и завела свою старую песню, сколько можно курить, ты хочешь меня убить, а я сказал, сейчас я проветрю, мама, но она продолжала стоять в дверях.

В чем дело, мама, спросил я.

Ты хорошо знаешь, о чем я. Не читай мои письма. Это моя жизнь, моя личная жизнь, к которой ты не имеешь никакого отношения, понял? Я сказал, хорошо, больше я не буду их вскрывать, а теперь в конце концов идите спать, потому что три часа ночи, и в последние месяцы я уже не писал ей писем.

На вокзал я пошел пешком, минут тридцать спокойным шагом, мне просто необходима была эта прогулка. Как правило, прежде чем куда-то идти, даже если просто в магазин, я вначале совершал небольшую прогулку в Музейном саду или кружил по кварталу, чтобы перестроить свое сознание и вспомнить, как произносить предложения, которые заканчиваются не на *мама*. Хотя если быть совсем точным, мне нужно было подготовиться не просто к другим предложениям, но и к другим жестам, даже к другому дыханию. Первые несколько минут моей прогулки я как бы находился на ничейной территории, между "когдатыпридешь" и "гдетыбыл" вот уже пятнадцать лет сменяли друг друга времена года, разливался Дунай и разваливалась на куски империя зла. Чего только не случалось в этот период: менеджеры основывали секты, бухгалтеры, подсчитывавшие баланс, переписывали Евангелие от Иоанна, торнадо называли в честь певиц, а землетрясения – в честь политиков, пятнадцать Нобелевских премий мира нашли своих обладателей и столько же пожилых женщин сбежали на лодке с последнего в мире острова прокаженных. Однажды между когдатыпридешь и гдетыбыл появились на свет три социальных закона и триста искусственных спутников, в Азии три языка были признаны мертвыми, а в Чили три тысячи политзаключенных были уничтожены будто бы случайным обвалом в шахте. Между "когдатыпридешь" и "гдетыбыл" обанкротился ближайший круглосуточный магазин, а жуликоватый сборщик налогов продолжал обходить территорию, от метиловой контрабандной водки ослеп прежний почтальон, а грязь из канализационных труб забила гейзером. Наконец, между этими двумя вопросами дворник вышиб плод из живота собственной дочери, потому что четырнадцатилетняя Эмеке сказала, что она всем сердцем любит дядю физрука, и не захотела делать аборт, и тогда отец впервые ударил ее по животу, это было, когда мама спросила когдатыпридешь, и к тому времени, когда я вернулся от Эстер и врал, что я просто ходил на концерт, Эмеке уже сделали первую операцию.

Я предполагал, что раз уж я согласился на это выступление, я выдержу его, каким бы оно ни было, ведь я еду туда по собственной воле. То есть если будут вопросы, я отвечу на них, в

конце концов, человека приглашают в сельскую библиотеку ровно для того, чтобы можно было задавать ему вопросы: почему он пишет, над чем сейчас работает, доволен ли своими достижениями или рассчитывает на что-то большее? Я даже записал на бумажку несколько заранее сочиненных ответов, чтобы не напрягаться на месте, реакция у меня замедленная, импровизированные ответы мне обычно не очень-то удаются, а однажды я чуть не сгорел со стыда, я согласился принять участие в телепередаче, выходившей в прямом эфире, ведущая задавала вопросы трем писателям, и, когда дошла очередь до меня и мне нужно было говорить, почему я пишу, я мог думать только о том, что сейчас мама сидит дома перед телевизором, пьет мятный чай, и, когда я вернусь домой, она опять спросит меня, гдетыбылсынок. И тогда я сказал в прямом эфире, что сочинительство — это самоубийство для малодушных, но тут же понял, что не нужно было этого говорить, и ведущая сразу обрушилась на меня, что она с ходу может назвать немало великих писателей, для которых самоубийство это все-таки веревка или товарный поезд, и после этого она разговаривала только с двумя другими писателями, которые несомненно давали более взвешенные ответы, а я из-за своего неудачного высказывания тридцать минут молча сидел в свете софитов, словно на скамье подсудимых. А когда я пришел домой, мама спросила гдетыбылсынок, ты пока не уходи никуда, и еще телевизор не работает, а я знал, что с телевизором все в порядке и что после передачи она просто выключила этот канал, чтобы притвориться, словно она ничего не видела.

Так что теперь я знал, для таких случаев надо заранее готовить ответы, и какое-то время я просил журналистов, чтобы они присылали мне вопросы в письменном виде, и у меня ушло несколько ночей на то, чтобы дать несколько более-менее приемлемых ответов, которые смогли бы заинтересовать читателей литературных изданий или женских журналов. Не то чтобы эти ответы были исчерпывающими, напротив, к сути дела они имели весьма отдаленное отношение, что-то типа ясамнезнаю или хотелосьбымнезнать, но, по крайней мере, они были остроумными и мне не было за них стыдно, ну да ладно, в общем, я решил, что постараюсь оправдать ожидания, в общем-то совершенно обоснованные, и, если после выступления будут голубцы или распитие палинки, я тоже выпью палинки и не буду притворяться, что я себя плохо чувствую, как полгода назад, тогда я так хорошо притворился, что до глубокой ночи сидел в привокзальной забегаловке и все никак не мог подняться и уйти.

Путевой обходчик отвел меня к себе домой, и ночь я провел у них, и муж не знаю сколько раз выходил передвигать стрелки, и жена не знаю сколько раз меняла мне компресс на лбу.

— Сейчас будет полночный скорый, — говорила она и накрывала мне лоб платком, смоченным колодезной водой.

— А сейчас пассажирский в час двадцать, — говорила она и снова опускала тряпку в ведро. Когда мимо проходил товарный в три пятнадцать, я орал ей, у тебя соленые сиськи, ты, шалава, а женщина рыдала и умоляла мужа, садись на велосипед и поезжай за врачом, но мужчина говорил, врач тут не поможет, в чем дело, знаю только я, и та, на кого он орет.

Я проснулся под грохот поезда в десять сорок пять, со мной уже все было в порядке, путевой обходчик дремал на стуле, облокотившись на подоконник, окно было увито пеларгонией, железнодорожная каска, съехавшая на затылок, закрывала его шею от летнего солнца, а женщина поставила передо мной тарелку с яичницей и кружку с чаем, села за противоположный конец стола и молча смотрела, как я ем, и одновременно чистила горох или бобы. Несколько минут ничего другого не было слышно, только храп путевого обходчика, и стук горошин или бобов, падавших в таз для умывания, и то, как столовый прибор звякает по моей тарелке, и казалось, эти три звука заполняли вселенную с начала времен. Вилка звякала по глиняной тарелке именно в тот момент, когда в руке у женщины появлялось новое зернышко, и мы втроем играли музыку, которая заполняла вселенную, пока не прозвенел путевой звонок, или пока у меня не кончилась яичница, или пока таз не заполнился бобами, я уже не помню, ну да ладно.

— У вас есть сигареты? — спросила женщина.

— Я потом куплю в вагоне-ресторане, — сказал я.

— В этом нет вагона-ресторана, — сказала она и вытащила у мужа из кармана три "Симфонии".

— Спасибо, — сказал я.

— Это тоже возьмите, — сказала она и налила кофе во флакон из-под "Олимпа".

— Спасибо, — сказал я.

— Будьте осторожны, — сказала она.

— Спасибо, — сказал я, и пассажирский в двенадцать десять уже мчал меня обратно в Пешт, и на мгновение мне даже удалось представить, что я никогда больше не вернусь домой. Наверняка у железнодорожной компании где-нибудь есть еще одна такая служебная однокомнатная квартирка или садовый участок у железнодорожной развилки.

И когда я добрался домой, мама была не очень-то расположена со мной разговаривать, потому что я опоздал на полдня. Она

просто сидела напротив подрагивающего телеэкрана, мешала мятный чай, позвякивая ложечкой, потом она принимала валерьяновые капли, потом поправляла шелковый халат перед зеркалом, которое она когда-то притащила из своей прежней гримерной, потом звенела в прихожей двойной цепью и только после этого подошла к моей двери. Несколько минут я слышал ее тяжелое дыхание, и чувствовал миндальный запах ее пота, и знал, что она готовится произнести свою коронную фразу, и я тоже достал ручку и стал сочинять заранее, что я отвечу, потому что мы так привыкли, наконец она постучала.

— Гдетыбылсынок, — спросила она, хотя она точно знала, где я был.

— Я ездил выступать, мама.

— Я запрещаю тебе читать людям всю эту чушь.

— Почему чушь, мама?

— Ты отлично знаешь. Больше не пиши обо мне некрологов.

— Это новеллы, мама.

— То, что ты пишешь, отвратительно. Чушь. Гадкая чушь. Все это только плод твоего извращенного воображения.

Может быть, мама. Возможно, вы правы, но сейчас ложитесь спать, потому что уже четвертый час, сказал я, в чем-то она по-своему была права, большинство моих знакомых считали, что моя мама умерла несколько лет назад. Похвальные рецензии ползучими вьюнками обвивали ее имя, точно памятник... Бледные поклонники расспрашивали о ней, но я не отвечал им, я поспешно одевался и спрашивал, где здесь ближайшая автобусная остановка, потому что не имело никакого смысла рассказывать во время перерыва между двумя половыми актами, что мама, спасибо, в порядке, она просто уже много лет не выходит из квартиры — даже на лестничную клетку.

Только туда, сказал я кассирше на Восточном вокзале, потому что она хотела пробить мне билет туда и обратно, а я никогда не покупал туда и обратно. К тому же я долго изучал расписание, и оказалось, что мне нужно делать пересадку где-то посередине Альфельда, и я даже подумал, может быть, стоит позвонить или послать телеграмму и, сославшись на внезапную болезнь, отказаться от выступления, потому что для меня сорок минут ожидания в венгерской пусте — это все равно что сорок дней. Самая ужасная пустыня для меня милее, чем житница Европы. На самом деле я ненавижу волнующиеся поля пшеницы, не знаю почему, ненавижу — и все. Кто-то не выносит горы, кто-то море, а я вот не выношу пусту, только и всего. В общем, выяснилось, что мне нужно пересаживаться, и я уже собирался развернуться, но

вспомнил, как мама скандалила прошлой ночью, и тогда я сказал кассирше, что беру билет, и успокаивал себя тем, что сорок минут ожидания, возможно, даже придутся кстати, по крайней мере, у меня будет время просмотреть текст, который мне предстоит читать вечером. Потом я вспомнил, что когда-то с этого пути Юдит уезжала в Белград, и что на днях исполнилось пятнадцать лет с того момента, и что уже целых пятнадцать лет я приношу маме из аптеки витамины и валериановые капли, а из парфюмерного магазина — помаду, лак для ногтей и краску для волос. И что пятнадцать лет она сидит в серебристом свете телевизора или стоит перед бельмом зеркала. Если задуматься, она уже много лет как умерла. Обыкновенный труп, чей запах отбивают с помощью настоя перечной мяты, а кожу намазывают кремом, чтобы она приобретала цвет человеческого тела. Труп, раскладывающий пасьянсы из давнишних некрологов. Труп, который уже пятнадцать лет собирает "Телерадионовости", "Аптечныйвестник" и "Наукуижизнь". Дрянные газетенки она хранила в комнате для прислуги, вместе с "ещехорошаяпригодитсядлячегонибудь склянками" и "такимикрасивымижальвыбрасывать коробками" из-под конфет. Да, вот так вот она и жила: собирала всякий хлам и переписывалась с моей старшей сестрой, не подозревая, что уже давно она переписывается только со мной. И что даже специалисты не отличили бы почерк моей левой руки от острых, безжалостных букв, которые моя старшая сестра выводила правой рукой. И что мои знакомые отправляли письма из Антверпена, Бомбея или Нью-Йорка, поскольку я вру им, что собираю конверты с иностранными марками.

Пятнадцать лет назад от Юдит пришла последняя открытка, которую действительно отправляла она: "Уважаемая мама, если Вы хотите меня видеть, пусть Вам не закрывают глаза", — писала она из Каракаса, и с тех пор нам приходили только банковские переводы из цюрихского банка, каждый месяц седьмого числа, с точностью швейцарских часов и с безмолвием банковской тайны вклада, потому что пятьсот франков в месяц полагается даже самым подлым матерям. Начиная с Каракаса, я писал письма левой рукой и следил, чтобы в них не было ни извинений, ни обвинений, я делал из них просто весточки от заживо похороненной дочери для заживо похоронившей себя матери. "Уважаемая мама, в этом месяце у меня будут три выступления в Стокгольме, я напишу оттуда ближе к Рождеству, привет моему младшему брату и, естественно, Вам тоже", — писала моя левая рука, потому что на следующий день кто-то отправлялся именно в Стокгольм, а моя правая рука в это время мяла окурки в пепельнице.

Через несколько недель после позорных похорон моей старшей сестры стало ясно, что мама не выходит из квартиры не просто из-за мигрени, что она никогда больше не выйдет из квартиры на улицу. Что отныне она будет жить в склепе площадью восемьдесят два квадратных метра с окнами на север, в склепе, обставленном декорациями, украденными из театра, где кресло — это Леди Макбет, кровать — Лаура Ленбах[1], а комод — Анна Каренина. Где даже сиденье унитаза принесено с какого-нибудь провалившегося спектакля, а на конце ручки для смыва болтается золотая кисть от веревки театрального занавеса. И тогда я подумал, возможно, несколько писем помогут, только одно я никак не предвидел, что мама будет на них отвечать. Что она начнет переписываться с дочерью, которую признала мертвой и похоронила таким позорным образом. Я просто не мог этого предположить, поскольку в этом не было логики, а тогда я еще рассчитывал на нее, как на собаку-поводыря, или скорее как на инвалидное кресло в хорошем состоянии, которое никогда не подведет. Я готов был клятвенно присягнуть, что логика руководит всеми нашими поступками, и рисовал причинно-следственную цепь нашей прежней жизни: за какой фразой что следовало, какому жесту что предшествовало, потому что я маниакально верил во всемогущество логики. Я чертил схемы и записывал факты, учитывая все, начиная с того дня, когда моя старшая сестра уехала в эмиграцию, до ее последней открытки из Каракаса. Начиная с того дня, когда она, в свои девятнадцать лет, с одной лишь скрипкой за плечами, ночью покинула белградскую гостиницу, а через два дня и континент, до тех самых пор, пока мама не объявила ее мертвой и не устроила похороны своей дочери в самом конце кладбища Керепеши, рядом с детскими могилами, увитыми ползучими вьюнками.

Но однажды я не смог написать маме, что у меня будет выступление в кёльнском соборе, не потому, что у меня не было никакого выступления в кёльнском соборе, но потому, что после третьего или четвертого моего письма мама начала отвечать Юдит.

— Пожалуйста, отнеси это на почту, сынок, — сказала она.

— Конечно, мама, я как раз туда иду, — сказал я, и кровь застыла у меня в жилах, и с тех пор ее нераспечатанные письма выстраивались в ряд в ящике моего письменного стола, незачем было относить на почту конверты, адресованные в нигденаходящиеся гостиницы или в никогданесуществовавшие

1. Героиня драмы М. Крлежи "В агонии" (1928). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

концертные залы. И я знал, мне нельзя читать эти письма, потому что вдруг в них есть что-то такое, о чем я случайно проговорюсь, и тогда выяснится, что вместо заживо похороненной дочери она переписывается со мной.

Однажды по дороге в магазин я отнес на помойку письма, адресованные в Париж, и в Венецию, и в Каир, и уже был на углу, когда услышал за Музейным садом ворчание грузовой машины, вывозившей мусор, и кинулся обратно, чтобы достать письма из кучи хозяйственных отходов.

— Подождите! — заорал я мужчине в фосфоресцирующем халате, потому что он как раз собирался повесить мусорный бачок на гидравлический подъемник. Он был не слишком-то удивлен, такое нередко случается, когда люди хотят вытащить из пасти дробильной машины то, что еще несколько минут назад отнесли на помойку.

— Все? — спросил он, когда я отыскал конверты, измазанные кофейной гущей.

— Да, все, — сказал я и понял: не то, что прочитать, я даже выбросить не смогу мамины письма, и я знал, надо прекращать всю эту переписку: напрасно Юдит пишет почти каждый месяц, мама даже ставни не открывает.

Через пару дней кто-то ехал в Кёльн, но я не смог заставить себя написать: дорогая мама, у меня будет выступление в кёльнском соборе, — словом, я уже готов был прекратить эту жалкую ложь, но однажды ночью она ворвалась ко мне в комнату растрепанная, с искусанными губами и кричала, как я посмел прятать от нее письма. Она требовала, чтобы я немедленно отдал ей письма ее дочери, а я сказал, успокойтесь, мама, Юдит наверняка сейчас с концертами в Сиднее или где-нибудь в Новой Каледонии, а оттуда почта идет гораздо дольше. После этого, недели через полторы, моя старшая сестра написала из Стамбула, потому что Пинтеры с первого этажа из второй квартиры в последнее время вместо Варшавы стали ездить за кожаными пальто в Стамбул.

Да, наверное, правильней было бы, если бы я не просил у Пинтеров кожаное барахло только для того, чтобы заодно попросить их отправить по почте это письмо, надо было бы наконец прекратить все это, но я не мог. Собственно говоря, я был даже благодарен маме за то, что она потребовала от меня письма Юдит. Я сам чуть ли не так же, как она, ждал почту, у нас уже вошло в привычку, что я вскрываю конверты, и мы вместе читаем на кухне эти несколько строчек.

"Уважаемая мама, на этой неделе я даю три концерта в Тель-Авиве, оттуда я еду в Дамаск, передавай привет моему младшему

брату", потому что я понятия не имел, что эти чудаки объявили только о перемирии, а по их понятиям это ничем не отличается от войны. И турист должен выбирать: либо Израиль, либо Сирия. Бреннерам сообщили об этом только в сирийском посольстве, откуда их выгнал консул, когда увидел в загранпаспортах израильскую визу. Но оба конверта уже были у них, и они подумали, что по крайней мере у меня будут две израильские марки, и письмо Юдит из Дамаска они на самом деле отправляли из Хайфы, но, к счастью, мама не заметила, потому что она не очень различала арабские и еврейские буквы. Словом, она ничего не заметила и вытащила карту мира, которую я ей подарил, и я помог ей найти Дамаск, а она пометила город черным фломастером, и с тех пор карта заполнялась крестиками и датами, она уже напоминала какую-то настольную игру вроде "Монополии", только на карте были не панельные дома, а концертные залы или пятизвездочные гостиницы, не пригородные поезда, а рейсы "Люфтганзы" или "КЛМ", и мы не кидали кубики, а ждали почтальона. Короче, моя старшая сестра путешествовала по карте, разложенной на письменном столе, словно какая-то игральная фишка, которой ходит мама, но куда пойти, говорю ей я. И часто я думал, что однажды надо будет отметить на карте Будапешт, тогда игра закончится, и в этом есть логика, но потом выяснилось, что и здесь я ошибался.

Я уселся в зале ожидания в Карцаге. Вообще я люблю искусственные цветы, прикрученные шпагатом к трубам радиаторов, и липучку для мух, свисающую с неоновых ламп, часы размером с умывальник, показывающие точное время, и запах палинки, пота, и сэндвичей с печеночным паштетом, который уборщицы не могут изгнать из этого сарая даже с помощью яблочного освежителя. В другом конце зала сидела молодая женщина провинциального вида, какое-то время я наблюдал за ней. В неоново-желтой виниловой сумке, стоявшей у нее между скрещенными ногами, пищали недавно вылупившиеся цыплята, на руках она держала ребенка и строила ему козу, но безрезультатно — ребенок продолжал орать. Наконец он получил, что хотел: мать высвободила одну грудь из-под блузки и он прилип к ней, словно пиявка. В его жадном чавканье не было ничего от младенческой чистоты и непорочности, а когда он начал с шумом глотать материнское молоко, цыплята, запертые в дорожной сумке, умолкли.

Потом приехала грузовая машина с брезентовым кузовом и встала перед входом. Шофер даже не приглушил мотор, он просто ждал, пока все пятнадцать мужчин не выпрыгнут из кузова, затем нажал на газ и уехал. Ни помахал на прощание, ни пожелал

счастливого пути, словно этой грузовой машиной управлял робот. Мужчины вошли в зал ожидания и уселись в ряд. Все они без исключения были одеты в одинаковые майки и одинаковые брюки, как призывники, отбывающие принудительную трудовую повинность. Но вряд ли они были венгерскими гонведами, на их лицах было написано, что они даже "добрый день" не понимают. Лично меня совершенно не возмущает тот факт, что часто на лица людей, словно болтливая старуха на улицу, выползает наша родо-видовая принадлежность. Иногда по одному взгляду можно узнать, что сегодня было на обед: спагетти или гуляш. Вкупе с вавилонским столпотворением это одно из редких деяний Всевышнего, которое мне определенно нравится. Словом, на лицах этих мужчин в свое время проявилась такая же родо-видовая принадлежность: невенгр. Они не говорили ни слова, только грустно, водянистым взглядом таращились на шпалы через занавеску, засиженную мухами. В руках они держали одинаковые полиэтиленовые пакеты из супермаркета "Шкала", с одинаковыми сэндвичами и одинаковыми загранпаспортами. Когда младенец снова принялся орать, все пятнадцать синхронно вздрогнули, и по их лицам было видно, что даже самый тощий из них готов в любой момент взвалить на спину два мешка цемента.

Потом вошел кто-то вроде дежурного по станции и попросил, чтобы господа показали ему билеты, залом ожидания могут пользоваться только те, у кого с собой действующий билет, но мужчины не поняли, чего он хочет.

— Би-лет. Если нет билета, выходите. Прекрасная солнечная погода, — сказал дежурный, показывая на выход.

— Ора-де-а! — сказал один, и пятнадцать мужчин синхронно полезли в пятнадцать полиэтиленовых пакетов и синхронно достали билеты.

— А, Надьварад, мать вашу, козлы вонючие, за ногу об забор, — сказал дежурный, одновременно улыбаясь, и кивал им, дескать, раз есть билет, то все в порядке.

— Зачем вы так? — спросил я, хотя мне ужасно хотелось проломить его головой штукатурку, до кирпича, но мы с детства приучены принимать нашу трусость за терпеливость.

— Они же не понимают, — сказал он, продолжая ухмыляться.

— Я понимаю, — сказал я.

— У вас билет никто не спрашивал, — сказал он и вышел, а я успокаивал себя тем, что потом напишу об этом. Когда мы не осмеливаемся ударить, вот тогда мы вспоминаем о сочинительстве, словно о плетке или о каком-нибудь хрене собачьем.

Через несколько минут со стороны Пешта пришел международный, и мужчины сели на поезд. Не в один вагон, а разделившись, двое в первый, пятеро в последний, остальные стайками

по другим вагонам, потому что пятнадцать чернорабочих в одном вагоне — это слишком, это выведет из терпения даже самого снисходительного пограничника, и тогда им не удастся вернуться из Варада в пусту вечерним экспрессом "Корона" по обновленной месячной туристической визе. Их на два года выгонят из житницы Европы, и вместо сезонной осенней работы им достанется выжженная румынская степь, а вместо пятидесяти форинтов в день и двухразовой горячей еды — вчерашняя холодная похлебка, еще одна родо-видовая принадлежность.

Мой поезд должен был прибыть минут через двадцать, и я вытащил рукопись, чтобы стереть с нее сперму и кое-что поправить, но много работать не пришлось: пара запятых, порядок слов, ничего существенного. История была довольно простая: о деревенском священнике по имени Альберт Мохош, который много лет честно служил, а потом во время пятничной мессы уничтожил весь приход при помощи крысиного яда, подмешанного в тесто для священных облаток.

У меня уже выработалась постоянная привычка: ведущий вечера — как правило, учитель венгерского, или библиотекарь, или директор дома культуры — говорит обо мне какие-то слова, я присматриваюсь к публике и выбираю человека, к которому я буду обращаться во время чтения. Опыт показывает, надо найти того, кому я иногда буду смотреть в глаза и кто не будет задавать мне вопросов. Короче, человека, который не хлопает, поскольку понимает, что это не главное. Вот и на этот раз, как только мы уселись на эстраде, я выбрал себе женщину лет сорока, сидевшую где-то с краю в третьем ряду, но уже после первых двух фраз я почувствовал, ей мешает, что я обращаюсь к ней, и на середине моего выступления она встала и вышла из зала — она даже не позаботилась, чтобы не гремел стул. С этого момента я чувствовал себя, словно на судебном разбирательстве, но я дочитал новеллу и потом старался честно отвечать на вопросы, почему я пишу, и какие у меня планы, и доволен ли я теперешними результатами или рассчитываю на большее? Быстро вспомнить все подготовленные ответы я так и не смог и вынужден был выпить целый кувшин воды, чтобы растянуть время. К счастью, в таких заведениях на столе всегда есть кувшин с водой. Потом один пожилой мужчина спросил меня, почему я выбрал героем моей истории именно священника, обижен ли я на церковь, и если да, то почему, ведь, с его точки зрения, церковь играет действительно важную роль в современном обществе, в котором повсеместно господствует отчуждение. И опять мне пришлось выпить во-

ды, потому что к этому вопросу я не был готов. Я даже не представлял, что приходской священник Альберт Мохош может иметь какое-то отношение к церкви.

Я не сержусь на церковь, сказал я. Сам не знаю, почему я выбрал героем моей истории именно священника, сказал я. Возможно потому, что, если бы главным героем был партсекретарь, история была бы бессмысленной, сказал я. От партсекретаря мы не ожидаем, что на партсобрании он отравит членов партии, сказал я, к счастью, библиотекарь поспешил мне на помощь: "На самом деле, это скорее метафора, дядя Анти, просто очень достоверно написанная", — сказал он, торопливо поблагодарил меня за то, что я принял приглашение, и пожелал мне дальнейшей плодотворной работы и успехов.

После выступления ко мне подошел местный приходской священник, мужчина лет пятидесяти, с виду типичный военный духовник, из тех, кто будет спокойно ходить из окопа в окоп, словно это не пушечный грохот, а обычный гром, и в кого, по бесконечной Божьей милости, попадают, только после того как противник закончит свою работу.

— У меня есть неплохое красное, если вам вдруг захочется попробовать, — сказал он и взял меня под руку, и теперь у меня было на что ссылаться, чтобы отказаться от приглашения директора школы, которому наверняка на заседании культурной комиссии поручили организовать для меня ужин и который, очевидно, обрадовался, что ему не придется рассказывать абсолютно чужому человеку о сложностях, существующих в народном образовании и о своей образцовой, несмотря ни на что, школе, о проводимых раз в год конкурсах по декламации, о школьных экскурсиях и об успехах местного коллектива народного танца, отмечающего в этом году свой юбилей. И ему не нужно будет интересоваться превратностями издания книг уважаемого автора, у него свои проблемы, два дня назад у его коровы был выкидыш, а тут ему из-за культурной программы, проводимой раз в полгода, вешают на шею писателя, который в лучшем случае заблюет ему всю ванную, а потом станет приставать к его шестнадцатилетней дочери. В худшем случае писатель, молчаливый и угрюмый, станет есть ножом-вилкой куриную ножку, и тогда всей семье придется есть ножом-вилкой, а ему самому говорить или бурчать под нос, спасигосподи культурную программу, по крайней мере, господи, не пробуждай воспоминания о каждом из этих литераторов, и об одиноких, и об угрюмых, страшно подумать, этих несчастных несметные полчища, младенцы, насосом надутые до размера взрослых, — они до сих пор бы сосали материнскую грудь с превеликим удовольствием, как и этот субъект со своими

историями про священные облатки с крысиным ядом. Но в день убиения свиньи я бы запустил в вас тарелкой с кровью, видит бог, господин писатель, так и полетела бы в вас окровавленная тарелка, как червивое яблоко в компостную кучу. Здесь вы заблуждаетесь, господин директор, я запущу в вас тарелкой гораздо раньше.

— Спасибо, господин директор, только что приходской священник пригласил меня на бутылку красного.

— Мне искренне жаль, господин писатель, как бы мы славно с вами поговорили.

— Мне тоже бесконечно жаль, господин директор, но вы ведь понимаете, мне сейчас очень важно мнение отца Лазара.

— Разумеется, господин писатель, словом, я рад, что смог с вами лично познакомиться. Позвольте мне от имени всех присутствующих выразить вам благодарность за эту незабываемую встречу, — сказал он, и затем в меня вцепился приходской священник и потащил за собой, словно раба, и я покорился, хотя я терпеть не могу, когда ко мне прикасается мужчина. Пожатие руки — только это я хоть как-то выношу, да и то желательно, чтобы рука была по возможности сильно вытянута вперед. Но сейчас я чувствовал, что во всей этой захудалой деревне священник с карманным фонариком — единственный, кого не возмутила до глубины души история постыдного поступка уважаемого господина Альберта Мохоша. Действительно единственный, кого я могу вытерпеть до завтра, почти не притворяясь. А потом прочь отсюда, думал я. С первым же поездом вернусь к Эстер, думал я, и от этого стало легче на душе, и я покорился. Тем временем священник, схватив за руку, вел меня по темной деревне, через какие-то заброшенные сады, по остаткам курятников и коровников, потому что так короче. Иногда он тащил меня вперед, иногда, наоборот, удерживал, в зависимости от того, высвечивал ли его карманный фонарик лужу или глубокую канаву.

— Мы вам поищем свитер в коробке с гуманитарной помощью, — сказал он, потому что мой пиджак промок от моросившего дождя, а я сказал, спасибо, не надо, кагор тоже поможет.

Мы срезали какой-то большой и ненужный поворот, потому что за ручьем мы снова вышли на главную магистраль. Вскоре мы остановились перед селитрово-серой курией. Желтоватый свет карманного фонарика полосой пробежался по фасаду, заблестели осколки разбитых окон на первом этаже, крупные и острые, словно акульи зубы. Наконец, кольцо света остановилось на обваливающемся каменном гербе над воротами, это был пеликан, кормящий детей собственной кровью.

— Подходит? — спросил он, пытаясь найти ключ от ворот.

— Да, — сказал я.

Больше ничего я не смог из себя выдавить, хотя это поросшее мхом пеликанье гнездо было нашим семейным гербом, пока такие вещи не вышли из моды. Точнее, еще вовсю гибли в пламени фениксы, бурые медведи скалили зубы, и крылатые львы ревели на щитах гербов, еще вовсю жила и процветала вся геральдическая фауна, когда кровь, которой наша птица кормила детей, медленно и верно превращалась в воду. И вот моя мама в семнадцать лет уже могла, ни в чем себя не упрекая, выходить на сцену в роли Юлии, а я мог, ни в чем себя не упрекая, любоваться версией герба а-ля Гюнтер Вагнер[1] на колпачке моей авторучки "Пеликан".

Лет десять тому назад я несколько недель ходил к старьевщику, поскольку решил, что на Рождество я подарю маме наш старинный герб. Мы с господином Розенбергом уже перешли на шоломалейхем, но он продолжал предлагать мне авторучку, а я мечтал о пергаменте, в худшем случае о репродукции гравюры из меди, вырезанной из какой-нибудь старой книги. К тому же я не хотел отдавать ручку маме. У меня есть перо "Монблан". Ни за что на свете не променяю бакелитовое белоснежное перо на каркающего пеликана с выводком детей, думал я. И когда я уже изучил план лагеря в Дахау, как свои пять пальцев, когда я мог поименно назвать часовых, когда я с закрытыми глазами находил дорогу к суповому котлу, даже во сне, как вдруг меня осенило, я пришел сюда исключительно потому, что никак не могу решить, "Монблан" или "Пеликан", и сказал старому Розенбергу, можете продавать ручку коллекционеру, она мне не нужна, а он сказал, не валяйте дурака, к чему сантименты, с таким характером вы всю жизнь будете есть суп из потрохов с кормовой репой. Поверьте, вам куда больше подойдет это перо, чем сотня собачьих шкур. Отнесете его домой, осторожно промоете и заправите изрядной порцией народно-демократических чернил, потому что чернил у меня нет. И я целую ночь отмачивал его в теплой воде, чтобы механизм снова заработал, и вот он уже несколько недель работал, а я все еще не знал, что им начать писать. Потом кто-то поехал в Брюссель, с тех пор я писал этой ручкой письма маме от моей старшей сестры.

— Вы что, уже были здесь? — спросил священник.

— Нет. Но я постараюсь чувствовать себя как дома, — сказал я.

1. Немецкий химик, основавший в 1863 г. компанию "Pelikan". В качестве товарного знака своей продукции Вагнер использовал пеликана — часть его фамильного герба.

— Совсем недавно здание принадлежало дружинникам, — сказал он.

— Их времена прошли, — сказал я.

— Сзади, в яблоневом саду, они устраивали соревнования по стрельбе. Сперва они стреляли в нарисованную мишень, а затем в компанию влился живодер, и они стали стрелять в бродячих собак. Естественно, для тех, кто способен, как ваш священник, уничтожить весь приход священными облатками, подобное кажется, наверно, детскими шалостями.

— Сдается мне, вам недостает священного гнева, отец мой, — сказал я.

— Не шутите, из меня уже давным-давно улетучился священный гнев. Как вы думаете, почему из коронационной церкви меня направили сюда, в это захолустье у черта на рогах? По-моему, я отличный священник.

Он ковырялся ключом в замке, я светил ему фонариком, затем мы вошли в кухню, переоборудованную из спортзала, и он включил свет.

— Шведские стенки они, к сожалению, унесли с собой, но маты и козлы еще остались на чердаке.

— Снаружи все представляется как-то по-другому.

— Вы будете суп-пюре из сельдерея или суп с фрикадельками?

— Из сельдерея.

— Если что, могу зажарить омлет.

— Не надо, — сказал я. — От вас ушла повариха?

— Скажем так, жена. Брак был гражданским, но все равно правильнее сказать — жена.

— Что случилось?

— Ничего особенного. Я преподавал географию, она физику, затем в школу пришел новый учитель физкультуры. Думаю, подобные истории нередко случаются среди людей. Детей нет, к счастью.

— Вообще-то путь от развода до клироса не столь очевиден.

— Мне повезло. Скажем так: мне явился Господь. В школьной библиотеке я по ошибке вместо "Золотого осла" Апулея взял с полки "Исповедь" Августина.

— Для обращения это немало.

— Возможно, для начинающих даже слишком много. Сначала я с большим рвением относился ко всему, и скоро меня отстранили от преподавания. Я смирился и в тридцать лет поступил на теологию. Вот, собственно, и все.

— А что вы взяли с собой, когда вас направляли сюда, в это захолустье?

— "Исповедь" Святого Августина.

Пока на газовой плите грелась вода для супа из сельдерея, мы пошли за дровами и затопили в комнате для гостей, точнее, в оружейной комнате, еще точнее, в курительной комнате какого-нибудь древнего графа Веера, который, по моим подсчетам, приходился мне прадедом или прапрапрадедом, в худшем случае внучатым племянником моего прапрапрадеда. Впрочем, мне было особенно не на чем основывать эти подсчеты. Когда род уже увял, когда пошли на убыль кадастровые хольды и с ними ушли батраки, когда наполовину обглоданная баранья нога усохла до куриного огузка, купленного за тысячу пенге на черном рынке, когда стихли охотничьи трубы и раздался плач голодных детей, умолк лай легавых собак и ему на смену пришло стрекотание швейной машинки, штопающей рубашку, когда кровь, которой пеликан кормил детей, уже превратилась в воду, вот тогда в воображении потомков пышным цветом расцвели древние богатство и мощь. Таким пышным, что мама, игравшая на сцене Юлию, без каких-либо колебаний, втайне от всех, стала членом партии, выступавшей за восстановление Венгрии в прежних границах, и вылавливала из слухов, ходивших в театральном буфете, всякие волнующие истории о национализации. Господа, осуществлявшие национализацию, мимоходом заглянули и к ней, но в комнате, которую она снимала, они не нашли ничего стоящего, разве что фамильную скрипку, а рабочему классу на тот момент не нужна была скрипка. К тому же молодая актриса Веер скромно сидела на табуретке, невинно хлопала ресницами и смущенно улыбалась трем господам, осуществлявшим национализацию, которых чуть было не вывели из природного равновесия груди, просвечивающие сквозь халатик из искусственного шелка. А мама с большим интересом выслушала информацию про дотрианонскую Венгрию, и господа, запинаясь и смущенно покашливая, попросили прощения за беспокойство.

К тому моменту, как я стал обладателем старинного герба в виде символической перьевой ручки, телефонная книга предоставила нам самое обнадеживающее семейное древо. Я добывал для мамы не только пештские телефонные книги, но и телефонные книги из провинции. Я уносил их из телефонных будок, а если они были привинчены железной спиралью, я вырезал монеткой страницу с “дубль в”. Для мамы это было лучшим подарком, пока мы еще дарили друг другу подарки. Иногда под Рождество я раскладывал перед ней самые полные телефонные справочники, и она по очереди писала всем Веерам. Ей отвечали, но, в основном, что до переселения в Венгрию они были Веерхагенами или что дедушка был не Веер, а просто Вер, но это мешало семейному бизнесу, потому

что "Вер" значит "кровь", а с такой фамилией сложно вести врачебную практику, и все в таком духе. Интересно, что исконные Вееры никогда не отвечали. Молчали именно те, кто не в театральном буфете узнавал самые волнующие рассказы о национализации, для кого выселение было не просто экзотической историей, услышанной из третьих уст. Они не хотели переписываться с восьми- или десятиюродными родственниками, с членами семьи, которых никогда не видели, и спустя какое-то время я начал их понимать, но мама понимала их все меньше и меньше.

— Наверняка у них сменился адрес, сынок.

— Да, мама, у них много раз менялся адрес, но теперь наконец ложитесь спать, потому что уже пятый час, говорил я, и, когда понял, что имущество разрастается даже после его утраты, что древняя империя Вееров каждый год пополняется тремя комитатами, я стал уничтожать эту призрачную страну, эту гигантскую раковую ель. Сначала я сохранял осторожность, говорят ведь, человек сам рубит сук, на котором сидит, но потом мой топор разошелся, и много лет я отсекал ветки, простирающиеся в никуда, и корни, цепляющиеся за одну надежду, пока не достиг ствола, единственной реальностью во всей этой лжи была фамильная скрипка моей сестры.

Дрова были сырыми, напрасно мы их поливали бензином, буржуйку не удавалось разжечь. После третьей или четвертой попытки священник ушел за новой порцией газет, а я стал рассматривать книжные полки дружинников, переделанные из шкафов для оружия. Наконец нам удалось затопить, он принес красный свитер из голландской коробки с гуманитарной помощью, я повесил пиджак сушиться, и мы вернулись на кухню, которая, судя по лепнине, была предназначена скорее под салон, но никак не под кухню или спортзал. Пока он засыпал в кипящую воду порошок "Магги", я достал из буфета тарелки.

— Признаюсь, я думал, вы будете больше восхищены, — сказал он.

— Из-за герба? — спросил я.

— Дело скорее в духе этого места.

— Ну не могу сказать, что мне совсем безразлично, но восхищаться тут нечем. Вероятно, мы с вами дальние родственники.

— Вы правда не хотите омлет? У меня есть лук и ветчина.

— Нет, спасибо, — сказал я.

— Я почему-то думал, что вас больше занимают ваши корни.

— Мои корни под сценой, — ответил я.

— В общем, вы из семьи артистов.

— Вроде того.

— Если вам неприятен этот разговор, я не буду его продолжать.

— Хорошо, — сказал я, и от этого атмосфера немного охладилась, я просто не хотел, чтобы разговор зашел о здоровье актрисы Веер, оставившей профессию. Мы молча съели по тарелке супа, затем он сходил за вином на другой конец кухни. Он налил, мы выпили, он снова налил, а мы все молчали, и, хотя о Боге я тоже не люблю говорить, равно как и о маме, я зачем-то сказал, начинайте проповедь, ведь это входит в ваши служебные обязанности. На что он сказал, когда мне предоставляется такая возможность, обычно все заканчивается провалом.

— Хотите оставить на потом? — спросил я.

— Слушая этой ужасный рассказ про Альберта Мохоша, я понял, что сейчас на вас не возымеет воздействия даже явление Господа во плоти. Даже если бы я выжал воду из разделочной доски, вы бы наверняка сказали: у вас отлично получилось, жаль только, что я не хочу пить. Потом захотите. Я подожду, — сказал он, затем снял рясу, повесил ее на крючок, прикрученный сбоку шкафа, и тогда я увидел, что руки у него усеяны шрамами и следами от уколов.

— Я хотел убить учителя физкультуры, — сказал он и надел свитер.

— Больше не хотите? — спросил я.

— Хочу. Но по-другому, — сказал он. — Сложно все. Тогда я полтора месяца провел в больнице. А теперь я просто молюсь за него.

— Словом, дожидаетесь, — сказал я, поскольку чувствовал, что, если я не говорю о маме, лучше и ему не говорить об учителе физкультуры. — На самом деле, вы первый священник, который не спешит со всем усердием ко мне на помощь.

— Не говорите, что удивлены. Вы все поняли еще в библиотеке, и кстати, иначе вы бы вряд ли позволили притащить вас сюда. Вместо этого вы прекрасно бы поговорили с директором школы об образовании и о сложностях в книгоиздательском деле.

— Возможно, вы правы — сказал я.

— Кстати, с неверующими справиться можно, но не с теми, кто ненавидит Бога, — сказал он, и мне вдруг показалось, словно мне плюнули в лицо. Прочь отсюда, думал я. Первым же поездом обратно в Пешт, думал я. Или сейчас же не мешкая вернуться к директору и есть куриную ножку ножом и вилкой, думал я. Потом напиться в зюзю и приставать к его шестнадцатилетней дочери, думал я. В конце концов, я уже целый год ни к кому не приставал, думал я. Завтра же пойти к Эстер и сказать

ей, что я так не могу, думал я. Или мы попробуем жить, как нормальные люди, или пускай она убирается из моей жизни. Пусть выметается обратно в свои хвойные леса. Гдетыбылсынок? Я говорил о Боге, мама.

— Я никогда не испытывал ненависти к Богу, — сказал я и закурил.

— Ну, конечно. Как к продавцу, который вас обвесил минимум на сто грамм, когда вы покупали конфеты. Надо сказать, вы довольно инфантильно мыслите о Боге. И довольно интеллигентно, раз вы это осознаете. К тому же довольно талантливо, поскольку вы смогли так душераздирающе об этом написать. Мне продолжать?

— И довольно трусливо, поскольку вы не хотите отказаться от своего искаженного представления, боитесь, что тогда вы не сможете сочинять душераздирающие истории.

— Ну вот видите, вы все понимаете.

— Еще бы не понимал. Я следую вашей логике. И возможно, в общих чертах все сходится. Я не доволен только образом продавца. Во-первых, я никогда не ходил в магазин за конфетами. Во-вторых, я думаю, что нас всех обвесили. И я буду вынужден так думать до тех пор, пока не выживу из ума и не воображу, что я единственный, кого обвесили.

— Или пока однажды утром вас не начнет тошнить перед зеркалом. И поэтому я считаю, что у кого такое представление о Боге, у того нет ни малейшего шанса уверовать в него. Пока вас однажды не стошнит.

— Возможно, — сказал я. Я налил. Мы выпили. Он снова налил.

— Это последний стакан. Я хотел бы уехать на поезде в полдевятого.

— В девять есть прямой. Завтра я отвезу вас на станцию.

— Спасибо, — сказал я. — Кстати, вы не представляете, отец, как бы я был благодарен, если бы за супом "Магги" из сельдерея и за несколькими стаканами вина моя уверенность в отсутствии высшего промысла была бы поколеблена. Потому что ее-то у меня как раз в избытке.

— Не сомневаюсь.

— Честно говоря, я почти завидую тем, кому достаточно по ошибке взять не ту книгу в библиотеке.

— Здесь другое. Намного легче тем, над кем небо пустое, чем тем, кто поместил туда свое ошибочное представление о Боге.

— Я просто не знаю лучшего, отец. Не в моих принципах наделять Бога добродетелями, о которых я знаю только понаслышке. И боюсь, что мне придется еще пожить с этим моим ошибочным представлением.

— Конечно. Я сказал, я подожду. Дать вам пижаму?

— Лучше какое-нибудь шерстяное одеяло, пожалуйста.

— Возьмете в шкафу. Повесьте его ненадолго на печку, я обычно так делаю.

Утром я проснулся, оттого что мужчина в рясе, стоявший возле моей кровати, прикасался большим пальцем руки к моему лбу, примерно так делают, когда крестят или когда дают последнее причастие. Несколько мгновений я судорожно рылся в воспоминаниях о вчерашнем дне, где я и кто этот человек. Кошмарный сон, должно быть, достиг своей кульминации, когда я проснулся от прикосновения святого отца, и его палец стер все, что я видел во сне и что меня тревожило. Где бы я ни спал, я долго нахожусь под впечатлением от своих снов.

— Проснитесь. Я уже отпустил вам ваши грехи за вчерашние ругательства. Плюс причастил двенадцать человек, и пока все живы, — сказал он, на что я сказал: счастливая деревня, местный священник верит в Бога. Потом за кофе я спросил про большой палец, я хотел узнать, было это первое причастие или последнее.

— Не все ли вам равно? — спросил он.

— Вы правы, но иногда человеку хочется думать, что не все равно, — сказал я.

Самая короткая дорога к станции шла через цыганскую часть деревни. Священник на своем вездеходе объезжал лужи между полуразвалившимися и недостроенными хибарками и время от времени нажимал на гудок, чтобы отогнать полуголых детей, лезших под машину. На некоторых не было даже трусов, сверкая босыми пятками и голыми задами, они бежали рядом с гудящей машиной. Самые проворные цеплялись за ручки машины, ухмыляясь, заглядывали в окна, другие прыгали по камням, торчащим из луж, и от этого казалось, словно они бегут по воде. Но выше голого паха все они были одеты в одинаковые красные свитера, в точности, как у меня, потому что на прошлой неделе с голландской гуманитарной помощью прибыло пятьсот красных свитеров, и это ужасало сильнее, чем их дома, накрытые полиэтиленом вместо черепицы. Бесчисленные красные заграничные свитера казались более зловещими, чем окна, завешенные шерстяными одеялами, и костры, разведенные в комнатах, состоящих из трех стен, и женщины, усевшиеся на бетонных лестницах, ведущих в никуда. Все-таки в лестнице, ведущей в никуда, есть что-то человеческое.

К горлу подступила тошнота, и сначала я подумал, что это просто из-за тряски в машине или от огромного количества гума-

нитарных пуловеров, но в следующее мгновение я вспомнил свой последний сон до мельчайших подробностей. Я сидел в сторожевой будке на кровати, сколоченной из досок, слушал треск поленьев, пылающих в буржуйке, смотрел в окошко, как светает над лесом, и ждал, когда начнется рабочий день. Наконец в яме неподалеку стали просыпаться охотничьи собаки. Они, рыча, царапали землю, хватали зубами голые кости, выгрызали костный мозг из позвоночников и сглодав очередные останки, каждое утро ждали еще. Я надел суконное пальто, взял палку с крючком и пошел за дом, к сараю, где лежала падаль, за очередной порцией. В этом состояла моя работа: два раза в день кормить собак, не спрашивая, кто эти мертвецы. Собственно говоря, спрашивать было не у кого. Раз в неделю и всегда ночью сарай наполняли новой падалью. К тому моменту, как я проснулся, там были женские и детские останки. Все тела без исключения были очень красивыми, только их неподвижность и сладковатый запах выдавали, что они мертвые. Я спокойно мог протянуть палку к любому, затем я должен был зацепить его крючком за шею, и обняв, словно спящую любовницу или больного ребенка, отнести на другой конец лужайки в яму собакам. И пока я шел эту пару сотен шагов, я любовался холодной неподвижностью тела, которое держал в объятиях. Я знал, что на этой тропинке могу думать и чувствовать, что захочу. И никто мне не помешает, никакой распорядок ни на что не повлияет. Некоторых я молча нес от сарая до ямы, но некоторым рассказывал, например, о местном лесе — из-за лишайников деревья словно заплесневели, и в отличие от других лесов, у нашего леса нет корневой системы. Посмотри, говорил я одной старухе и отодвигал ногой прошлогоднюю листву. Посмотри, это просто дощатый настил, не бойся. В глубине души я знал, что она не боится, она ведь мертвая. Ей все равно. Ну вот, отсюда ее можно спокойно бросить собакам. Хорошо, что я держу их в объятиях, волочь за ноги, это так некрасиво. Я попробовал пару раз, и мне не понравилось. А теперь я вальсировал с маленькой девочкой, потому что видел, ей хочется потанцевать. Я подкрасил ей губы брусникой, ее восьмилетнее тело было легче осенней листвы, и, когда мы кружились, ветер сдувал мне в лицо ее волосы. Раз-два-три, раз-два-три, кружась, мы проделали путь к охотничьим собакам, но я не забывал о своих обязанностях, знал, что после, на краю ямы, мне придется сбросить ее вниз — с высоты в шесть локтей. Я не смогу сделать исключение даже для нее. И я было приготовился сбросить ее собакам, клацающим зубами, как вдруг она открыла глаза и спросила, если я так восхитительно танцую, зачем я согласился на эту работу. На что я сказал, больше я ничего не умею, на-

до же мне на что-то жить. Я больше ничего не умею, поэтому меня направили сюда, в отделение питания, сказал я, и затем, все еще кружась в танце, я отпустил ее талию, но она летела к собакам не так, как остальные трупы, она парила, как перышко, и смеялась, а собаки уже рвали ее на части, и лес все звенел от ее смеха. И тогда я внезапно почувствовал, что схожу с ума. "Отпустите! — кричал я собакам и швырял в них палками и камнями. — Она живая! — кричал я. — Вы все подохнете! — кричал я, но они продолжали рвать ее, а девочка смеялась, и от ее крови трухлявый лес наполнился мятным запахом. — Ты, шлюха подзаборная! — кричал я. — Ты не сделаешь из меня убийцу!" — кричал я, потом побежал между деревьями, но я знал, ничего уже не поделаешь, и изо рта у меня полилась рвота.

— Это вы на нищету так реагируете? — спросил священник, но я только махнул рукой, проехали, и не чувствовал даже обычного стыда, который бывает, когда я ловлю себя на том, что ухожу в себя настолько, что не замечаю окружающей действительности. Думаю, отчасти поэтому равнодушные люди внезапно начинают помогать другим людям. Чтобы испытывать хотя бы чувство стыда. Человек любит уличать себя во лжи, ведь говорить господину Розенбергу, что авторучка мне не нужна, это весьма напоминает ситуацию, когда голландские швейные производители говорят, что эти пятьсот фирменных бракованных свитеров им не нужны.

— Нам надо спешить, — сказал я. Позади остался цыганский квартал с его мужчинами-конокрадами, с его лестницами, ведущими в никуда и с его малолетними отпрысками в заграничных пуловерах. Квартал напоминал бродячий цирк, в котором не на что смотреть, кроме как на худосочного льва, лакающего из умывальника.

У меня не было обратного билета, потому что пятнадцать лет я неизменно говорил кассирше на вокзале: только туда. Думаю, примерно так же Юдит говорила о своей поездке в каком-нибудь адриатическом порту, когда, держа под мышкой узелок со сменой белья и скрипку семьи Веер, она просила какого-нибудь портового грузчика, чтобы он был так любезен плюс тысяча долларов, и освободил для нее небольшое местечко среди грузов югославской тяжелой промышленности. В общем, возле окошечка кассы я вдруг понял, что даже покупая билет домой, я вынужден повторять: только туда. Хотя мне уже все равно, подумал я и тут же заплатил за билет, потому что поезд уже свистел вдали.

— Возьмите это, — сказал священник, когда я стоял на ступеньках вагона, и вложил мне в руку книгу в кожаном переплете.

— "Исповедь"? — спросил я.

— Ну не шутите. Этого автора вы не знаете.

— Хорошо, — сказал я и положил книгу в карман пиджака. — Значит, подождете, пока я уверую?

— Не волнуйтесь, у вас будет время над всем подумать.

— Возможно, вы были правы. Нужно, чтобы сперва меня стошнило. Вдруг получится обратить сердце мое к Господу.

— Не надо его обращать. Оно и так обратится.

Мало кто ездит на поезде в понедельник утром. Ни рабочих, ни туристов, ни контрабандистов, которые спешат со своими товарами на загородные рынки, только пара менеджеров с портфелями, теперь и они начали, пока по одиночке, ездить на поезде, но шеф говорит им, через год будут "сузуки-свифт", на "сузуки" можно будет возить в Пешт наборы позолоченных столовых приборов, и семью на Балатон. Вот увидите, посетительницы бутиков в центре будут раскупать их, как горячие пирожки, наступил сезон. А теперь почему вы грустите? Что с того, что вы не можете внести залог за пятьдесят грязных никелированных столовых наборов? И не говорите мне ничего про счет за электричество, будьте же, наконец, мужчиной. Используйте свой шанс. Посетительницы бутиков уже во время открытия вывесили табличку, мы ждем вас, менеджеры, не томите нас, а кто не вывесил, у того уже есть набор позолоченных столовых приборов в дипломате, и они ждут другого менеджера, который торгует мультивитаминной косметикой от производителя или леопардовым бельем, потому что леопардовое хорошо пошло, в "Роби" его прямо-таки расхватали. Словом, такие вот менеджеры ездят на утренних поездах, и еще люди с гвоздиками и бутылками с водой, которые спешат в больницу, и еще те, кто бегает по учреждениям и хлопочет о компенсации, в карманах у них договора о купле-продаже поля за три золотых кроны, написанные химическим карандашом, или свидетельские показания соседей по камере, которые удостоверяют, что после двенадцати лет заключения они пешком пришли домой с берегов Енисея. Какого хрена, где я вам достану акт об освобождении?! Те, кто не успел отморозить себе руки, сразу подписали бумагу, что они никогда здесь не были, затем часовой в воротах лагеря дал нам пинка под зад, чтобы мы поскорее убирались отсюда, и мы не рискнули забраться в кузов грузовика, боялись, что нам будут стрелять в спину. Да вы в своем уме, молодой человек? Вы думаете, это пидоры продырявили мне уши, чтобы вдеть сережки? И не ссылайтесь мне на параграф, посмотрите сюда, это не дырка от пидорской сережки, это крыса прогрызла мне ухо в бараке! Очень жаль, что я не проснулся, уж тогда-то поели

бы мы мяса! Короче, в основном такие люди садятся на поезд в понедельник около десяти, и найти пустое купе было куда сложнее, чем на рассвете, когда ездят рабочие, или в выходные, когда ездят туристы, потому что они скопом набиваются в одно купе, шестнадцать человек устраиваются на восьми сидячих местах, ругают мастера по цеху или учителя физики, по кругу идет бутылка, играет магнитофон. А все эти менеджеры, посетители больниц или выбивающие компенсацию хотят побыть в одиночестве, они задергивают шторы, на станциях притворяются спящими, чтобы новые пассажиры не мешали им, а если у двери работает задвижка, они закрывают и ее, чтобы только контролер мог войти в купе.

В последнем вагоне я нашел пустое купе, закрыл дверь, повернул задвижку, задернул шторы и подумал, будет лучше, если историю священника Альберта Мохоша я отправлю в желтое досье, где я собирал неудачные рассказы. Старая нотная папка Юдит была чем-то вроде позорного столба для провальных опусов, выбрасывать мои нелепые рассказы на помойку или в печку у меня духа не хватало. Мало того, я держал желтую папку на столе, среди остальных рукописей, корректур и прочих бумаг, чтобы мама могла читать их в мое отсутствие. Так проходило наше общение. Пока я был дома, она редко переступала порог моей комнаты, но стоило мне отлучиться, она переворачивала все вверх дном, наполняла комнату тяжелым запахом косметики, проливала мятный чай, разбрасывала волосы. Мои рукописи были липкими от ее размазанной помады и туши для ресниц, потому что где-то она слюнила палец, где-то терла глаза. Но я не заговаривал с ней об этих следах, я мог бы запирать свои бумаги в ящик письменного стола, но она все равно была не первой, кто их читает.

В поезде я не могу ни писать, ни читать, потому что сельские пейзажи, проплывающие мимо, навсегда вкрадываются в мои впечатления от прочитанного. Даже вид захудалой придорожной лесополосы непременно оставит свой отпечаток на великолепных описаниях природы, которых так много в книгах, я вспомнил об этом потому, что люди, например, мне читать не мешают. Я могу абсолютно спокойно читать на эскалаторе, на трамвайной остановке или в пивной, разговоры завсегдатаев за соседним столом никогда не мешали монологам старца Зосимы или Мармеладова, одно отлично дополняло другое. Мало того, иногда было несказанно интересно слушать споры о розыгрыше кубка и параллельно листать “Критику чистого разума”. Только пейзажи мне мешают, чему я вовсе не рад. Я немного за-

видую тем, кто способен сидеть с книгой на острове Маргит, или с бумагой и ручкой в беседке, увитой розами, я так не могу. Поэтому я даже не пытался начать читать книгу, которую мне вручил священник, а просто смотрел в окно на пусту и ждал проводника, чтобы тот проверил у меня билет. Уже много лет я панически боюсь, что проводник найдет в моем билете какую-нибудь ошибку и высадит меня на ближайшей станции, глупость, конечно. Да где же этот хренов проводник, думал я, и скоро до меня дошло, что я уже не боюсь проводников. Даже если он сейчас меня высадит, я четыре дня буду бродить по пусте, и в этом, несмотря ни на что, есть свои плюсы. Без меня ты даже кран не способна открыть, мама, думал я. Если очень проголодаешься, будешь есть меньше хлеба, только и всего, думал я. Потому что Господь Бог не побежит в магазин на углу, думал я. Все-таки тебе определенно не обойтись без хлеба, мама, думал я. Без лучшего белого хлеба из пекарни Ракоци, думал я. Если в проводнике будет хоть что-то человеческое, он найдет ошибку в моем билете и вышвырнет меня из бегущего поезда прямо в пусту, а ты пойдешь и спокойно купишь себе хлеба, думал я. Пятисот франков в месяц вполне хватает на капли Береша (от которых никакого толку) и на косметику (разумеется, ее все равно никто не видит), думал я. Кстати, не младшая сестра, а старшая сестра, это ты давно бы уже могла выучить, думал я. Так мы вдвоем решили, когда нам было семь лет, думал я. Глупо всю жизнь ссориться из-за получасовой разницы в возрасте, думал я. Пока вы репетировали какое-то ревю-рабочего-движения, мы в суфлерской будке играли в гляделки, думал я. И кто дольше смог выдержать, не моргая, стал старшим, и больше мы об этом не спорили, думал я. И тебе об этом сказали, думал я. С тех пор я помнил, что Юдит моя старшая сестра, думал я. Добрый день, билет, пожалуйста, сказал проводник. Прошу вас, сказал я. По крайней мере, могла бы притвориться, что ты помнишь и о других неприятностях, а не только о прорыве плотины или о глазном кровоизлиянии, думал я. Здесь не курят, сказал проводник. Простите, сейчас я выйду в коридор, сказал я. Несомненно, проблемы в половой сфере привлекают внимание окружающих, думал я. Достаточно, если вы закроете окно, сказал проводник. Не важно, сказал я, то есть спасибо.

Когда почтальон принес первое письмо от Юдит из Америки, товарищ министр вызвал товарища Феньо, партсекретаря театра, и сообщил, что игра актрисы Веер не слишком дорога его сердцу, потому что, с одной стороны, он больше любит полных брюнеток, с другой стороны, потому что очередь за разными премиями и памятными кольцами и так слишком длинная, ина-

че говоря, она вполне достойна занять место на верхней ступеньке карьерной лестницы, однако, как выяснилось из "Нью-Йорк таймс", эта маленькая дрянь с большим рвением пиликает на скрипке по ту сторону океана. Словом, жаль было бы оставлять ее им, мы ведь музыкальная держава, не правда ли? И кстати, у наших прим есть немалые преимущества, мы можем обеспечить их довольно прилично и вместе с тем можем держать их не в таких уж жестких рукавицах. Они не пишут в газеты и в какой-то мере скрашивают ситуацию в стране. И струнному квартету не так-то просто подрывать устои рабочего класса. Короче говоря, он как министр культуры будет глубоко благодарен товарищу Феньо, если тот за максимально короткий срок найдет уязвимое место в душе ее матери.

И товарищ Феньо, над которым, кстати, коллеги собирались хорошенько посмеяться по поводу пятилетнего плана, конечно, исключительно тактично, соблюдая меру, короче, товарищ Феньо всю ночь ломал себе голову, где же в душе ее матери уязвимое место. Он даже немного досадовал, что безвозвратно прошли времена, когда интеллигентным людям было многое дозволено, потом он подумал, была не была, в конце концов, у нас народная демократия, свобода, черт возьми, и на следующий день на репетиции он попросил Клеопатру, чтобы та поменялась ролью с одной рабыней. Вы что, шутите? — спросила Клеопатра, но товарищ Феньо ответил, нет, он не шутит, товарищ актриса, это отличная роль, а если подумать, такая выдающаяся актриса, как вы, может украсить образцовые дома культуры на Тисе. И тогда Клеопатра сказала режиссеру, прогони, наконец, со сцены эту скотину, но режиссер попросил актрису не срывать репетицию, и будьте так добры к завтрашнему дню выучить свои несколько фраз, потому что ваш долг присутствовать на пражском театральном фестивале.

И тогда Клеопатра побежала домой, в чем была. Из ее глаз черными ручьями бежали слезы, потому что она даже не успела смыть грим. Она пробежала чуть ли не весь центр города в черном парике на голове, в диадеме из фальшивых бриллиантов и в бюстгальтере из фальшивых рубинов, в сандалиях из искусственной кожи, и в халате из искусственного шелка, накинутом на плечи. Несколько дней спустя тот же наряд красовался на внучке товарища Феньо в роли Клеопатры на афише французского ревю. Люди не верили своим глазам, матери, выходившие из магазина "Пионер", хватали детей и поворачивали их головы на сто восемьдесят градусов, так, как обычно свертывают головы курам, жены прямо на улице давали пощечины мужьям, которые глазели на Клеопатру, разинув рот, седьмой автобус проделал путь от площади Освобождения до "Астории" с черепашьей

скоростью, поскольку пассажиры требовали, чтобы водитель не смел обгонять Клеопатру. Но никто, ровным счетом никто не понял, кто же эта полуголая женщина в развевающемся халате. Они не узнали свою актрису, потому что никогда не видели ее настоящих слез, только те, что проливаются в нужный момент от вьетнамского бальзама, намазанного под глазами. И даже сам Антоний никогда не видел Клеопатру плачущей, даже тогда, когда почтальон принес первое письмо с Восточного побережья. Именно тогда Антоний понял, что на самом деле слезы у Клеопатры не ментоловые, а соленые, как у любого нормального человека, и он даже не сразу понял, что это из-за потери дурацкой главной роли он впервые видит ее плачущей, что только фиаско в карьере смогло пробудить в ней человеческие чувства. Он был благодарен драконовым законам народной демократии за эти соленые слезы. Ему было наплевать, что Клеопатру перемещают из привилегированной категории не в нейтральную, а в запретную категорию. Ее личное дело переедет на две полки ниже, какая, к черту, разница! Антоний пошел в ванную за валерьяновыми каплями и за мокрыми полотенцами, расстегнул ремешки сандалий на ногах у Клеопатры и стер с ее щиколоток и пальцев ног пыль улицы Кошута, Малого Кольцевого проспекта и Музейного сада. Потом он снял с нее халат из искусственного шелка, чтобы вторым полотенцем стереть капли пота, скопившиеся в излучинах позвонков. Он смог успокоить плечи, дрожащие от рыданий и усмирить вздрагивающие бедра, украшенные золотым поясом. Затем он стер с рук Клеопатры перья из разодранной подушки, и рыдания утихли.

— Как хорошо, — сказала Клеопатра и повернулась, чтобы Антоний смог стереть с ее лица прилипшие перья и осушить настоящие слезы, пробившиеся сквозь театральный грим, чтобы он пробежался ветерком по пульсирующим жилам на стройной шее и чтобы он охладил мокрым полотенцем ее тяжело вздымающиеся груди, украшенные фальшивыми рубинами.

— Не плачьте, мама, — сказал Антоний, — и мягко провел полотенцем по долине ее живота, от грудей, вниз, до золотого пояса чуть ниже пупка.

— Сними с меня это барахло, сынок, — сказала Клеопатра, и я расстегнул на ней пояс, затем она приподняла ягодицы, чтобы я смог вытащить из-под нее ремень из искусственной змеиной кожи, выкрашенный в золотой цвет.

— Сволочи, они думают, что сделают из меня статистку, — сказала она. А я стирал перья с ее бедер.

— Ах, как хорошо, сынок. Еще, ступни тоже, — и она приподняла ногу, чтобы я смог держать ее, но я схватил ее за щиколотку, и ее ступни оказались у меня перед лицом.

— Успокойтесь, мама, — сказал я. И прежде чем начать массировать худые пальцы ног, я согревал ее ступни своим дыханием. Потом положил ее пятку себе на плечо, потому что обнять маму не осмелился, а нести ее на кровать не хотел, и несколько минут мы сидели вот так. Она — облокотившись на стул, в парике, наполовину сползшем с ее светлых волос, я — держа одну ее ногу на своем плече, другую в руках. Наверное, первый раз в жизни я чувствовал на себе ее теплый взгляд, но не решался поднять голову, потому что знал, это будет длиться, пока мы не посмотрим друг другу в глаза. Естественно, думал я, нельзя вот так, опустив голову, просидеть всю жизнь. Потом она медленно высвободила ногу у меня из рук и поднесла к моим губам для поцелуя.

— Тебя будут очень любить женщины, сынок, — сказала она и поспешила в ванную.

В одно прекрасное солнечное утро товарищ Феньо вызвал маму к себе в канцелярию, угостил коньяком "Наполеон" и сказал, мы очень огорчены, что дорогая актриса не может найти применение своему таланту. Вот вам, к примеру, сценарий, в нем замечательно прописана главная роль, и к тому же фильм совместного производства, а это означает, что вас ждут незабываемые поездки. Правда, только в Болгарию, но ведь море везде море. Ну, еще по рюмочке? Товарищ актриса, конечно, осознает, что в сложившейся ситуации возникают препятствующие факторы. Однако эти факторы можно легко устранить — в чем, в чем, а в коньяке эти французы знают толк, не правда ли? — словом, если ваша дочь вернется домой — в конце концов мы ведь музыкальная держава, не правда ли? — тот же Лист, и Барток, и Легар, и симфонический оркестр венгерских железных дорог, — словом, мы не понимаем вашу милую дочку. Но если она вернется, мы посчитаем эту маленькую ошибку просто за учебную стажировку, и могу вас заверить, что здесь она сможет воспользоваться не только своим талантом, но и новоприобретенными связями, естественно, если проявит некоторую долю самокритики и сознательности. К тому же, как я уже говорил, перед вами сценарий, а в будущем вас ждет много главных ролей, которые, впрочем, надо еще талантливо сыграть. Ну, и по последней — и мама в тот же вечер написала первое письмо. Она не упоминала в нем о главных ролях, но намекала, что слишком долго пребывать за границей непатриотично. На что моя старшая сестра ответила, дорогая мама, на следующей неделе я даю концерт вместе с Менухиным, вы серьезно думаете, что я присоединюсь к симфоническому оркестру венгерских железных дорог?

Мама ответила не сразу, сперва она проконсультировалась с партсекретарем.

— Напишите ей, чтобы она подумала о семье, — сказал товарищ Феньо, потом на минуту задумался и сказал, нет, этого не пишите, потому что это можно не так понять, империалисты еще подумают, что здесь ее семья подвергается преследованиям. Лучше напишите, что мы высоко ценим ее редкий дар. На что моя старшая сестра ответила, дорогая мама, здесь меня не просто высоко ценят на словах, я каждый месяц могу пересылать вам пятьсот долларов, надеюсь, вы понимаете. И вообще, я скорее буду здесь горничной в каком-нибудь мотеле, чем дома первой скрипачкой на концерте в честь партийного съезда. И я вас очень прошу, больше не пишите об этом.

После чего мама уже не спрашивала совета товарища Феньо, составила список всех главных ролей и государственных премий, которых она лишилась по милости диссиденствующей дочери, и потребовала, чтобы Юдит немедленно вернулась домой, потому что она не потерпит, чтобы из-за какой-то шлюхи она всю жизнь была статисткой. Или Юдит вернется домой первым же самолетом, или дочь для нее умерла. И она гарантирует, что похоронит ее как мертвую. Все ее барахло она закопает на кладбище.

Однажды утром у меня болела голова, я полез в шкаф Вертхайма за лекарством и к своему удивлению обнаружил на дне распечатанные конверты, я был уверен, что читал маме за завтраком все письма, которые приходили от Юдит. Несколько секунд в комнате висело молчание.

— Кстати, "Метрополитен не такое уж плохое место". Ужасно, что до ты сих пор не научился бегло читать, сынок. Неудивительно, что ты никак не получишь аттестат, — сказала мама.

— Заваливают не за чтение, мама, — сказал я.

— Да? Но не в этом дело, давай дальше, — сказала она и вылила яйцо на ломтик поджаренного хлеба, а я продолжил читать. Первые три письма Юдит отправляла на адрес театра для актрисы Ребекки Веер до востребования, но на этих семи конвертах стоял наш домашний адрес, и содержание у писем было совершенно иным. Не случайно мама засунула их в шкаф Вертхайма за коробки с лекарствами. И в последнем письме Юдит стала обращаться к маме на ты. Не из наглости, не из упрямства, но как женщина к женщине. Эти письма были словно семь обвинительных актов, составленных на разлинованной бумаге. Я растерянно стоял посреди комнаты, пока не осознал, что с тех пор, как моя старшая сестра вступила в период полового созревания, в этом доме разыгрывалась драма, о которой я не же-

лал знать. И я уже собрался положить письма обратно, только бы оставаться в блаженном неведении, как вдруг заметил мамин сочувственный взгляд в зеркале.

— Бедный мой, — сказала она и забрала у меня нотные листы. Она держала их, точно дохлую крысу, двумя пальцами, и глаза у нее были потухшие, словно у убитого животного, и я понял, прошлому пришел конец. Что-то в наших отношениях навсегда утратило силу.

— Бедный мой, какое же ты ничтожество, — сказала она и ушла. Она вернулась поздно вечером, вместе с ней пришел рабочий сцены, он нес на плече черный бутафорский гроб.

— Сюда, — указала мама и швырнула свой плащ на середину комнаты, затем сунула парню в руку пятьсот форинтов и закрыла за ним дверь.

Я все еще сидел на кровати.

— Мама, тебе надо прилечь, — сказал я.

— Убирайся из моей комнаты, — сказала она, но я не шелохнулся.

Она открыла ногой гроб и швырнула туда письма Юдит. Потом все ее ноты, от Паганини до Стравинского, потом нотную тетрадь, скрипичные струны и канифоль для смычков. Она швыряла в гроб, будто в мусорную корзину, буквально все, начиная с ее свидетельства о рождении и оставшейся одежды, кончая чайной кружкой. Затем она отыскала желтую обувную коробку с семейными фотографиями, села рядом со мной и с каменным лицом по одной швыряла фотографии. Словно отделяя зерна от плевел. Те, на которых случайно могла оказаться Юдит Веер — в ящик, зерна — мне на колени. Я смотрел на репродукцию Девы Марии, висевшую на стене, и слушал, как стукаются о гробовую доску фотографии, сделанные во время концертов по случаю Дня матери, во время дней рождения и школьных экскурсий. Я знал, что на большей их части я тоже есть. И не чувствовал ничего. Даже усталости. Ровным счетом ничего.

Потом она еще раз прошлась по квартире — вдруг что-то осталось. В ванной она нашла комбинацию, в комнате для прислуги старый ранец.

— Ранец мой, — сказал я.

— Ладно, — сказала она и швырнула его обратно к чемоданам и прочему хламу.

Он, правда, был мой.

Затем она принесла из кладовки коробку с инструментами и стала забивать гвозди. Все гвозди погнулись, она плохо их держала. После пятой или шестой неудачной попытки она просто отдала молоток мне, и я забил гвозди в гроб по периметру. Бессмысленно было говорить ей, чтобы она, к приме-

ру, попросила об этом какого-нибудь рабочего сцены. Возможно, сказать стоило, но тогда мне это не пришло в голову. Мне не пришло в голову ничего, кроме того, что гвозди нужно забить. Потом я сказал: спокойной ночи, мама.

Утром она ушла в католический книжный магазин, где продавали не только книги, но и все необходимое для религиозных обрядов, фосфоресцирующие венки из роз, и сосуды для святой воды, и траурную гипсовую Деву Марию с младенцем Иисусом, и трехмерную Голгофу. Словом все, что имеет отношение к религиозным обрядам и что при этом сможет смастерить местный ремесленник, или что можно перекупить у оптовиков в Ватикане. Она купила десять бланков для некрологов; когда я проснулся, она уже их заполняла.

— Доброе утро, мама, — сказал я.

— Ага, — сказала она и продолжала переписывать своим бисерным почерком почтовый адрес министерства из телефонной книги, потому что она собиралась отправить некролог не только моей старшей сестре, но и партсекретарю театра, и министру культуры, и Яношу Кадару.

Ее лицо было спокойным и ясным, как никогда. Я подошел к ней и стал смотреть, как она лижет марки и приклеивает их на конверты с черными краями.

— Перестаньте, мама, — сказал я.

— Ты в это не вмешивайся, сынок, — сказала она и убрала мои руки со своих плеч.

Потом она ушла и оплатила за двадцать пять лет вперед место для могилы в дальнем углу кладбища Керепеши, рядом с детскими могилами, увитыми ползучими вьюнками, возле обвалившейся кирпичной ограды каучукового завода, где во время пробного надувания камер так вздыхали клапаны, что казалось, это мертвые дышат под землей. Могильщики состроили кислые физиономии, потому что одиннадцатый участок для них — сплошное наказание, там переплетаются корни лип, каштанов и платанов, приходится разрубать корни топором — работа хуже некуда, высекать могилу в скале и то проще. Но в итоге они распугали фазанов, расчистили бурьян и выкопали яму, не подозревая, что переквалифицировались в рабочих сцены, поскольку все формальности были соблюдены. Например, гранитный мастер Йожеф Шмукк, которому жизни было не жалко за бутылку водки “Финляндия”, за несколько минут выбил имя моей старшей сестры вместе с годами жизни на типовом обелиске из искусственного гранита, и даже позолотил буквы, и вдобавок позаботился об установке

памятника. А директор похоронного бюро закрыл глаза на отсутствие свидетельства о смерти моей старшей сестры, точнее, блок американских сигарет и бутылка шотландского виски заменили ему свидетельство о смерти. Мама купила их в валютном магазине на улице Кидьо, на деньги, полученные от Юдит. Словом, никто не удивлялся, не протестовал, что здесь уже тридцать лет как не хоронят, четыре могильщика дружно взяли инструменты и под ритм вентилятора, барахлившего на каучуковом заводе, рубили бурьян, и копали землю, и кромсали корни, пока не выкопали могилу для вещей Юдит Веер.

— Эта рубашка ужасна. Надень что-нибудь приличное.

— Я не пойду, мама, — сказал я.

— Как не пойдешь? Давай одевайся.

— Я сказал, мама, что не пойду.

— А впрочем, все равно. Твоя жизнь, поступай, как хочешь.

— Я прошу, прекратите это, мама, — сказал я.

— Это касается только меня. Понял?

— Понял, мама. Но вы никогда себе этого не простите.

— Ты ошибаешься, сынок. Ты даже не представляешь, сколько всего может простить себе человек в случае необходимости, — сказала она. Потом она оделась и вызвала такси с верхним багажником.

Шофер сказал, мне очень жаль, госпожа, не сердитесь, но я не доставляю трупы, на что мама вынула из сумочки две тысячи форинтов, и выяснилось, что если очень нужно, то гроб можно считать своеобразным багажом. Мужчина засучил рукава, но гроб оказался легче, чем он рассчитывал, и он не стал взваливать его на плечо, а донес под мышкой. Поставил его на верхний багажник и привязал эластичным шнуром, а мама в черном костюме, в босоножках, с черной бархатной сумочкой в руках уселась на заднее сиденье "жигулей".

— Поехали, — сказала она, и они уехали на Керепеши, промчались по тенистой главной аллее, до самого конца, до детских могил, там их ждали четыре могильщика; партсекретарь, министр культуры и Янош Кадар не явились на похороны, и мама сказала шоферу, подождите, через несколько минут я вернусь. И пока они спускали гроб, счетчик в такси тикал. На ноты Паганини и Стравинского за два форинта посыпались четыре лопаты земли, могильщики тянули время, чтобы подольше поглазеть на маму, которую шелковый костюм облегал точно так же, как в молодости, в примерочной кабинке в магазине на Александерплатц.

Вряд ли гэдээровские модельеры могли предполагать, что их творение произведет такой эффект. Жены артистов, едва оправившись от послеродовой депрессии, из-за этого костюма впали в другую депрессию и не избавились от нее до самой смерти, тайные любовницы директоров театров принимали успокоительное, и их отвозили на промывание желудка. Сотни женщин мечтали отправить на костер эту шелковую юбку и этот шелковый жакетик, застегивающийся на две пуговицы, под которым пружинили соски, начиненные ядом после десяти лет брака. Ассистенты прежнего директора, официанты и подмастерья из мясной лавки — как они мечтали, чтобы поскорее сгинул этот костюм. Много лет они просыпались в холодном поту, почувствовав во сне миндальный запах ее грудей, и утром в ванной давали пощечины своим подругам и орали, чтобы я больше не видел на тебе это барахло, потому что бедняжка примеряла перед зеркалом шелковый костюм из какого-нибудь секонд-хэнда. Словом, ничего этого не предполагали гэдээровские портные. Модельеры думали всего-навсего о строгом летнем костюме, под который, естественно, надо носить какую-нибудь блузку, скажем, кремовую, и в котором служащие контор в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти будут ходить по выходным в кино. Но мама уже там, в примерочной на Александерплатц, неожиданно поняла, что в этих лоскутках шелка таится гораздо большее, и на ее настроение не повлиял даже тот факт, что у нее уже три месяца не было месячных.

— Поехали, — через пару минут сказала она таксисту, — свершилось, что толку смотреть. Могильщики все еще закапывали яму, а она уже сидела в видавшем виды кожаном кресле в канцелярии товарища Феньо. И тогда мама спросила, довольна ли теперь ею партия. Да, переписка не увенчалась успехом, но сама она сделала соответствующие выводы, ее дочь не просто заблудшая дурочка, но последняя изменница, которая в интересах карьеры оказалась способна беззастенчиво предать не только собственную мать, но и весь рабочий класс. Подлое ничтожество, мерзкая глупая шлюха. Товарищу Феньо должно быть известно, что она не просто порвала с ней все отношения, но с сегодняшнего дня дочь для нее умерла. Следовательно, с ее точки зрения, она, и как мать, и как актриса, снова соответствует требованиям социалистической морали. Партсекретарь какое-то время думал, что она над ним издевается и строго сказал товарищу актрисе, что Венгерская социалистическая рабочая партия не потерпит подобного поведения, но через несколько мгновений до него дошло, что в ее

словах нет никакого издевательства, эта женщина и вправду так думает. И тогда он ударил маму по лицу.

Она еще смогла швырнуть свою трудовую книжку в канаву перед служебным входом в театр, словно пустую станиоль, в которой кончилась пьяная вишня, но дома у нее уже не было сил, даже на то, чтобы закрыть ставни. Она сбросила с ног босоножки, расстегнула костюм и легла на кровать.

— Принеси мокрое полотенце, у меня мигрень, — сказала она.

— Я уйду из дома, мама, — сказал я.

— Ага, — сказала она, и, когда она побрела в ванную за мокрым полотенцем, я положил в сумку несколько смен чистого белья.

Стоя в дверях, я смотрел, как она лежит на кровати в полутемной комнате среди фальшивого наследства Вееров. Черная шелковая жакетка обнажила ее живот, вместо лица была сплошная мокрая тряпка. Нагая, как мертвецы, которыми любуется только Господь Бог да тот, кто обмывает трупы. Я был бы не против, если бы вместо слез у меня из глаз потекли слюни товарища Феньо, лишь бы хоть что-то почувствовать. Но я чувствовал только, что задыхаюсь. Если я не сбегу отсюда сейчас, то не сбегу никогда. Я хотел бы ее возненавидеть. Возненавидеть, как ненавидела Юдит, думал я. Или как эти жены, которые сейчас уже наверняка вздохнули с облегчением и мечтают взглянуть, наконец, через окошечко в печи крематория, как она будет обугливаться в своем шелковом костюмчике, а они повернут лица своих мужей к огнеупорному окошечку: посмотри, посмотри хорошенько, может, ты еще успеешь залезть туда и оттрахать ее.

— Я ухожу, мама, — повторил я, но уже не ей, а тряпке, прилипшей к ее лицу.

— Я закрою, — сказал я, закрыл дверь и пошел на Кольцевой проспект, хотя и не знал, куда мне идти. Потом я вспомнил, что Кремеры недавно предлагали дом в деревне, можно звонить им в любое время.

В те годы входили в моду загородные дома, стены из саманного кирпича, свежий воздух, во дворе тележки, украшенные геранью, а крестьяне дивились, как ловко месят навоз эти пештские интеллигенты, с каким знанием дела они обмазывают обвалившиеся куполообразные печи, увешивают геранью тележки, выкрашенные в коричневый цвет, и с какой превеликой изобретательностью мастерят садовый стол из вонючей капустной

бочки, стульчики из подойников, настольную лампу из разбитого глиняного горшка. С каким энтузиазмом их отпрыски плещутся в месильных корытах, пока папаши правят косу железным напильником, а мамаши промазывают корабельной смолой лопату для хлеба. Дивились крестьяне, как соседка дикторша одновременно может читать новости по телевизору и сажать лук в огороде, и они спросили ее через забор, как это получается, как такое возможно. А дикторша объяснила, что она уже вернулась со съемок, а техника сейчас настолько продвинулась, что такое вполне возможно, на что крестьяне сказали, это-то понятно, но как она в пятницу может читать субботние новости? Откуда она может их знать наперед? И тогда дикторша смутилась и спросила, какая здесь земля, достаточно положить две луковички в одну лунку, или лучше три. А крестьяне ответили, земля здесь хорошая, мы обычно сажаем по одной.

Надо позвонить, пока не поздно, решил я и даже вытащил два форинта, но подумал, что наверняка они будут спрашивать о маме. Как у нас дела, какие новости от Юдит, и все такое. И мне ведь нужно будет что-то наврать, думал я. Не могу же я сказать, что мама сошла с ума, думал я. Я просто не смогу об этом никогда и ни с кем говорить, думал я. Человек не может сказать о своей матери, что она сумасшедшая, думал я, и даже начал что-то сочинять, но стал накрапывать дождь, я спрятался под навес газетного киоска, и оттуда смотрел на трамваи, и никак не мог придумать, что я скажу, если они будут спрашивать о маме. И когда ушел десятый по счету трамвай, я окончательно уверился в том, что никогда и ни с кем не смогу говорить о маме. Потом продавец газет, затертый между новостями и кроссвордами, высунул голову в окошечко и спросил, чего мне, собственно, нужно, а я сказал, простите, я тут просто жду кое-кого и попросил “Музыкутеатрикино”. И когда он сунул мне в руку журнал и сдачу, я понял, что идти мне некуда. Точнее, куда бы я ни пошел, от Камчатки до Огненной земли, я везде буду просить “Музыкутеатрикино”, если продавец газет застанет меня врасплох. Так солдаты, которых призвали из деревни, даже на фронте, роя окопы, растирают ком земли и смотрят, что лучше сажать, пшеницу или ячмень.

Полупьяная женщина лет пятидесяти, шатаясь, переходила проезжую часть, она была в красном трикотажном платье и босиком. Машины сигналили, шоферы ругались, а женщина плевала в их сторону и кричала в ответ: я курва. Дождь смыл завивку с ее пережженных волос, капли падали ей на лицо и катились по штукатурке толщиной в палец, точно по клеенке.

В одной руке она держала бутылку водки и свои туфли, в другой ворону. Я курва, повторила она несколько раз, когда перешла на ту сторону, но уже не ругаясь, а так, самой себе, невозмутимо, как пономарь. Она бросила птицу на тротуар и попыталась надеть туфли, но пошатнулась и прислонилась к фонарному столбу. Наконец она уселась на мокрый тротуар, ворона истекала кровью рядом с ней на асфальте.

В итоге ей удалось застегнуть ремешки на щиколотках, но за это время птица сдохла. Ее перебитые крылья прилипли к асфальту, словно увязли в смоле, но женщина заметила это, только когда закончила возиться с туфлями.

— Ребекка просыпается, — сказала она и подняла мокрую кучу перьев, отказываясь верить, что ворона уже мертвая. Она попробовала влить водки в клюв дохлой птице, и, когда влила всю, когда уже не оставалось никакой надежды, она отпустила голову вороны и начала разъяренно молотить птицей об землю и кричать: Ребекка летает! Ребекка летает! И тротуар уже был весь в крови, потому что голова у птицы развалилась.

На остановке какая-то женщина быстро заслонила рукой глаза своему любопытному сыну, не смотри туда, плохая тетя, сказала она, но ребенок не послушался и получил затрещину, затем мать оттащила его на другой конец тротуара. Продавец газет крикнул из ларька, если ты не смоешься отсюда, я дам тебе пинка, и ты улетишь под трамвай, но женщина не унималась, в итоге продавец вышел из киоска и схватил ее за волосы.

— Отпустите сейчас же, — сказал я, еще ни разу я не вмешивался в уличные драки.

— Не квакай, а то и ты получишь, — сказал он.

— Я сказал, отпустите сейчас же, — повторил я, но уже гораздо тише.

— Тогда уведи ее отсюда вместе с гребаной птицей, — сказал он раздраженно, затем, ругаясь, вернулся в киоск и захлопнул дверь.

Женщина обняла мои ноги, словно ствол, а я не знал, что мне делать. В голове вертелись фразы наподобие: нуперестаньтеже, или успокойтесьрадибога, но я вдруг почувствовал, что всю оставшуюся жизнь могу проторчать на углу Кольцевого проспекта и улицы Беркочиш в обнимку с этой шлюхой, стоящей на коленях в луже. Лучше всего мне сейчас смыться, пусть продавец с ней разбирается, и я взял женщину за руку, чтобы, по крайней мере, высвободиться из ее объятий.

— Поднимите, — сказала она. Я помог ей подняться, и она, опершись о столб, ждала, пока я заверну останки вороны в "Музыкутеатрикино". Она сунула сверток под мышку, взяла меня за

руку, и мы пошли на площадь. Я присмотрел скамейку, из которой не были выбиты доски, но она не захотела садиться.

— Здесь плохо, — сказала она.

— Где вы живете? — спросил я, она махнула головой в сторону какого-то переулка и выбросила ворону в урну.

Ее комната располагалась у задней лестницы, напротив туалетов, но сперва женщине пришлось вскарабкаться на унитаз, чтобы снять со смывного бачка дверную ручку, которая одновременно служила ключом, и мы, наконец, вошли в прачечную, переоборудованную под жилую комнату. С тех пор как получили распространение стиральные машины "Хайду", муниципальный совет с большой охотой стал признавать временными квартирами те прачечные, из которых более или менее выветрилась селитра и в которых хватало места только на неприбранную кровать, небольшой стол, кресло с двумя сломанными подлокотниками, шкаф и одноконфорочную газовую плиту с одним баллоном.

Возле плиты и раковины на стене висели обложки цветных журналов, прикрывавшие обвалившуюся штукатурку. Кое-где кнопки выпали, и эстрадные певицы и фотомодели, демонстрировавшие весенние кардиганы, свешивали головы вниз, за девушками в отважном декольте с обложки роман-газеты "Ракета" виднелся мокрый кирпич, но запаха сырости не чувствовалось, наоборот, запах был, как в птичьей клетке. Женщина открыла платяной шкаф и внезапно комната наполнилась чириканьем. На полках стояли в ряд двадцать пять клеток, под лучами света оживали канарейки, попугаи, чайки, синицы и воркующие горлицы, еще там были дикий голубь, балканская горлица, черный дрозд и много-много воробьев, и каждая птица бессильно билась внизу клетки, потому что ее крылья были сломаны.

— Сигареты не найдется? — спросила женщина. Я ответил: кончились. Тогда она встала на колени и пошарила рукой под кроватью, нашла банку из-под компота, полную мелочи, залезла в нее и высыпала мне в руку пригоршню двадцати- и пятидесятифиллеровых монет.

— Принеси "Ласточку" — сказала она.

Продавщица уже подметала.

— Надо приходить раньше, — сказала она, касса уже закрыта, а я сказал, пробьете завтра утром, но она возразила, что так нельзя, кто знает, а вдруг я ревизор, тогда ее уволят, и я заверил, я не ревизор, просто моя мама не смогла пойти в магазин, потому что сломала крыло, тогда она засмеялась и отпустила мне товар из-под наполовину опущенного жалюзи, про крыло я случайно сказал, хотел сказать — ногу. Еще я купил не-

сколько булочек и двести граммов докторской. Когда я вернулся, женщина лежала на кровати и смотрела на птиц, галдящих в платяном шкафу, как другие люди обычно смотрят телевизор или глазеют на улицу из окна и узнают, что творится во внешнем мире.

— Хотите есть? — спросил я и выложил продукты на столик.

— Ешь, у меня сегодня нет аппетита, — сказала она, потом села, закурила сигарету и снова стала смотреть на птиц. Снаружи хлопнула дверь туалета, вскоре к чириканью канареек и воробьев добавился стон какого-то мужчины. — Это Нитраи — сказала она. — У него уже две недели запор, кряхтит тут у меня каждый вечер, — потом она хриплым голосом закричала: — Нитраи, выпейте ж наконец касторки. Тот крикнул в ответ: иди в жопу, я настучу на тебя моралистам, ты, шалава.

— Все равно не настучит, — махнула она, как будто желая успокоить меня, чтобы я оставался и ел. Она потушила сигарету, зажгла плиту и поставила кипятиться воду. — От холодной воды они заболеют, — сказала она и стала сыпать из бумажного пакета в клетки какие-то семена, приговаривая: Ребекка ест.

— Откуда они? — спросил я.

— Отовсюду. Лучшие — от постоянных клиентов, в презент. Только они все приносят птиц со сломанными крыльями, потому что так птицу продают дешевле или отдают бесплатно. В принципе не важно, здесь не особенно полетаешь.

— А ворона?

— Я сегодня нашла ее на площади. Какая-то собака постаралась.

Она проверила мизинцем, готова ли уже вода, наполнила поилки и снова закурила сигарету.

— Трахаться будешь? — спросила она.

— Нет, — сказал я.

— Ты джентльмен. Наверняка ходишь в "Анну".

— Не поэтому, — сказал я.

— Всего за триста. Я работала в "Анне".

— Я пока не хожу туда.

— Ты женат?

— Нет, не женат.

— Если ты женат, то будешь трахаться. Женатые трахаются гораздо чаще.

— Я могу спать здесь? — спросил я.

— Тоже за триста. Но только сегодня ночью, потому что завтра постоянный клиент. По вторникам приходит почтальон.

— Хорошо, — сказал я.

— Он принес канарейку. Но ты плати сразу, заранее.

— Конечно, — сказал я и вытащил три сотни, она взяла деньги и засунула в шкаф, за одну из клеток.

— Отсюда не украдут. Если кто-то полезет, я проснусь от шума. Стерегут лучше, чем собака.

— Это вы? — спросил я и показал на фотографию, висевшую над кроватью.

— Мама.

— Похожа. Ваша мама была очень красивой женщиной.

— Не надо ко мне клеиться. Трахайся со мной за триста. Если захочешь быть постоянным клиентом, приноси птицу.

— Я не клеился, она правда красивая.

— Да уж. Вот и пускай висит и все видит... Ну, раздеваешься?

— На самом деле, я просто хочу переночевать.

— Тебя турнула жена, да?

— У меня нет жены, — сказал я.

— Если не хочешь о ней говорить, не надо.

— Почему ты не веришь, что у меня нет жены? — спросил я.

— Мне плевать. Я верю, — сказала она. — Только женатые поначалу так ломаются. Но и они привыкают, как миленькие, потому что женам плевать на их хрен.

Она закрыла двери шкафа, чтобы птицы замолчали.

— На-ка, выпей, — сказала она и вложила мне в руку поллитровку водки, которую отыскала под плитой, потом стащила с себя красное трикотажное платье, расстегнула бюстгальтер, и из чашечек вывалились ее огромные груди, расправились, словно смятая губка, или чайная роза, увядшая от дождя.

Наверняка почтальон ходит сюда из-за этих грудей, думал я. У него тоже могут быть всякие комплексы, думал я. Калеки и те захотят спрятаться между ее огромных грудей, думал я. А инвалид в коляске, который каждое воскресенье заворачивает в эту сторону, наверняка тоже заглядывает сюда, думал я. Одной рукой крутит ручку, одной ногой рулит и спокойно едет на красный свет, потому что ему нечего терять, думал я. Он катит прямо по ногам дорожного полицейского и кричит ему, твою мать, а тот отпрыгивает. Он даже паспорт не спрашивает, не дурак же. Знает, нет смысла связываться с тем, кому нечего терять, думал я. Завтра надо будет попробовать, думал я. Перейду на красный, и, если не спросят паспорт, тогда уж точно мне терять нечего, думал я и смотрел, как женщина снимает туфли. Ее ноги были перепачканы грязью, поэтому она достала из-под подушки носовой платок, поплевала на него, вытерла стопы и кинула платок под кровать.

— Ну, ты идешь? — спросила она.

— Я лучше посплю в кресле, — сказал я и залпом выпил стакан водки, чтобы побыстрее заснуть.

— Можешь раздеться, я не карманница, — сказала она.

— Я знаю, — сказал я.

— Выключишь потом свет, — сказала она и натянула на себя одеяло.

Я сдвинул кресла, разделся, пошел к раковине и выпил из горсти глоток воды, так как водка жгла мне горло.

— Почему вы хотите, чтобы ваша мама все видела? — спросил я уже в темноте.

— Если не хочешь трахаться, спи, — сказала она.

Я с нетерпением ждал, когда мы, наконец, проедем спальный район и зеленый пригород, по правде говоря, я терпеть не могу городские окраины. Возможно, я не прав. Наверняка большинство скажет, что низкоэтажный Кишпешт — это лучше, чем Большой Кольцевой проспект, и тем более поселок Хаванна лучше, чем ничего. Но я уже давно, если мне случается ночевать в панельном доме, просыпаюсь в холодном поту. Мне всегда кажется, я не смогу найти дорогу домой, и много лет я складывал в ящик письменного стола самодельные карты. Некоторые были нарисованы на листках бумаги использованными спичками — карандаша или ручки возле кровати не оказалось. Все очень просто, милый. Дойдешь до конца улицы, у гастронома повернешь налево, а потом, сделай одолжение, выброси эту бумажку в урну, вместе с адресом и телефоном, потому что я не люблю, когда путают две вещи — половой акт и службу психологической поддержки. Некоторые карты были нарисованы помадой на салфетке с сердечками, или на листе из тетради, или на лоскутке материи — поскольку мы до полуночи засиделись в кафе. Оставь себе, дорогой, здесь адрес и телефон, пойдешь по этой улице, около гастронома повернешь направо, там увидишь остановку. А сейчас поторапливайся, с минуты на минуту вернется папа с ночной смены или муж из Ленинграда. И чтобы не сталкиваться с ними, я бежал что есть сил, чтобы успеть на последний автобус, как в тот раз, когда школьная учительница, которая сначала говорила, что она манекенщица, вдруг решила оказывать мне и психологическую помощь — и во время полового акта я неожиданно разрыдался. С другой стороны, после соития мужчине всегда немного стыдно, в глубине души ему всегда хочется сбежать, и мне ужасно грустно вспоминать эти несчастные тетрадные листки и салфетки с сердечками.

После этого вполне понятно, что ты просто обделалась из-за Эстер, мама. Тебе бы хотелось, чтобы я и дальше складывал в ящик письменного стола карты одноразового использования —

и еще засушенные розы, светлые локоны и сонеты с бедными рифмами, написанные на моей спине. Чтобы и дальше скапливались в ящике телефонные номера (по которым я никогда не позвоню), крестики, золотые сердечки и звездочки Давида, сорванные с цепочки. Выпускные фотографии и медальоны со знаками зодиака. Рыб столько же, сколько Скорпионов, это неспроста, мама. Само собой, остальные знаки зодиака тоже есть в моей коллекции, и почти к каждому медальончику прилагается нижнее белье, и минимум к одному — вытянутая из кассеты магнитофонная лента с шансонами Пиаф.

Музей ненужных вещей вселяет в тебя надежду, не то, что Эстер, мама. На одной чаше весов Эстер, на другой золотое сердечко или кассета Орво, со вздохами и вскриками, тайно записанными на другой стороне. Отличный сувенир, на прощание кладем в карман бывшему любовнику, совместим приятное с полезным, будет на что подрочить в гордом одиночестве вдали от Андьялфельда. Ты будешь слушать и думать обо мне, правда? А я вру, конечно, буду, потому что в момент расставания нет ничего унизительнее, чем сказать правду. Стыдно и несправедливо, уже через пару часов мы страшимся прикосновений, которые так обжигали нас в троллейбусе или в "Полскифиате". Мы пылали страстью только оттого, что целых полгода никто не водил нас в съемную комнату в Уйпеште или на виллу в Шашхедь.

Словом, как-то стыдно говорить правду, если после эякуляции страсти остывают, точно в вакууме. Мужчина пугается своего равнодушия, он кивнет, он не скажет ей, что никогда не будет слушать вскрики, записанные на оборотной стороне. Ему нечего вспомнить, только отсветы рекламы государственной лотереи бликами на занавеске после соития, комната от света казалась точно заплесневелая. При воспоминании о сонете, написанном на спине, он подумает лишь о том, что кончик карандаша ужасно царапался, а при воспоминании о наполовину разорванном воротнике он вздохнет лишь о том, что это была его лучшая рубашка. И я знаю, что все эти любовницы на одну ночь вселяют в тебя надежду, но только не Эстер, мама.

На Ракош-Сортировочной в купе сели трое мужчин, железнодорожные рабочие, которые даже по городу перемещаются на поезде. Они приезжают на Восточный вокзал на каком-нибудь пассажирском, только для того чтобы забрать тормозную колодку или попросить взаймы инструмент, а затем выпьют пару фреччей в Уташеллато — и обратно, правда, дорога занимает полтора часа как минимум, но с них никто не спросит. Путешествие на поезде предусмотрено в рабочее время, ведь для железнодорожников троллейбус или автобус — все равно что зем-

ля для моряков. Когда моряки встают на якорь в гавани, их начинает мутить. Точно такое же отвращение железнодорожники испытывают к общественному транспорту. Я узнал это от одного проводника, он рассказывал, что, например, не может спать на подушке. Жена тридцать лет стелет ему кровать по всем правилам, а он тридцать лет скидывает подушку на пол и кладет под голову железнодорожную сумку, потому что так он привык еще до свадьбы. А его жена работает в гостинице "Рассвет" и подкладывает подушку чисто машинально, привычка — вторая натура. К счастью, за тридцать лет они поссорились всего один раз. Они только поженились и поехали в дом отдыха профсоюзов, но первый отпуск не задался, поскольку он не взял с собой железнодорожную сумку и четыре ночи подряд не мог заснуть. До утра он ворочался, взбивал подушку, пробовал спать на ивовой корзине жены, в которой они носили на пляж подстилку, но ничего не помогало, и на пятый день им пришлось вернуться домой. Дело шло к разводу, но в итоге женщина признала, что неправа она, не родился еще тот проводник, который сможет спать без сумки.

Еще я говорил с одним машинистом, ему дали инвалидность, потому что, после того как он сбил человека, он не смог вести локомотив. Мне свело руки судорогой, я просто не мог выжать стоп-кран, понимаете? Я стоял на подножке и плакал, а на дороге уже загорелся зеленый свет. Потом пришли стрелочники и начальник станции, и вдвоем они еле-еле оторвали мои руки от железного поручня. Вечером я попал к врачу, в больницу венгерских железных дорог, хотя большинство машинистов по пять-шесть раз в жизни сбивали людей. Это входит в издержки профессии. Им еще во время обучения говорят, что в подобных случаях не стоит сильно переживать, многие бросаются под поезд от страха, например, косули или зайцы, и мы тут ничего не можем поделать. Тем более не наша вина, если кто-то решил свести счеты с жизнью. В такие моменты лучше сигналить и ехать дальше, словно ничего не случилось. Но я даже не просигналил. Меня просто парализовало, понимаете? За поворотом на Татабанью стояла женщина с двумя детьми, она даже не прижимала их к себе, они просто стояли в ряд, как тополя, и смотрели мне прямо в глаза, понимаете? Шестилетняя девочка смотрела на меня, словно на рождественскую елку с подарками. На следующий день в газете опубликовали фотографии с места происшествия и статью о подобных матерях, и журналист сочувствовал машинисту, которого наверняка потрясло это событие. А я хотел отыскать этого журналиста, чтобы спросить у него, он когда-нибудь видел, как мать с двумя детьми стоит на рельсах? Я хотел потребовать, чтобы он публично опроверг им написанное.

Пусть напишет, что они ждали от меня чуда, это я виноват, что не просигналил, но коллеги меня отговорили. Не стоит, сказали они, хватит с тебя проблем, сам знаешь, бесполезно было сигналить. А на следующий день я не смог заступить на работу, мои руки точно приклеились к лестнице электровоза, и меня досрочно отправили на пенсию по состоянию здоровья. С тех пор я развожу вешенки в подвале. Я спросил у этого машиниста, почему в таком случае он все-таки ездит на поезде, а он ответил: молодой человек, это вам не сигареты, так просто от них не откажешься. Железнодорожники не могут жить без поездов. Я езжу бесплатно, поэтому каждое воскресенье сажусь в пассажирский и еду в Дебрецен или в Мишкольц, просто так, без всякой надобности, а вечерним поездом возвращаюсь в столицу.

Когда вошли трое железнодорожных рабочих, я быстро вытащил из кармана книгу, которую получил от священника, чтобы, забившись в угол, притвориться, что читаю, потому что не хотел ни с кем общаться, а того, кто читает, обычно оставляют в покое. У него не спрашивают, откуда он едет, есть ли у него семья и тому подобное. Тот, у кого книга в руках, словно не существует. Не надо угощать его пирожным или напитками, книга делает его невидимым. Сидя напротив читающего пассажира, даже не стараются говорить тише. Короче говоря, я достал книжку, мне было любопытно, что сунул мне в руку отец Лазар, почему он не дал мне "Исповедь" и отчего был так уверен, что я не слышал о ее авторе. Не то чтобы я досконально изучил церковную литературу, но иногда лучше предполагать, чем знать наверняка, отец. И когда я открыл книгу, мне стало стыдно. Наивный отец, он надеется, что бетонные своды моего неверия обрушатся, что я обрету небо и перестану писать про отравленные облатки. Я листал пустую тетрадь в черной кожаной обложке и не чувствовал ничего, только этот легкий стыд. Боюсь, отец, от меня никакого толку, словно от цыганских детей в голландских свитерах. Какой все-таки фарс эта гуманитарная помощь, думал я. Эти несчастные и дальше будут красть лошадей и обдирать с них шкуры, в лучшем случае бездельничать, сидя на лестницах, ведущих в никуда, думал я. Хотя это не так страшно, как нам кажется, думал я. Право слово, удача выбирает храброго, но, если есть конина, зачем нам храбрость. Подарить мне чистую тетрадь — весьма мило с вашей стороны, даже остроумно, но бесполезно, все равно что дарить цыганятам свитера. Я это уже однажды проходил, мои листы А4 тоже сперва были чистыми, а что из них потом вышло, думал я. Вы считаете, что даже Каинова пшеница милее Господу, чем мои рассказы, отец. Что поделаешь, Господу виднее. В лучшем слу-

чае я так и останусь подающим надежды писателем, точно звонкая руда, Господь не виноват в этом. Господь всемогущ, или он виноват почти во всем, или почти ни в чем, давайте лучше остановимся на последнем, отец.

Ослепни, сказал я себе лет в десять, и, спотыкаясь, ходил по квартире с открытыми глазами, словно настоящий слепой. Три дня я наливал чай мимо чашки и натыкался на дверной косяк. Это было несложно. Я видел, как и прежде, но мне это совсем не мешало. Одна Юдит знала, в чем дело.

— Я слепой, но не говори никому — сказал я.

— Хорошо, — сказала она и продолжала готовиться к конкурсу в школе, а я смотрел на маму, словно сквозь запотевшее стекло, пока она надевала каракулевую шубку. Потом она быстро выложила на стол из холодильника колбасу и плавленый сыр и убежала в театр.

— В понедельник выходной, — сказала десятилетняя Юдит.

— Уверен, они репетируют, в пятницу спектакль, — сказал десятилетний я.

— В понедельник нет репетиций. У актеров в понедельник воскресенье, так же как у евреев воскресенье в субботу.

— Тогда сегодня не понедельник, — сказал я, после чего она положила скрипку и принесла с маминого стола календарь.

— Посмотри, понедельник.

— Я не вижу, — сказал я.

— Прости, — сказала она. — Вот здесь, понедельник, восемь вечера, Тэ-Чэ.

— Ну да, "Трагедия человека".

— Томаш Чапман, — сказала она.

— "Трагедия человека", — сказал я.

— Чапман. Кстати, "Трагедию человека" запретили, после того как особо важные персоны из дома Горького стоя хлопали фаланстеру.

— Тогда кто-то другой. Она обещала, что Чапман больше сюда не придет.

— Они просто репетировали. Тебе мешает, что они репетируют дома? В театре ты же не полезешь на сцену во время представления.

— Я не могу спать, когда они кричат. Пусть не врет. Пусть мама не врет мне. И вообще Чапман не актер, он просто журналист.

— Критик. Это почти актер.

— Ну и что. Пусть ночью репетирует одна.

Юдит взяла меня за руку и отвела на кухню, намазала кусок батона плавленым сыром и вложила мне в руку, будто я в самом деле слепой, тут открылась дверь и вошла мама, но она даже не поздоровалась, даже не сняла каракулевую шубку — сразу побежала в ванную.

— Вот видишь, сегодня нет спектакля, — сказала Юдит, мы закончили ужинать и ушли в нашу комнату.

— У нее мигрень, сегодня не готовься к конкурсу.

— Давай играть в карты.

— Не могу, — сказал я.

— Тогда давай в домино. В домино можно на ощупь.

Минут через десять она-таки зашла к нам, одной рукой она прижимала к пульсирующим вискам мокрое махровое полотенце, другой сжимала ручку двери, сухожилия на руках были напряжены, как будто она сжимала нож, так ее руки были еще прекраснее, и на мгновение я даже забыл, что я слепой. Это длилось всего секунду и потом я снова стал смотреть на нее, словно через запотевшее стекло. Я уставился куда-то в пустоту и не видел ее глаз.

— Не смей вмешиваться в мою жизнь! Я не потерплю, чтобы из-за какого-то сопливого мальчишки меня так унижали! — сказала она и хлопнула дверью.

— Это она из-за Чапмана, — сказала Юдит.

— Ничего страшного. Наденешь на меня пижаму?

— Сколько ты будешь слепым?

— Пока не знаю.

— Почему ты не стал, например, глухим? Так она быстрее заметит.

— Не уверен. Мы ведь тогда не сможем разговаривать.

— В школе ты не сможешь быть слепым.

— Я не пойду. Утром я натру себе нос марганцовкой, как будто из него идет кровь.

— Можно я останусь дома? Мне же нужно заниматься.

— Лучше уходи. Я не люблю Вивальди.

— Жалко. Вивальди прекрасен, — сказала она. — Если ты слепой, ты не можешь читать. На самом деле ты ничего не можешь делать. Если бы ты был глухой, ты бы смог читать и не слышал бы, как я занимаюсь.

— Тогда мне промоют уши. Или проколют, как Лаци Эрвешу перед Рождеством.

— Она так и так отведет тебя к врачу.

— Но мне только посветят и потом закапают глазные капли.

— Откуда ты знаешь?

— Элемер рассказывал, как он ходил к врачу. Они с помощью каких-то капель расширяют зрачки, и целый день ты все видишь расплывчато, как будто у тебя слезы на глазах.

— Врач будет знать, что ты видишь.

— Откуда?

— Ты будешь мигать, когда тебе посветят. Настоящие слепые никогда не мигают.

— Спорим, я не буду мигать. Сыграем в гляделки.

— На что спорим?

— Если я не буду мигать, целую неделю ты будешь младшей.

— На это я не спорю. Мы уже решили.

— Хорошо, тогда ты принесешь мне патрон с кровью из маминой гримерки. Марганцовка щиплет нос.

— Ладно. А если я выиграю?

— На следующей неделе я напишу за тебя домашнее задание по венгерскому языку.

— По грамматике тоже, — сказала она.

— Ладно, — сказал я.

И Юдит на следующий день стащила для меня из театра целую коробку патронов с кровью, потому что я смотрел на нее, как настоящий слепой. Я не мигнул, даже когда она помахала нотами перед моим лицом.

— Ты выиграл, — сказала она и надела на меня пижаму, но мама заметила, что я слепой, только через два дня.

— Нам нужно пойти к врачу. Это ужасно, у тебя слишком часто идет кровь из носа. Ты постоянно пропускаешь уроки, — сказала она.

— Я наверстаю, — сказал я и собирался зачерпнуть себе чайной ложкой яйцо всмятку, но промахнулся.

— Что с тобой? — спросила она.

— Ничего, сейчас получится — сказал я и снова промахнулся, глядя куда-то в пустоту мимо ее синих глаз.

Она раздраженно подняла яйцо, вытерла скорлупу, и затем снова поставила передо мной, но моя рука не нащупала солонку. Я осторожно шарил по столу, чтобы не перевернуть чашку с чаем, наконец, я дотянулся до яйца, мама все больше злилась, она не допускала мысли, что я ослеп.

— На, вытри руку, — сказала Юдит и принесла фартук, я потянулся за ним куда-то не туда и подождал, пока она вложит его мне в руку.

— Что все это значит? — спросила мама.

— Он третий день не видит, — сказала Юдит.

— Что значит, не видит? Почему не видит?

— Потому что он ослеп. Когда здесь появляется Чапман, брат часами смотрит на лампочку накаливания.

— Господи! — вскрикнула мама, бросилась ко мне и обхватила мою голову ладонями, но я продолжал смотреть куда-то в пустоту мимо ее синих глаз.

— Кровь из носу у него идет от марганцовки, — сказала Юдит. — Потому что он боится на ощупь идти в школу.

— Господи боже мой, одевайся сейчас же, — сказала мама.

— Он не может. Третий день я его одеваю, — сказала Юдит.

— Почему вы не сказали? Почему все это время молчали? — спрашивала она, и первый раз в жизни я увидел, как она плачет, но я был слепым. Я позволил ей стащить с меня пижаму, надеть на меня первое, что подвернулось ей под руку, и натянуть ботинки на мои босые ноги.

— Мы не хотели мешать тебе перед репетицией, — холодно сказала Юдит, продолжая есть яичницу. — Кстати, ты не надела на него носки, — сказала она, наслаждаясь маминым отчаянием.

— Так принеси! — заорала мама.

— Все грязные, — соврала Юдит.

— Тогда принеси грязные, — сказала она тихо, потом вызвала такси и на руках донесла меня до машины.

— На Пала Хайма, — сказала она шоферу, и голос у нее был совершенно чужой. А я уже на проспекте Уллои понял, что буду мигать, глядя на лампу у врача. Я даже не смог смотреть в пустоту мимо маминых синих глаз. Когда она снова обхватила мою голову ладонями, мой взгляд утонул в ее ослепительных ирисах, и лицо стало совсем мокрым от слез, лучше бы я продержался хотя бы до больницы, но я прозрел. Я видел, как у нее вытягивается лицо и как оно каменеет, словно у памятника.

— Разворачивайтесь, — приказала она шоферу, тем же голосом она разговаривала с таксистом десять лет спустя, когда отвозила на Керепеши бутафорский гроб. Мы молча доехали до дома, она сухо сказала, не вздумай еще раз меня шантажировать, и ушла, не попрощавшись.

Трое железнодорожников ругали советские власти, которые выводили из страны свои войска. Из-за войсковой передислокации встали венгерские грузоперевозки, по ночам секретные составы со свистом мчатся через всю страну и увозят с собой что только можно. Должен же быть предел этому бардаку. После того как последний вагон покинет Захонь, мы окажемся в глубокой заднице. В ящиках с боеприпасами только для прикрытия лежат в ряд ручные гранаты, под ними паркет, выломанный в казармах. У Токоша они вынули окна. Слой окон, слой шерстяных одеял, чтобы не побились стекла, они вывинтили даже краны и душевые решетки. Тарелочные мины набиты аспирином, ружейные стволы шариковыми ручками и стержнями, а топливные баки в ракетах земля-земля вроде как уже набивают сегедской паприкой. Эти советские вывозят даже шоколад и пара-

дскую минеральную воду. Если бы они могли, они бы вывезли всю венгерскую пищевую промышленность. А вот дерьмо, да, дерьмо остается здесь. Они потихоньку спустили дизельное топливо в Залу, чтобы было место для кускового сахара. Цистерны заполнены дорогущим кусковым сахаром, а рыба по ходу выпрыгивает на берег, чтобы не задохнуться от нефти. В окрестностях Печа даже у шестилетних детей есть противогазы, они ходят в них в детский сад, как инопланетяне, и гиблое дело отпускать ребенка в лес, потому что за кустами шиповника кучами лежат детонаторы. Одна учительница, плача, рассказывала корреспонденту, что попросила ластик у первоклассника, а у пацана в пенале одни автоматные патроны. Боевые патроны преспокойно лежали в ряд, как простые карандаши. И тогда она проверила у всех ранцы и нашла боеприпасов больше, чем книг и тетрадей. За тридцать патронов дают ручную гранату, такой курс, говорят первоклассники и еще жалуются, что им перепадают остатки, потому что четвероклассники нашли яму с оружием, и у них даже есть целый автомат. Представляете, говорят они, автоматом гораздо лучше рубить деревья, чем цепной пилой. Папа не меньше двух минут возится с кустом, а Шани Понграц из четвертого Б за полторы минуты выпустил очередь, и дерево вмиг рухнуло. Мы засекали по времени, и не волнуйтесь, мы все отошли.

Надо было им всем сгинуть, мать их за ногу, там в тайге, сказал один рабочий. Они здесь пердят уже сорок лет и даже уйти не могут по-нормальному. Этих сам Бог не научит хорошим манерам. Хуже цыган. Те хотя бы не устраивают танковые парады. Украдут, съедят — только и всего. А после этих через год не восстановишь. Зато по крайней мере был порядок. Ты с дуба рухнул, приятель. Где здесь был порядок? Когда здесь был порядок? Ладно-ладно, я только говорю, что была военная техника. Этого отрицать ты не можешь. Были истребители, и танки, и все остальное, а сейчас почти ничего. Венгерские солдаты за сорок лет даже бегать не научились. Они только ржать будут и пялиться, как албанский осел на вертолет, если припрутся словаки или румыны. Двор без собаки, я вам говорю. Сам знаешь, чем это грозит. Сюда любой может прийти. Так не все ли равно, виски тут пьют или водку? Тебя тоже угостят. Пускай лучше тут бздит тот, к кому мы привыкли. Я точно не привык. А че так? Они не сильно воду мутили. Они с нами вместе не ужинали, за твоей женой не бегали, мы даже не знали, где они живут. Спрятались за табличкой "Не фотографировать" — отличная идея. Думаешь, негры лучше? Пять лет, и твои внуки — метисы, или мулаты, или черт знает кто. Сюда не придут негры. Не придут, понимаешь ты? Точно тебе говорю. Если не придут, тем хуже, потому что

тогда нам п....ц. Тогда послезавтра румыны вывесят свой триколор на парламент, как в восемнадцатом. Я тоже не любил этих сраных русских, жизнь заставила. Они и моего старшего брата застрелили в пятьдесят шестом. Фаустпатронами. Он скрючился, как младенец. Жуткая вещь эти фаустпатроны, если угодят в кабину, сделают из нее брикет. И все же я считаю, если уж они тут были и мы привыкли к их рожам, лучше б они остались.

С тех пор как начался вывод войск, подобные разговоры можно было услышать в продуктовом магазине, и в пивной, и в трамвае, как в годы, когда провозгласили Республику. Тогда все тоже были очень политизированы. Одни хотели нейтралитет и много банков, как в Швейцарии, другие монархию, ведь есть корона и король жив. Он отлично говорит по-венгерски. Нужно аккуратно вынести картины из музея и призвать домой Отто Габсбурга. По крайней мере, он настоящий аристократ, а не бродяга, как остальные, без роду без племени. Речь даже заходила о дотрианонской Венгрии. Сборщик платы за коммунальные услуги считал, что есть неплохие шансы пересмотреть Трианонский договор. Сами французы говорили, что он был, по сути, несправедливым. Он был куплен, словно футбольный матч. Румыны пригнали вагон со шлюхами, и, пока старикашки пили шампанское и проводили новые границы, девицы под столом их возбуждали. Появились документы, господин писатель, все пункты будут пересмотрены.

Были те, кто ни о чем не сожалел, только от жидов защити нас, Господи, иначе дела у нас пойдут прахом. В рамках государственной программы венгерские матери будут закапывать своих детей и через двадцать пять лет израильское правительство переедет в Будапешт, как пить дать. Евреи побросают свои горячие точки в пустыне возле Мертвого моря и откроют кибуцы в Малом Альфельде. Они уже там скрываются, загребают жар нашими руками и потихоньку губят то немногое, что еще осталось от страны святого Иштвана. В школах пока не ввели Закон Божий как обязательный предмет, но уже есть еврейские полчаса по телевизору. И это только то, что на поверхности, что на своей шкуре ощущает венгерский человек. Потому что о нью-йоркских секретных вкладах мы, естественно, никогда не узнаем. Хотя напечатали же на какие-то средства массу предвыборных плакатов с портретом раввина, ну, конечно, а вот на "Протоколы сионских мудрецов" ни филлера.

И само собой, были те, кто ждал, вот-вот придет почтальон с нью-йоркскими секретными деньгами, на которые можно будет поднять страну из руин и финансировать культуру. Ведь должен же быть предел беззаконию, кровавое наследие вре-

мен диктатуры цветет пышным махровым цветом. Хорошо еще, что на улицах не хватают людей, но до этого недалеко. Скоро неонацисты высадят десант на берег Дуная, как нилашисты. Только от них спаси нас, Господи. Разве тебе не достаточно того, что мы выстрадали? Так пускай придет наконец почтальон с секретными деньгами, чтобы можно было сделать из Венгрии маленькую Европу, и никаких больше возмутительных кровопролитий. Ей-богу, стыд и срам.

Другие, напротив, клялись, что ничего не изменилось и не изменится, пока эта земля терпит коммунистов. Они притворяются, делают вид, будто отдали власть. Пустили Западу пыль в глаза, дескать, свобода печати, а на самом деле все до единого влились в ряды демократической партии. Они отлично подстраховались, все деньги прибрали к рукам. Вот вам, например, дом отдыха профсоюзов. Ни один дурак не отдаст без боя эти дома отдыха, если нет отступных. Все это сказки. Смена режима проплачена, как футбольный матч.

И, естественно, были те, кто считал, что диктатура пролетариата, конечно, нуждается в некоторых реформах, но прежде надо расстрелять грязную шайку демократов. О чем, скажите, они думают? Как это, пролетарии всех вилл объединяйтесь? Покажите нам их рожи! А кто поднял эту страну после сорок пятого? Кто создал здесь тяжелую промышленность? Венгерские автобусы ходят даже в монгольской пустыне, венгерские шпалы лежат под африканскими рельсами, из венгерского алюминия делают обшивку для Ту-152, и все равно пролетарии всех вилл объединяйтесь? Ну и куда в таком случае смотрит полиция? Что значит отменили дружинников? Что значит у советских военных нет времени, потому что они собирают чемоданы?

Подобные речи можно было услышать повсюду. О политике рассуждали даже бездомные. Они таскались на демонстрации, брели в хвосте процессии на похоронах, за небольшие суточные раздавали листовки, а вечером собирали большие плакаты, потому что ночью ими можно было неплохо укрыться. Учредители газет и журналов печатали экземпляров больше, чем грамотных людей в стране, чтобы для диаспоры осталось. Пятнадцать миллионов экземпляров разлетались мгновенно, только бы, спаси Господи, печатные станки не встали. За несколько минут ожила кустарная промышленность, производили все, от новых значков до новых уличных вывесок, ослепительно красивые старшеклассницы продавали консервные банки с последним дыханием коммунизма внутри — консервный завод "Глобус" поддержал революцию, выпустив тысячу пустых жестяных банок для печеночного паштета. И у каждой старшеклассницы было в голове, как минимум, три варианта дальнейшего развития событий, и

все девушки были одна другой краше. Наверное, впервые за тысячу лет в стране воцарилась райская идиллия, пускай даже ненадолго. Все рвались к микрофону и никто — к пистолетной кобуре, будто вообще не существовало насильственной смерти, разве что убийство из-за ревности. Даже водомет применяли только однажды, в одном переулке, но скоро выяснилось, что в него налит горячий чай. Демонстранты становились в очередь к водомету, получали двести миллилитров чаю в пластиковый стаканчик и возвращались обратно к парламенту. Ну разве не чудо, господин писатель? Конечно, господин дворник.

— Отстань, — буркнула женщина сонно, но я не отстал, прижавшись к ее спине, я старался залезть к ней между ног, наконец я нащупал ее дряблое влагалище.

— Если не можешь, лучше спи, — сказала она.

— Сейчас, — сказал я.

— Тогда давай быстрей, — сказала она, и я попробовал делать это быстрей. Я зарылся в ее увядшие цветочные груди и уткнулся в ее матку, как щенок.

Точно такая, думал я. Еще два-три сезона, думал я. И такая же дряблая, думал я, и, когда у меня наступила эякуляция, женщина уже астматически храпела. А я был зажат между ее мокрыми коленями и влажной штукатуркой и несколько минут не мог даже пошевелиться. Я напрочь забыл, когда я перебрался из кресел в кровать. У меня болела голова, и водка жгла горло, будто я выпил полстакана жженой соды. Потом я кое-как выбрался и, чиркнув спичкой, нашел свою одежду, а женщина спокойно спала, прижав колени к животу, словно состарившийся младенец. Над ней висела фотография ее матери, которая после смерти вынуждена была смотреть на почтальона, и на меня, и на двадцать пять искалеченных птиц.

В коридоре хлопнула дверь туалета, я не хотел столкнуться с Нитраи, поэтому дождался, пока он прокряхится, вытащил три "Ласточки" и выскользнул из прачечной, словно опытный вор.

Уже светало, легкие грузовики развозили свежие овощи, за Рынком трое мужчин забивали рыбу. Один из них сетью вытаскивал карпов из цистерны и кидал их на поддон, а двое других, в комбинезонах, били рыбам по голове, пока те не прекращали трепыхаться.

— Большинство живо, — сказал мужчина с сетью, затем он слез с цистерны и закурил сигарету. Двое других немного передохнули, опершись на палки, и принялись бросать тушки в ящик.

Я присел на бетонную тумбу и выкурил сигарету. Магазины и забегаловки были закрыты. Было около полшестого,

или даже меньше, вечером я забыл надеть часы. Ребекка летает, думал я и смотрел, как взлетают в воздух рыбы с отрубленными головами.

На соседней улице наконец открылась подвальная забегаловка. Еще десять минут, крикнула женщина, и десять минут я проторчал возле метлы, прислоненной к торцу двери. Когда хозяйка открыла, нас было уже трое. Один мужчина держал на плече газовую трубу, скорее всего, из дома на снос, второй прижимал к себе четыре связки "Вечерних известий". Гастроном открывается в семь, по идее они могли прийти налегке, но Йолика понимала, что за первым фреччем последует еще один, и заранее была настроена благодушно. Раз человек пришел с тяжелой газовой трубой, значит, за фреччем будет еще, как минимум, рюмочка "Уникума". На меня она поначалу смотрела с подозрением, молча поставила передо мной коктейль "Длинный шаг", но по ее взгляду было ясно без слов — в костюме обычно сюда не ходят.

Потом она смирилась с костюмом, и я пятнадцать лет ходил в "Балканскую жемчужину". У меня не было персонального столика, личной кружки или чего-то в этом духе, я молча выпивал фречч, или просто приводил себя в порядок в туалетной комнате. Иногда я перекидывался парой слов с Йоликой, за эти годы она привыкла ко мне и тем не менее старалась держать дистанцию. И я точно знал, даже если я надену спортивный костюм и захвачу с собой пару связок с газетами, все равно в наших отношениях немногое изменится.

— У вас шевелюра, как у этих пыльным мешком трехнутых графов в исторических фильмах, которые до утра играли в русскую рулетку, — сказала она как-то раз, а я радовался, что, по крайней мере, она сказала, что думает, и не держит это в себе.

Однажды она вместе с фреччем принесла газету и бросила на стол.

— Это вы? — спросила она и показала на фотографию, которую поместили рядом с интервью.

— Да, — сказал я.

— И о чем вы пишете?

— Обо всем. Так просто не расскажешь.

— Хотя бы попробуйте, — сказала она нервно.

— Я разговариваю с людьми. И записываю их истории, — сказал я, потому что это мне казалось самым простым.

— Обо мне вы тоже писали? — спросила она. Указательный палец она держала на моей фотографии, словно собиралась раздавить жука на крышке стола, еще одно неверное слово, и хитиновый панцирь хрустнет.

– Нет, о вас я не писал, Йолика, – сказал я.

– Тогда ладно, – сказала она, – сегодня фречч бесплатно.

Но этот разговор произошел много лет спустя, а в то утро и речи не было ни о новеллах, ни об интервью, ни о расплывчатых фотографиях. В то утро я хотел только, чтобы меня перестало, наконец, тошнить, потому что я все яснее вспоминал, что случилось этой ночью, и как я, словно ползучий вьюнок, взобрался на эту несчастную женщину. Заполз в нее, точно голый слизень в трещину к загнивающему фруктовому дереву. Как почтальон, как остальные постоянные клиенты, чтобы оставить в ней свой липкий след. Хотя я не хотел. Я правда не хотел, просто спать под двухспальным шерстяным одеялом приятнее, чем в кресле, даже если запах аммиака гасит половое влечение.

– Где здесь туалет? – спросил я.

– Напротив бомбоубежища, – сказала она и сняла ключ с гвоздика за кружками.

– Один форинт, – добавила она, – и будь добр, сумку возьми с собой. Не хочу неприятностей. – Я взял сумку и побрел, протискиваясь между пустыми ящиками и алюминиевыми бочками, до конца коридора, где начиналось бомбоубежище.

Дело в том, что префектура согласилась выдать лицензию при одном-единственном условии: восемьдесят квадратных метров – "Балканская жемчужина", восемьдесят квадратных метров – бомбоубежище, где в случае опасности сможет укрыться население. И напрасно Йолика говорила заведующему отделом: взгляните на этот подвал, а потом посмотрите научно-популярный фильм о ракетах "земля–земля", обитатели этого дома скорее предпочтут жить в огромном мусорном баке. На что завотделом фыркнул, что он не особенно расстроится, если половина района переселится в мусорные баки, в конце концов, мусору там и место, но ничего не попишешь, таков закон. И я потянулась было к мусорной корзине, чтобы надеть ее ему на голову, как ночной горшок. Чтоб он подавился выброшенными прошениями о матпомощи, заявками на квартиры и остатками сэндвича. Но потом вспомнила, что мне не хватает одной его подписи. И я посмеялась его удачной шутке и сказала, простите, уважаемый заведующий отделом, я не хотела вас поучать, только хорошо бы еще хотя бы десять-пятнадцать квадратных метров под бочки. И когда через полтора года у меня появилась эта лицензия, оформленная по всем правилам, я уже и думать не могла, какие обои я хотела, какие скатерти, какой буфет. Такого гада я в жизни не встречала. Сюда небольшой пасхальный окорок, сюда – югославское крем-мыло, и вообще, чтобы на твоей лицензии поставили печать, надо сперва подтереть ей собственную

задницу. Много раз приходилось давать на лапу даже вахтеру, чтобы просто попасть в приемную. Вы только представьте, за полтора года мне встретился всего один порядочный чиновник — когда мне нужно было зарегистрировать название и в заявлении обосновать, почему "Мангалийская жемчужина", именно так было изначально, не "Балканская жемчужина", а "Мангалийская". Короче, мне надо было объяснить бюрократам, почему вдруг не "Подвал Йоли", или не "Винный погреб Йоли". А я была круглая дура и честно написала, что в молодости я любила румына, которого звали Перла Раду, а "перла" значит жемчужина.

— Приходите вечером, обещайте, что придете, потому что я хочу показать вам что-то очень красивое, — объяснял он наполовину по-русски, наполовину по-румынски, а я сказала, отстаньте, вон тот здоровенный мужчина мой отец, что, конечно, было неправдой. Отец целыми днями сидел в гостинице, потому что он не выносил румын и жару. А мама, наоборот, хотела в отпуск на море, в венгерском государственном турагентстве ей сказали, что лучше в Румынию, чем в Болгарию. Если проверять мясо на запах и мыть овощи, все будет отлично. Но я отвлеклась. Наполовину по-русски, наполовину по-румынски я ответила парню, я не вчера родилась и отлично знаю, что он хочет мне показать, — но я не хотела его отпугнуть, потому что он был красивым, словно киноактер, и даже красивее. Ночью я улизнула из гостиницы и глазам своим не поверила: мы сидели на берегу и смотрели, как светится море. Можно было читать при свете волн. По поверхности воды плавала какая-то тина или водоросли, которые сюда каждый июль приносит течением, и пена сияла, словно светлячки. Прежде я была совершенно уверена, что люди плачут только от боли или от грусти. Даже у моего парня были слезы на глазах, хотя он эту картину много раз видел и наверняка привык. Потом он встал и вошел в море, словно оно принадлежало ему одному, и вдруг поплыл, и зеленоватый лунный свет заструился по его спине. Сверкнули позвоночник и лопатки. Те, кто испытал это счастье, — видели Бога. Я встала и пошла к нему. Ему не пришлось звать меня, по плеску моих шагов он понял, что я иду к нему. Я напрочь позабыла про страх, до этого я ведь никогда не была с парнем. Прошлое осталось позади, мы были одни во всем мире, луна скрепила наш союз, бледно-зеленый свет стал моим свадебным платьем. Сверкающее море служило мне подвенечной фатой. Как тебя зовут? — спросила я, когда море вокруг наших бедер окрасилось в пурпур. Перла, сказал он. Что это значит? — спросила я, но он не смог объяснить. Подожди, сказал он и высвободился из моих объятий, затем он нырнул, и я была готова разрыдаться, уже не от восхищения, а от отчаяния — я боялась, что он не вернется, останется в

глубине морской. Когда он вынырнул, я влепила ему звонкую пощечину, но он только рассмеялся. Затем он разжал зубами ракушку. Это перла, сказал он и поцеловал меня, и я почувствовала во рту жемчужину. Это она висит у меня на цепочке.

Если хотите, можете написать об этом, потому что это красиво.

Вот так появилась "Балканская жемчужина". Той же ночью я сама получила страшную пощечину от родителей, через полгода по телевизору показывали товарищеский матч, и я, не скрывая, болела за румын. Поверьте мне, если вас целовали с жемчужиной во рту, вам сам черт не страшен. Мой муж, например, был венгром до мозга костей, однако на четвертом месяце беременности он колотил меня как сидорову козу. Пошли осложнения с плодом, в итоге мне вырезали матку, а он получил год условно и затем благополучно выставил меня из квартиры в обнимку с двумя чемоданами и кофеваркой Унипресс, ну да прошлого не вернешь. Словом, я честно написала, что у меня был любовник по имени Перла, но мужчина, который принимал у меня заявление, покачал головой и сказал, не пойдет. Почему? — спросила я. Думаете, лучше было назвать в честь моего бывшего мужа, по милости которого мою матку выбросили на помойку во дворе больницы Яноша? На что он сказал, это другое, вы официально зарегистрировали отношения, если вы укажете в заявлении, что имели связь вне брака, ваше ходатайство наверняка отклонят в отделе. Хотя как частное лицо он понимает, ведь тоже бывал на море. В общем-то, почему бы не назвать романтичный винный погребок "Мангалийская жемчужина"? Поэтому он предлагает: давайте придумаем другое объяснение, естественно вместе, и естественно такое, которое бы не вызывало формальных возражений, но при этом соответствовало реальным фактам. К примеру, напишем, что данным названием мы хотим способствовать поддержанию венгерско-румынской дружбы? Укажем, что этот винный погребок призван служить той же цели, что и набережная Петера Грозы, или гостиница "Бухарест"? Как вы считаете, уважаемая Йолан? — спросил он. Делайте как знаете, сказала я. Значит, я могу написать? — спросил он и заправил чистый лист в пишущую машинку. Говорю вам, я видела около полсотни чиновников, и он единственный отнесся ко мне по-человечески, но мы немногого добились, "Мангалийскую" в итоге пришлось заменить на "Балканскую", якобы так понятнее.

Сначала я нарисовал голову со сверкающими рогами, потом туловище, и под конец повесил ему на шею две скрижали, хотя они больше походили на двустворчатое окно, открывающееся прямо из его груди. Затем я закрасил фон в черный цвет тушью

"Ворон", одежду покрасил в красный маминым лаком для ногтей, нимб получился неоново-желтым, чтобы свет был ярче, словом, он был почти готов, только скрижали оставались пустыми, я сомневался, колебался, наконец выдохнул и девять раз написал на них карандашом для глаз: НО, НО, НО. Место для *не убий* осталось пустым, и от этого композиция слегка разваливалась, но я отчего-то чувствовал, что так лучше.

— Как это называется? — спросила Юдит

— *Мои каменные скрижали*, — сказал я.

— А почему у него скрипка в руке?

— Не знаю. Так я увидел.

— Красиво, только ты нарисовал Моисею две левых ноги. Хотя... Моисею с двумя левыми ногами больше подходит скрипка и сломанный смычок, — сказала она.

— Я хотел нарисовать кнут, но ручка получилась длинная. И две левые ноги тоже не нарочно. Я попробую исправить.

— Не исправляй, мне так больше нравится. Подаришь мне? — спросила она.

— Конечно, только не показывай никому, — сказал я.

— Не буду показывать, я наклею в скрипичный футляр.

Она достала клей для бумаги, намазала оборотную сторону картинки, и оставила немного подсохнуть.

— Давай попросим прощения, — сказал я, потому что мама уже несколько дней с нами не разговаривала.

— Раскаиваешься? — спросила она, разглаживая Моисея ногтем.

— Нет.

— Я тоже. А тогда зачем?

— Если честно, раскаиваюсь. Хотя здорово было, когда она поверила и повезла меня в больницу на такси. Поехала в халате и чуть не забыла надеть на меня носки.

— Ну и почему ты разревелся? Врач бы тоже поверил.

— Не знаю.

— Ты боялся?

— Нет.

— Ты сожалел?

— Нет.

— Из-за другого не ревут.

— Сказала тоже! Ты же ревешь иногда, когда репетируешь.

— Это другое.

— Не другое. Ревел и точка. Давай попросим прощения.

— Я не буду. Сам проси, если хочешь.

— Вместе было бы лучше.

— Я сказала, нет.

— Завтра у нее спектакль.

— И что? У меня тоже концерт в воскресенье.
— Она не пойдет, если до этого мы не попросим прощения.
— Хорошо, проси ты. Я буду стоять рядом, — сказала она.
— Ладно, — сказал я.

— Мы хотим попросить прощения, я больше никогда не буду слепым, — сказал я маме за завтраком.

— Ага, — бросила она, даже не взглянув на меня, и продолжала намазывать маслом свой долбаный бутерброд. — Вечером приезжайте в театр, я пришлю такси.

— В воскресенье у меня концерт, — сказала Юдит.

— С пяти я на репетиции, — сказала мама.

— Он будет в три, — сказала Юдит.

— Тогда ладно, — сказала мама. — Только попроси, чтобы ты не была последней. Эти концерты еще ужаснее, чем родительские собрания. Как ты выносишь столько бездарностей?

— Ну, Гроссман довольно старательный. Только несобранный, — сказала десятилетняя Юдит. Она говорила это "довольно старательный" точно с такой же интонацией, как мама про бездарностей, хотя слова были другими.

— Они тормозят твое развитие. Я договорюсь, чтобы с осени ты ходила в музыкальное училище, — сказала мама.

— Мне бы не хотелось, — сказала Юдит.

— Потом поговорим. Вечером наденьте что-нибудь приличное, к полседьмого я пришлю такси, — сказала мама, и перед выходом сказала мне, чтобы после спектакля я попросил прощения за тот случай еще и у Чапмана.

По идее я должен ненавидеть театр. Ненавидеть гримерки, пахнущие потом, лабиринты склада декораций, оглушительные аплодисменты после представления и триста пустых стульев в оглушительной тишине через десять минут. Осенний пейзаж, свисающий с колосников и осветительную технику с сенсорным выключателем. Тень мощностью в сто ватт и летний полдень мощностью в тысячу. Суфлерскую будку, похожую на могильную яму, куда двое детей еще поместятся, но толстая уборщица уже никак не влезает. Бутафорские пистолеты, пластмассовые самовары и небьющиеся чайные сервизы. Нейлоновые тоги и солдатские мундиры, пахнущие нафталином. Лакейские ливреи под старину, с биркой швейного завода "Красный богатырь".

Меня должно тошнить от шума в доме актера, от взглядов, еще не погасших после игры, от драматичных жестов и от плоских каламбуров.

— Полцарства за соль, мой милый Йенеке и, будьте добры, раздобудьте для меня немного хрена к этой сосиске. — А Йене-

ке кивает, минуточку, господин актер, сперва я принесу госпоже актрисе линейку для свежей статьи.

— Принесете четвертого, Йенеке. До четвертого я запрещаю вам шествовать мимо меня с линейкой.

— Разумеется, госпожа актриса, до тех пор никаких линеек.

— О где же хрен, вот в чем вопрос, Йенеке. Меня ждут. Через две минуты мой выход. Он снова не успеет перекусить, громкоговоритель "Тесла" уже просит господина Ричарда Третьего на сцену.

Я должен гонять гимназисток, они караулят у артистического входа и, пока просят автограф, потихоньку запихивают любовные записочки со стишками в карман Кориолану и надеются, что если не институт, то, по меньшей мере, место в костюмерной им обеспечено. Они репетируют перед зеркалом, как помогут господину актеру Уйхейи набрасывать на плечи плащ, как дадут ему в руки алюминиевый меч, и не подозревают, что Кориолана даже целое женское общежитие оставило бы равнодушным, потому как он мечтает хотя бы помочь набросить плащ прелестному мальчику, который третий день околачивается перед табличкой "Парковка запрещена" и ждет актрису Веер, у него все еще нет бесценного автографа — либо актриса уезжает в шумной компании, либо, в другой раз, золотой мой, сейчас я убегаю. Потому что автограф актрисы Веер надо заслужить. Кто недостаточно настойчив, кто стоит возле выхода только второй или третий раз, тот не заслуживает бисерного почерка актрисы. Естественно, актриса знает, кого сколько можно держать в напряжении. Про этого мальчика, например, она с первого взгляда сказала, что он будет стоять тут хоть месяц; разве он не прелесть?

А господин актер Уйхейи вынужден целых полчаса раздавать автографы будущим студенткам театральных училищ или костюмершам. Он беседует с ними, хвалит их прически и всегда что-то рассказывает о театре. А потом вдруг он яростно, точно пушечное ядро, пролетает мимо гимназистика, поджидающего мою маму, поскольку даже один многозначительный взгляд несовместим с социалистической моралью. Если правда выяснится, если кое-где узнают кое о чем, это даже хуже, чем диссидентка дочь. Тогда у господина актера появятся шансы, пока не сойдет с ума, пожить в тюрьме на Ваци, или до скончания века в будайской лечебнице для душевнобольных.

— Как возможно, что такой красивый половозрелый мужчина до сих пор не женат, товарищ Уйхейи?

— Я живу только театром, товарищ секретарь парткома.

— Конечно, товарищ Уйхейи. Даже духовенство оказывает посильное сопротивление обету безбрачия. Мужская сущность требует свое. Может, по рюмочке коньяка?

— Спасибо, товарищ секретарь парткома.

— Вы не думаете, что по примеру наших гимназисток вам, наконец, пора завести семью? Или хотя бы недвусмысленный флирт? Легкий роман с молоденькой суфлершей, что-нибудь в этом духе. Поймите, излишнее рвение на работе несколько двусмысленно, товарищ Уйхейи.

— Понимаю, товарищ секретарь парткома.

— Вот и договорились, товарищ Уйхейи. И поверьте, вы можете рассчитывать на нас. Что вы скажете, например, о премии или о кольце на память? Просто чтобы вы не нуждались в этих нескольких сотнях форинтов и без ущерба материальному положению выставили за дверь вашего несовершеннолетнего квартиранта. Молоденький квартирант помешает здоровой половой связи, не правда ли, товарищ Уйхейи?

— Разумеется, товарищ секретарь парткома.

И Кориолан шел домой, как на эшафот. Да, я дерьмо. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! — рыдал он. Но я этого не вынесу. Они уничтожат меня, как же ты не понимаешь? Собирай вещи и возвращайся обратно в Сегед! Это не люди. Они хуже паршивой собаки! Да, я бесхребетный, но я не хочу подыхать! Ну что в этом такого стыдного? Убирайся! Собирай чемодан и исчезни! — кричал Кориолан своему шестнадцатилетнему квартиранту, затем он захлопнул дверь и рыдал у гроба мужской любви, он пропустил три спектакля, поскольку осознал, что бесхребетным актерам нет смысла выходить на сцену. Врачам в больнице Корани пришлось зашивать вены на его запястье, чтобы он снова смог сжимать меч.

— Ну, выйдете вы наконец?! — спросила хозяйка и забарабанила в дверь уборной, меня уже полчаса рвало.

— Минуточку, — сказал я и быстро умылся холодной водой.

— Не вздумайте натворить глупостей, — сказала она. — Мне здесь не нужны ни санитары, ни полицейские.

— Меня тошнило, накануне я выпил лишнего.

— Тогда заказывайте не фречч, а пиво, — сказала она и поставила передо мной кружку с Кёбаньским. — Пейте медленно. Есть у вас время?

— Есть, — сказал я.

Я сидел за столиком и медленно пил. Под лестницей, около вешалок, словно вещи в камере хранения, были сложены связки газет, которых хватило бы на небольшой фургон. Здесь не присваивали шифров, каждый посетитель наизусть знал, где лежит "Народное слово", а где "Телерадионовости". Каждая стопка была крепко обвязана толстой проволокой, поскольку проволока давит сильнее, чем шпагат, посетители знают, что бумага от этого

портится, но хозяйке не говорят: чем тоньше стопка, тем больше места в итоге. Единственное, чего не выносят уважаемые завсегдатаи, это камни между страницами, камни подкладывают, чтобы стопка была тяжелее. Опытный почитатель прессы сразу определит, есть ли в связке камни, для этого ему не нужны весы, человеческая рука определяет массу вернее любого механизма. Опытный почитатель прессы с закрытыми глазами скажет, где связка с "Работницей", а где стопка с роман-газетой "Ракета", пусть не пытаются засовывать между страницами камни или осколки фаянса — честь превыше всего. Я не вчера родился, мой милый Карчи. В этой пачке минимум четыре коробки с кремом для обуви. А ну-ка, развяжем — действительно, между восьмым и девятым сентябрьским номерами спрятались четыре коробки с кремом для обуви, наполненные мокрым песком, форменное надувательство. В очереди ворчат, стыд и срам. Двое посетителей уселись в уголке с прошлогодними кроссворд-газетами — делают вид, что листают в свое удовольствие, а сами проверяют, нет ли какого-нибудь утяжелителя между кроссвордами. Скажем, нескольких осколков черепицы, которые могут попасть в конвейер и тем самым причинить вред социалистической бумажной промышленности. Но в "Балканской жемчужине" подобных инцидентов не случалось, возле лестницы аккуратно, словно ткани в дорогом магазине, были сложены исключительно корректные связки газет. В утренней тишине посетители выпивали фречч или рюмку палинки, звенели секунды, начинался день. Людям казалось, лучше спать и не просыпаться, ты был прав, завотделом из префектуры, наша жизнь — одна большая помойка. Но на очереди второй фречч, Йолика включает приемник, по радио "Кошут" передают новости спорта. Жизнь возрождается, и уже не все равно, кто к твоим услугам — Госпожа Кнези из радиопередачи или черви с Нового общественного кладбища. Я поторопился, товарищ начальник, вы ошиблись, вы глубоко заблуждаетесь. Еще один фречч, и после новостей спорта мир снова кипит страстями: матч Фради опять был куплен. Весь этот розыгрыш кубка такой же блеф, что и пятилетний план. Вот Теречика травмировали и получили преимущество, а транспаранты на Национальный стадион проносить нельзя.

Йолика смирилась, что я уже несколько часов сижу в углу и толком ничего не пью. Иногда она меняла пепельницу и один раз принесла соленые орехи.

— В чем дело, вас выгнала жена? — спросила она.

— У меня нет жены, — сказал я.

— Но выглядите вы ровно так, — сказала она и ушла обратно за стойку.

Затем "Южная хроника" кончилась, и Йолика приглушила радио, потому что началась театральномузыкальнаядесятиминутка, Дёрдь Цигань берет интервью у вдовы Кальмана Юхаса из Кечкемета.

— Сегодня исполнилось сто восемнадцать лет со дня той премьеры в Дрездене, выдающийся романтик... — сказал Дёрдь Цигань.

— Какое сегодня число? — спросила Юдит.

— Седьмое, — сказал я.

— Значит, симфония Данте, — сказала Юдит, хотя музыка еще не началась.

— Почему ты не играешь в рулетку? Ты бы каждый день выигрывала торт, — сказал я.

— Если я захочу торт, то пойду в кондитерскую, — сказала Юдит.

— Отлично знаешь, торт ни при чем, просто ты любишь выигрывать, — сказал я.

— Я и так выиграла. Зачем куда-то ходить, — сказала Юдит.

— Великолепно! Поаплодируем вдове Кальмана Юхаса, — сказал Дёрдь Цигань.

— Видишь, не выиграла, — сказал я.

— Кажется, для тебя очень важно, что говорят по радио.

— Терпеть не могу, когда ты делаешь вид, словно тебе все равно.

— Не делаю вид, а правда все равно. Что в этом непонятного?

— Тогда зачем ты, например, играешь на скрипке? То есть почему не только дома? Если тебе совершенно все равно, зачем ты выходишь на сцену?

— Это совсем другое, — сказала Юдит.

— А вот и не другое, — сказал я.

— Слушай, если я играю, это не театральномузыкальнаядесятиминутка, ясно?

— Я заплачу, — сказал я Йолике, но фречч она не посчитала.

Много лет Керепеши было единственным местом в городе, где я верил в зеленую траву и в шуршание листвы под ногами. Где я чувствовал, что природа берет свое. Скалы будайских гор, укрепленные цементом, вид с горы Яноша плюс свежий воздух, или катание на лодке в Городской роще всегда оставляли меня равнодушным. Природа как луна-парк никогда меня не интересовала. Однажды Кориолан повторно перерезал себе вены, но уже со знанием дела, и, когда я услышал: "мы стоим здесь, потрясенные до глубины души" и "причина его скорбного решения навсегда останется покрыта мраком", я сказал Юдит, пойдем прогуляемся. Мы еле-еле протиснулись сквозь толпу, и,

пока пять ораторов бессовестно врали в лицо одному покойнику, я стремился удалиться как можно дальше от той делянки, где собрались актеры.

— Ты так возмущен, как будто никогда не врал, — сказала Юдит.

— Не говори, что тебе все равно.

— А ты рассчитывал, они будут стоять у могилы и просить прощения за то, что в Венгрии не рекомендуется быть пидором?

— Ну не надо же врать мертвому в лицо.

— Пойми, мы живем до тех пор, пока способны, не краснея, врать в лицо любому. Если не получается, к твоим услугам лезвие безопасной бритвы.

— Бред.

— Слушай, на этом кладбище ты не найдешь ни одного покойника, который бы не прожил жизнь как потенциальный самоубийца. Но потом вмешался рак, или ковровая бомбардировка, или старость. Не хочешь врать до конца? — получай отвращение к самому себе.

— Знаешь что? Отправляйся-ка ты домой и сама перережь себе вены. Если это вопрос времени, возьмешь смычок и перережешь себе запястье.

— Идея.

— Да плевал я на твои идеи! В чем дело, почему ты не идешь? Если финал известен, зачем дожидаться? Будешь врать до конца, или как?

— С меня хватит. Мне остается только бояться, — сказала она и зашагала прочь.

Где-то около могил времен Второй мировой я догнал ее.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего, — ответила она.

— Это неправда.

— Ладно, я скажу. Они думают, я еще способна врать, не краснея, — сказала она.

— Я думал, мне ты не врешь.

— Всем вру. Не спрашивай ни о чем.

— Раньше ты никогда не была циничной. Не говорила столько глупостей.

— Наверное, просто переходный возраст. В этот период человек делает трагедию из всякой хрени, — сказала она.

— Сейчас ты говоришь ровно как наша мама, — сказал я, и тут Юдит повернулась ко мне и собралась влепить пощечину, но ее рука застыла в воздухе.

— Никогда больше не смей сравнивать меня с нашей матерью. Никогда. Понял?

— Понял, — сказал я.

Мы спрятались за какими-то кустами, потому что люди начали расходиться с похорон, а мы не хотели ни с кем встречаться. Они шли маленькими группами и обсуждали выступления ораторов, словно после рядовой премьеры. Господин артист Рети говорил лучше всех. Какой же он обаятельный мужчина, хотя сейчас он скорее Лир, чем Оберон. Ты серьезно? И не говори! Дети? Да у него уже два внука. Ей-богу, это безответственно. Кому-то было жалко товарища актера Уйхейи. Бог мой, как он играл Кориолана! От его игры людей в дрожь бросало. Подумать только, в самом расцвете сил. Ты серьезно? И не говори! Что значит голубой? Это просто сплетни. Он сам распускал слухи, чтобы казаться интереснее. Не надо верить сплетням. Он менял женщин, как перчатки. Ты видел, возле могилы рыдало все женское общежитие. Кто-то считал, что так для него лучше, кто-то полагал, что, если директор еще хоть немного соображает, он возьмет в труппу Бояра из Капошвара.

Наконец, публика разошлась, и мы остались вдвоем на кладбище.

— Не сердись, пожалуйста.

— Я не сержусь, только сейчас я не хочу говорить, — сказала она, взяла меня за руку, и мы молча ходили по тропинкам, заросшим бурьяном.

Смеркалось, памятники под березами медленно тускнели. Примерно сто лет назад был установлен неписаный закон, чтобы вместо распятия могилы богатых семей венчали произведения искусства, воспевающие неизбывность полового влечения. Могилы людей с состоянием от тысячи крон и выше венчала Афродита, от пятисот до тысячи — Иисус на кресте, над остальными возвышался просто голый крест без Иисуса. И почти каждый камень обвит плющом. Лоза извивалась в мраморе, акации и липы рыли подкопы под пантеоны, корни прорастали сквозь трещины в крышках склепов, и это успокаивало намного, намного больше, чем желание господина директора Варкони взять в труппу Бояра из Капошвара. С тех пор минимум раз в неделю я ходил на Керепеши, это было единственное место в городе, где человек чувствовал, что природа еще на что-то способна.

Я заплачу, сказал я хозяйке заведения, потом я ел какое-то рагу в столовой самообслуживания и снова пытался просчитать все варианты, куда можно пойти, но все, от деревенского дома Кремеров до бывших любовниц, казалось мне смешным. Словом, к тому моменту, как рагу из зеленого горошка с фрикадельками подошло к концу, стало абсолютно очевидно, что сейчас я могу пойти только в одном направлении: к Керепеши, чтобы понять, как отныне мы будем жить вместе. Во-пер-

вых, потому что повсюду, от Огненной Земли до Камчатки, я везде буду просить "Музыкутеатрикино", если продавец газет застанет меня врасплох, во-вторых, потому что одно дело уходить из дома с фамильной скрипкой и совсем другое — со сменой чистых трусов.

Возможно, мама права, в случае необходимости человек многое может простить своей письке, но сердечные клапаны гораздо чувствительней клитора, думал я. Когда твое сердце очерствеет, рано или поздно ты перестанешь уважать самого себя, думал я. Ты отлично все понимаешь, каждый раз выходя на сцену и играя чужую роль, ты теряла самоуважение, а в это время человек двести в зрительном зале рыдало от твоей игры, думал я. Только теперь будет круглосуточное представление, думал я. Однажды ты не выдержишь и смоешь грим, думал я. Раз уж ты поставила надгробный памятник собственной живой дочери, что же в тебе тогда осталось человеческого, думал я. Никакие кремы не смогут вернуть тебе человеческий облик, думал я, и уже третий раз обошел кладбище, но ничего не нашел.

Под могильными плитами спали настоящие покойники, те, кто скончался от рака, или от пулевого ранения, или от старости. Земля вам пухом, вечный покой, мертвые слушают, как взмахивают крыльями фазаны, как вздыхают клапаны на каучуковом заводе и как всхлипывают влюбленные гимназистки, а между тем все нарастает какой-то треск, смех и грех. Это кладбищенский сторож разъезжает на велосипеде, у которого проржавела задняя втулка. Господи боже мой, что это еще такое! Здесь вам не бордель! Здесь покоятся сам Эндре Ади, сам Мор Йокаи! Убирайся кувыркаться со своей подружкой на Новое общественное кладбище! — и пока девушка поправляет юбку, парень просит сменить тон — насколько я помню, мы не переходили на "ты". Пожалуйста, успокойтесь, уважаемый сторож, наверняка Мору Йокаи, или самому Ади нисколько не мешает, что мы тут занимаемся любовью. А заниматься любовью — это совсем не то, что кувыркаться, выбирайте слова. Не ровен час, я тоже буду здесь покоиться, где-нибудь между Эндре Ади и каучуковым заводом, уж я позабочусь в завещании, чтобы блюстители морали типа вас не смели приближаться к моей могиле — бессовестный девичий смех стихает вдали. Блюстители морали, какая наглость. И сторож швыряет на землю велосипед, хватает повалившийся крест и, прыгая прямо по могилам красноармейцев, гонится за ними до самого выхода.

Другой сторож в спортивном костюме ехал на велосипеде по тропинке, прямо на меня, на голове у него был берет, а на шее висел военный бинокль, чтобы можно было отслеживать вандалов, и всяких безнравственных личностей, и тех, кто

приходит сюда спать, пока префектура не выделит им какую-нибудь прачечную.

— Возможно, вы забыли, где находитесь, уважаемый товарищ. Здесь не курят, — сказал он.

— Простите, — сказал я и потушил сигарету, хотя видел, что сам он только что курил.

— Я ищу кое-кого, — сказал я.

— Вы не успеете, через десять минут мы закрываем.

— Юдит Веер. Ее похоронили вчера утром, — сказал я.

— Извольте искать завтра. А сейчас будьте добры покинуть кладбище.

— Это моя сестра, — сказал я.

— Одиннадцатый участок, за каучуковым заводом. Только поспешите, в восемь мы выпускаем собак.

Я вернулся, мама, сказал я с порога, но она не ответила. Она все так же лежала на кровати, как и вчера, когда я уходил, только за это время полотенце на ее лице высохло и сморщилось. Со временем вот так же высохло ее тело. Пятнадцать лет небытие опутывало ее своими нитями, словно паук божью коровку, но даже на смертном одре сквозь густую сеть морщин просвечивал изумительной красоты хитиновый панцирь.

Я вернулся, мама, повторил я, затем снял с нее полотенце, думая, что она спит, но она лежала с открытыми глазами, при этом взгляд у нее был отсутствующий. И когда я увидел это опустошенное лицо, то понял, что разговаривать бессмысленно. Я пошел на кухню заварить чай, чуть погодя она пришла, хотя и едва стояла на ногах.

— Где ты был, сынок, — спросила она, как будто первый раз в жизни.

— Не важно, — сказал я.

— Она это заслужила. Пусть сгниет там, в земле, вместе со своими нотами. Пусть сгниет!

— Я устал, — сказал я и встал, чтобы выйти, но она схватила меня за руку.

— Значит, ты поверил? Поверил во всю эту чушь?

— Не важно, — сказал я.

— Нет, важно! Каждая строчка этого письма была грязной ложью!

— Скорей всего, ты права, — сказал я.

— Я никогда никого ни к чему не принуждала!

— Может быть, мама, — сказал я.

— Она была взрослая женщина! Она всегда делала, что хотела! И трахалась, с кем хотела! И я тоже трахаюсь, с кем хочу!

— Я знаю, — сказал я.

— И аборт — это гнусная ложь! Это был просто осмотр! Банальный осмотр, понял?!

— Наверное, ты права, — сказал я.

— Заткнись! Никаких наверное! Всех тринадцатилетних девочек водят к врачу, понял?!

— Понял, мама, — сказал я.

— Ты ничего не понимаешь! Я учила ее жить! Женщина должна уметь жить! Я хотела как лучше!

— Теперь уже совершенно не важно, мама, — сказал я.

Сперва казалось, что она не выходит из квартиры только из-за мигрени, но мигрень растянулась на пятнадцать лет. Две недели назад она впервые за долгие годы увидела небо, я распорядился, чтобы ее вынесли во двор в открытом гробу.

— Вы не хотите закрыть ей глаза? — спросил один из мужчин, несших гроб.

— Нет, — сказал я.

— Но таков обычай.

— Знаю, — сказал я.

— У нее были красивые глаза.

— Да и сейчас — сказал я, а соседи стояли на лестничной клетке и удивлялись, откуда появилась моя мама, они успели забыть о ее существовании.

В первые месяцы соседи еще интересовались, где же милая актриса, давненько ее не было видно, неужели она заболела, и я сообщал им, что мама в добром здравии. Потом они стали спрашивать про счета за газ и за свет, а Карчика успокаивал их, никакого инсульта, актриса Веер только что захлопнула дверь своей комнаты перед его носом, поверьте, она до сих пор очаровательна, как в фильме, который показывали в тот понедельник. Великие актрисы часто удаляются от дел, потом они находят себе новое занятие и снова радуют поклонников, становятся защитницами животных, или что-нибудь в этом духе.

Через несколько недель после похорон Юдит мне приснился сон. Я забрался на вершину горы, было раннее утро. Внизу, в глубине долины, еще клубился туман, но здесь, наверху, белоснежные дома, где жили цыгане, слепили глаза. Дрожа от страха, я крался мимо закрытых дверей и окон, занавешенных черным шелком, уборщица из театра рассказывала мне, что цыгане крадут маленьких детей, привязывают к стойлам и поят лошадиной кровью и затем у детей как по волшебству вырастают крылья. Эти дети уносят мертвых в рай, или в ад, в зависимости от того, как решит вожак табора, поскольку цыгане не позволяют Богу вмешиваться даже в такие важные вопросы.

Была ясная погода, синее небо слепило глаза, но сосны за домами гнулись от ветра. Правда, не слышно было, ни как шумят ветви, ни как поскрипывают стволы, будто, кроме стука моего сердца, других звуков не существовало. Я уже почти миновал спящую деревню, безмолвную, словно кладбище, уже увидел дорогу, ведущую вниз, как вдруг заметил цыганскую девушку, стоявшую во дворе последнего дома. Ее коса доходила до пят, в нее были вплетены золотые монеты, на талии красовался цветастый платок, губы были алые, как осенняя брусника. Свинец заструился у меня по жилам, в горло вместо слюны потекла смола. В руке цыганка держала короткий кнут, рядом с ней на еловом бревне спала сова размером с человека. Девушка посмотрела мне в глаза и что-то сказала на непонятном языке, всего одно слово. Затем она щелкнула кнутом, птица встрепенулась и, тяжело взмахивая крыльями, влетела в окно, занавешенное черным шелком.

На следующее утро от Юдит пришел ответ на собственный некролог. "Уважаемая мама, если Вы захотите меня видеть, пусть Вам не закрывают глаза", — писала она, и с открытки из Каракаса на меня смотрела цыганская девушка с кнутом в руке, с золотыми монетами, вплетенными в косу, с цветастым платком на талии и со жгучей ненавистью во взгляде. Я стоял на лестничной клетке возле почтовых ящиков, несколько минут не мог пошевелиться и только потом сунул открытку в карман. Я точно знал, она ни за что, никогда не должна попасть в руки маме. Ночью я перерыл весь ящик с инструментами, пока не нашел старый ключ, который закрывал один из ящиков моего письменного стола. Я спрятал открытку и стал искать какое-нибудь секретное место для ключа, но даже под паркетиной все равно оставалась опасность, что мама найдет его. В конце концов я продел сквозь него веревочку и повесил на шею. Там он и провисел много лет, словно поржавевший, но не потерявший своей силы амулет, указывающий неблагоприятные дни.

Я отправил Юдит три или четыре письма, но все они возвращались. Измятые, в полиэтиленовых пакетах с промокшими марками, как будто почтальон нечаянно уронил их в океан. И больше я не отправлял писем, просто писал ей обо всем, поскольку никому другому о нашей теперешней жизни я не мог рассказать. Человек не может рассказать, что его мать сошла с ума. Она смотрит телевизор даже после окончания эфира, она закрывает дверь на несколько цепочек, а во время обеда встает со стула, ты думаешь, она хочет взять салфетку, а она неожиданно разбивает телефон колотушкой для мяса и как ни в чем не бывало садится обратно и доедает томатный суп.

Словом, от безысходности я рассказал ей обо всем, что с нами происходит, в свободной форме, без обращений и прочего, Юдит в любом случае никогда бы не прочитала эти строки. Скорее я писал для тех, кто мог зайти в нашу квартиру и все увидеть собственными глазами. Как-то раз я забыл запереть одну такую историю в ящик стола, вечером, когда я вернулся домой, мама смотрела на меня с презрением. Точь-в-точь как в тот раз, когда она застала меня за чтением последнего откровенного письма Юдит.

— Что это за чушь, сынок, спросила она, а я молчал, ничего вразумительного мне в голову не приходило.

Мы молча стояли в прихожей, у нее был смятый лист бумаги в руке, у меня — ничего, кроме стыда и гордости на душе, и я сказал, это новелла, мама, — потому что творчество было единственной сферой, в которую я не позволял ей вмешиваться. Если нужно, я повешу на дверь хоть двадцать цепочек, если нужно, я буду врать соседям — спасибо, у нас все в порядке, — но ни одна сволочь не посмеет совать свой грязный нос в то, что я пишу на листе формата А4.

— У тебя даже приставки безвкусные, — сказала она.

— Возможно, мама. Тогда зачем ты читаешь, — сказал я. С тех пор я оставлял свои записи на столе, и, пока не появилась Эстер, никто, кроме мамы, не читал их.

Первый раз я сказал, что я писатель, одному полицейскому. Случай приключился пустяковый, это не было ни пятнадцатое марта, ни двадцать третье октября[1]. Была обычная проверка документов, какие случаются ранней осенью. Добрый вечер, попрошу ваш паспорт, я отдал ему винно-красную книжечку и сообщил свои данные: год рождения, фамилию матери, постоянное место жительства. Потом он стал искать место работы, и выяснилось, что у меня отсутствует место работы. Значит, тунеядец, сказал он и начал писать под копирку протокол, взять на учет общественно опасного тунеядца, а я никак не мог придумать вразумительную отговорку, как в тот раз, когда мама спросила: чтоэтозачушьсынок? И я сказал полицейскому, я писатель, а он спросил, чем я могу это подтвердить, в конце концов, так может сказать любой дурак. До чего же надоело, один писатель, другой художник, третий артист, а между тем документов-то нет. Вы, словно дети малые, нарушаете закон, а потом еще и недовольны, закон во всем виноват. Нет, так не пой-

1. 15 марта — День венгерской революции 1848 г., 23 октября — национальный праздник в память Венгерского восстания (1956 г.).

дет. Никак не пойдет, уважаемый, ведь что будет, если я сейчас составлю на вас протокол? А я вам скажу, что будет. Тогда вы, уважаемый, с первого числа следующего месяца в качестве подсобного рабочего будете строить поселок Газдагрет[1]. На первый раз прощаю, но, если в ближайшее время вы не начнете исполнять свой гражданский долг и у вас не будет печати "работник интеллектуального труда", в следующий раз я вам не гарантирую человеческое отношение.

"Уважаемая мама, сегодня я прибыла в Рим", — писал я, и в спешке надписывал конверт, чтобы к полтретьему успеть к гостинице "Геллерт", от Юдит уже четвертый месяц не было ни строчки, и наконец нашелся кто-то, кого я мог попросить отправить из-за границы свободной экономической зоны письмо по почте. Ее звали Анетта, она работала в отделе внешней торговли. Анетта считала себя гуманисткой, признавала только серьезные отношения и была убеждена, что, если мужчина охотней говорит о короле Лире, чем о том, где он живет, — это серьезные отношения. "Как жаль, что ты не можешь поехать в Рим вместе со мной, сколько всего интересного мы могли бы повидать". Представь себе, ночью в Колизее, где когда-то убивали гладиаторов и первых христиан, это был бы такой декаданс — и я бы спал на набивных простынях в стиле Хундертвассера[2], рассматривал эстампы Ван Гога, привезенные из Голландии, и ждал удобной минуты, когда смогу выскользнуть из кровати, чтобы она ни о чем не догадалась. Она ведь не виновата была в том, что даже после соития в Колизее я чувствовал бы все ту же отчаянную пустоту, как здесь, в доме четыре на проспекте Белы Бартока, на узорчатых простынях в стиле Хундертвассера. Она не виновата в том, что я охотней говорю о короле Лире, чем о том, что я делал вчера после обеда, исключительно потому, что в моей жизни уже есть серьезные отношения:

— Гдетыбылсынок?

— Я ходил прогуляться, мама.

— В следующий раз хотя бы умойся, прежде чем возвращаться домой. От тебя воняет духами.

— Сожалею, мама.

— Думаю, это какая-нибудь мерзкая потаскушка. Те, кто пользуется такими паршивыми духами, все потаскухи.

— Сейчас ты неправа, мама.

1. Квартал на окраине Будапешта, застроенный в 1980-е годы панельными домами.

2. Фриденсрейх Хундертвассер (1928–2000) — австрийский архитектор и живописец.

— Ты мне не указывай, права я или нет, лучше смывай с себя запах вагины, прежде чем возвращаться домой, понял?

— Понял, мама.

А когда я сказал Анетте, очаровательная идея, в Колизее действительно был бы полный декаданс, я пошел принимать душ и выкурил в ванной сигарету, потому что в комнате это было запрещено. Точнее, в исключительном случае я мог бы закурить и в комнате — если бы мне очень приспичило и если бы я стал разглядывать набивные простыни, но я чувствовал, что тот, кто идет в душ, потому что у него с кем-то серьезные отношения, не имеет права на подобные привилегии. Я приоткрыл вентиляционное окошко над ванной, чтобы выходил сигаретный дым, и, пока мылся, старался сочинить какой-нибудь удобоваримый предлог, почему я, собственно, прошу отправить письмо из Рима в Будапешт Ребекке Веер, если никогда в своей гребаной жизни не был в Риме. Но я обязан был что-то придумать, поскольку Юдит не писала уже четвертый месяц, и, когда я закончил принимать душ, у меня уже созрело решение. Анетта была в восторге, конечно, она отправит в первый же день, так шутить над взрослой женщиной, о боже, как волнительно. Делегация отправляется завтра вечером, перед этим она еще пойдет в сауну "Геллерт", а что, если мы пойдем в сауну вместе? К счастью, потом она вспомнила, что это раздельная сауна, тогда мы договорились, что встретимся завтра в полтретьего, на следующий день я достал "Пеликана" и начал писать: "Уважаемая мама, сегодня я прибыла в Рим...", потом заклеил конверт и отправился пешком через мост Свободы.

У перил моста стояла молодая женщина с распущенными волосами в сером плаще-болонье и смотрела на ледоход. Из-за низко сгустившихся облаков выглядывало солнце, ветер сносил чаек, и женщина в своем развевающемся плаще стояла прямо, словно тополь.

Я уже опаздывал — и все-таки остановился на мгновение. Сначала я смотрел не на ее лицо, а на руки, сжимавшие перила. А потом я забыл и о письме Юдит, и о маме, и об Анетте, настроенной на серьезные отношения, которая, должно быть, вышла из сауны, и ждала меня перед гостиницей "Геллерт", всего за пару сотен метров. Я забыл о театральных декорациях, выдаваемых за наследство Вееров и о цепочках, установленных на двери, о позорной могиле на кладбище Керепеши, которая много лет не хочет зарастать ползучим вьюнком, словно землю посыпали солью. Я посмотрел на эту женщину в сером плаще и забыл об актрисе Иветт Биро, которую, по всей вероятности, мама надоумила, чтобы та помогла мне преодолеть кризис четырнадца-

тилетнего возраста, и которая после премьеры "Чайки" так старательно изображала оргазм в гардеробе снятого по случаю ресторана, словно уже лет десять не видела пенис. Я забыл об актрисе Мезеи, которая страстно хотела, чтобы я помог ей преодолеть кризис сорокавосьмилетнего возраста, но, увы и ах, ничего не вышло. Я забыл о ключе, висящем у меня на шее и о цыганской девушке с кнутом, о связках газет в "Балканской жемчужине" и о двадцати пяти клетках с искалеченными птицами. Я забыл про товарища Феньо, который дал маме пощечину, и про Клеопатру, которая пробежала по центру города в рубиновом бюстгальтере. Я просто смотрел на эту женщину в сером плаще-болонье, она стояла на мартовском ветру, словно молодой тополь, пока река в тридцати метрах под ней несла вдаль ослепительно белые льдины, и не знал, что я буду говорить, потому что я ни разу в жизни не знакомился на улице. Я всегда дожидался, пока со мной заговорят. Словно высокого пошиба шлюхи, я взглядом давал понять, да, путь открыт, я вечно пребывал в режиме ожидания, мог ждать месяцами, а здесь я не знал, что буду говорить. Впрочем, не было во мне ни сочувствия, ни любопытства. Я не знал, почему она стоит там или почему никак не бросится вниз, я просто любовался.

— Пойдем, — сказал я и понял, что жребий брошен.

— Ладно, — сказала она и посмотрела мне в глаза.

В тот день мне пришлось оставить Эстер в кафе за столиком со сдвинутыми в груду коньячными рюмками и с направлением на гистологический анализ.

— Я могу это выбросить? — спросила официантка, а я сказал, не выбрасывайте, и забрал направление, как будто оно касалось меня. Через несколько дней пришел результат, и выяснилось, что опухоль в матке у Эстер Фехер доброкачественная, и после несложной операции матка снова станет пригодной для использования, как у любой нормальной двадцативосьмилетней женщины: в одинаковой степени для родов или для аборта, в зависимости от взаимоотношений между партнерами.

Я ждал в коридоре и нервно теребил две пачки сигарет в кармане плаща, потому что не знал, сколько длится удаление доброкачественной опухоли, уже после первой сигареты мне захотелось ворваться в операционную и закричать, прекратите немедленно. Наконец открылась дверь, и доктор Видак успокоил меня, с милой госпожой все в порядке, но по меньшей мере месяц *это* нельзя, вы ведь понимаете?

— Понимаю, — сказал я и через два дня доставил Эстер из больницы домой, в муниципальную съемную квартиру площадью тридцать два квадратных метра, в девятом районе, и до-

нес ее по лестнице, пропахшей кошачьей мочой, на четвертый этаж, словно жену после родов, хотя в тот раз я был у нее впервые.

— Кудатыидешьсынок?

— За хлебом, мама.

— Хлеб пока есть, а вчера ты опять вернулся в десять.

— У меня были дела, мама.

— Я не могу так жить, ты все время где-то пропадаешь.

— Хорошо, я постараюсь приходить пораньше, мама, — сказал я и ночью переставил дверные цепочки так, чтобы их можно было подцепить снаружи маленьким крючком, когда мама заснула, я сбежал из квартиры, словно воспитанник школы-интерната, поскольку не хотел, чтобы она спрашивала, кудатыидешьсынок. До рассвета я лежал рядом с Эстер на поролоновом матрасе, в гробовой тишине съемной квартиры на улице Нап и был благодарен доктору Видаку за то, что он запретил *это*. Неожиданно, вместо того чтобы анализировать характер короля Лира, я вдруг начал рассказывать о том, о чем все эти десять лет не говорил никому. Я рассказывал, как из придорожных колонок струится вода, а она не приставала с расспросами и не интересовалась подробностями. Она просто прижала меня к себе с такой силой, что ее лобковая кость оставила лиловый след на моем колене.

— Я хочу видеть твою комнату, — сказала Эстер.

— Нельзя, — сказал я. — А впрочем, в ней нет ничего особенного. Письменный стол из какой-то русской пьесы, неплохая кровать, тоже из спектакля, и куча книг, читал от силы одну пятую.

— Ковер?

— Венецианский купец.

— Люстра?

— Какая-то чехословацкая комедия. Название забыл.

— Вид из окна?

— Музейный сад или ставни.

— Я хочу, чтобы ты любил меня.

— Нельзя, ты еще болеешь, — говорил я несколько дней, поскольку ужасно боялся, что после соития я снова буду выжидать удобный момент для бегства, как в гардеробе ресторана "Карпатия", или в Кишпеште, или на набивных простынях в стиле Хундертвассера. Мне хотелось, чтобы запрет доктора Видака действовал всю жизнь. Чтобы я мог лежать здесь одетым каждую ночь до рассвета, на этом матрасе метр шестьдесят на два метра, и просто говорить, говорить, пока она еще слышит мой голос. Я желал одного — чтобы она прижала к себе мою руку и

чтобы я чувствовал сквозь ее халат тепло ее бедер. И когда ее губы задрожали, я понял, что последние несколько фраз она уже не слышала. Я замолчал и просто следил за телом, которое дергалось все отчаяннее. Я чувствовал, как выгибается ее позвоночник, словно у тяжелобольных в реанимации, которых пытаются оживить электрическим током. Как смычок, который вот-вот лопнет. Она задыхалась от страсти, но это пугало, как пугала ее прямая фигура там на ветру, в каких-то тридцати метрах от ослепительного ледохода. Я следил за лицом, обрамленным спутавшимися черными волосами, смотрел, как тяжело и медленно вздымается ее грудь, как томно она обнимает меня. Она хотела прикоснуться рукой к моим коленям, но я схватил ее запястье и соврал: мне пора идти, мама вот-вот проснется. Она сказала, тогда иди, и поцеловала меня в глаза.

— Я хочу видеть твою маму, — сказала она.

— Нельзя, — сказал я. А впрочем, в ней нет ничего особенного. Когда она не Юлия, или не Лаура Ленбах, она точно такая же, как я.

— Знаю.

— Откуда?

— Сегодня я ходила в библиотеку и нашла там несколько фотографий на обложках журналов.

— Тебе нельзя было выходить.

— Я не твоя мама.

— Знаю.

— Тогда поцелуй меня, — сказала она.

— Ты еще болеешь — сказал я.

— Ты врешь, — сказала она и развязала пояс халата, черно-белый шелк скользнул по ее плечам, и собственно тогда я впервые увидел ее обнаженной. Я хотел сбежать, но она сидела на мне, как Божий ангел на руинах Ниневии. Мы неотрывно смотрели друг на друга, и в это время она расстегивала на мне рубашку.

— Нет, — сказал я.

— Молчи, — сказала она, и ее волосы накрыли меня.

— Нет, — повторил я, но ее неумолимый палец, покрытый капельками пота с ее коленей, упал мне на рот, чтобы парализовать меня вкусом моря. Он полз по моему языку все глубже, до глотки и потом обратно, медленно и плавно, и послушные вкусовые сосочки скользили по настороженным капиллярам. Потом я почувствовал, как ее губы изможденно гуляют по эрогенным районам моего тела, и медленно начал забывать. Я забыл обо всем, как тогда на мосту Свободы, но теперь я не помнил уже не только про ящик, закрытый на ключ, и про

поддельные письма Юдит, и про Клеопатру, бегущую домой в фальшивых рубинах, я позабыл, полночь сейчас или полдень.

Теперь я должен пустить корни, думал я, как дуб, думала она, скорее как кедр, они дольше живут, думал я, я тебя люблю, думала она, молчи, думал я, я только подумала, думала она, ты погибнешь, думал я, не важно, думала она, так нельзя жить, думал я, я так хочу, думала она, молчи, думал я, не буду молчать, думала она, я приставлю к тебе сиделку, думал я, в тот день ты увидишь меня в последний раз, думала она, знаю, думал я, я только думал, думал я, когда лежишь рядом со мной, не пытайся даже думать об этом, думала она, не сердись, думал я, не сержусь, думала она, тогда обними меня, думал я, я и так тебя обнимаю, думала она, я хочу остаться здесь, думал я, знаю, думала она, на одном месте, как дуб, думал я, скорее как кедр, они дольше живут, думала она, обхвачу тебя корнями, думал я, так обхвати, думала она, у тебя и так посинели бедра, думал я, не важно, думала она, я люблю тебя, думал я, значит, будем так жить, думала она, так нельзя жить, думал я, только так есть смысл, думала она, я боялся тебя, думал я, теперь уже не из-за чего, думала она, думаю, да, думал я, светает, думала она, зря ты слушаешь меня целый месяц, думал я, тебе надо идти, думала она, ты боишься больше, чем я, думал я, это неправда, думала она, а вот и правда, думал я, тебе правда пора идти, сейчас она проснется, думала она, знаю, думал я, тогда иди, подумала она и поцеловала меня в лоб, потный от страсти.

— Гдетыбылсынок?

— У меня были дела, мама.

— У меня болело сердце.

— Не сердитесь, мама.

— Когда я помру, тебя не будет дома.

— Я вызову врача, мама.

— Не надо никого вызывать, я уже приняла лекарство.

— Ладно, мама, — сказал я, хотя точно знал, что в квартире есть только витамины и валерьянка, даже аспирин кончился. Я побоялся сказать ей: мама, я не верю, что у вас хоть раз в жизни болело сердце. Правда, в десять лет я даже осмелился зайти к ней ночью без стука и потребовал, чтобы они немедленно прекратили репетировать и чтобы этот Чапман убирался отсюда, потому что мы хотим спать, нам с Юдит вставать в семь.

— А ты вообще не артист, а просто сраный журналистик, — сказал я Чапману, и до сих пор не понимаю, за что же я должен был просить прощения, мама, он ведь в самом деле был просто сраный журналистик. И горе критик, который по госзаказу писал банальности в две колонки. “По-человечески произведе-

ние глубокое" — одно это чего стоит, мама. "'Несчастливые' — по-человеческипроизведениеглубокое", я помню эту фразу лучше, чем таблицу умножения, но на банкете после премьеры я, скрепя сердце, подошел к этому насекомому, потому что ты так хотела.

— Я хочу попросить прощения за тот случай, — сказал я.

— А я уже и забыл, — сказал он.

— А я нет, — сказал я.

— Послушай, ты уже большой мальчик, не сегодня-завтра взрослый мужчина. Пора бы тебе знать, что я не обижу твою мамочку.

— Конечно, — сказал я.

— А что, если, какбыэтосказать, хочешь яблочного сока?

— Не хочу, — сказал я.

— В общем, по ночам она кричит не потому, что ее обижают, а потому что она очень радуется. Наверняка, ты тоже кричишь, когда Санта-Клаус приносит что-то интересное.

— Ага, — сказал я.

— Я вижу, ты умный мальчик. В общем, мы остановились на том, что такие красивые тети, как твоя мамочка, чем громче кричат, тем больше радуются.

— Да, на этом мы и остановились.

— Конечно, ты был абсолютно прав, я не артист, но иногда человек не хочет говорить, отчего он радуется, поскольку думает, что другие этого не поймут, и тогда он говорит что-то другое, что не совсем точно отражает... ты в самом деле не хочешь яблочного сока?

— В самом деле, — сказал я. — Впрочем, какие проблемы, мама тоже предпочитает, чтобы мы думали, что она репетирует.

— Она предпочитает?

— Да, так лучше, чем если бы я входил и требовал от вас прекратить трахаться.

— Господибожемой, ну и ребенок! С тобой уже можно говорить, как мужчина с мужчиной.

— Валяй, — сказал я. — Я не хочу, чтобы мама с тобой трахалась.

— Что-то непохоже, чтобы ты просил прощения.

— Сам сказал, что мы будем говорить как мужчина с мужчиной.

— Кажется, ты немножко задрал носик?

— Нет, — сказал я. — Просто я не люблю таких слюнявых пижонов, как ты. Которые приносят марципан, когда приходят трахаться. Я ненавижу марципан.

— Ну ступай к своей мамочке, пока я не влепил тебе пощечинку, — сказал он. А я хотел еще ему сказать, что запросто убил бы его, но, к счастью, тут подошел товарищ режиссер Шарошши чокнуться с товарищем критиком Чапманом, а меня утащила Юдит.

Не сердись мама, что я судил об уважаемом критике по одним его подпольным каракулям. Хамил критику, который в своих последующих творениях высказывался, что актриса Веер ломается, как базарная комедиантка: "о, поручи свои мысли ветру" и "лучше мне жить, ослепнув". Скажи мне, отчего ты стала самой ужасной Иокастой за всю историю театра, мама? Почему у самого Томаша Чапмана застыла в жилах кровь при виде такого откровенного фиглярства? Почему именно эта идеально отрепетированная роль несмываемым пятном легла на твою театральную биографию?

И весь этот балаган с просьбами о прощении был абсолютно безнадежным предприятием, ведь через три дня у нас появился заезжий режиссер Ежи Буковски. Перед сном он пил водку по-английски, но после семяизвержения храпел уже совершенно по-польски и хотел, чтобы мы и впредь были вместе, как одна большая семья, поскольку был настроен идиллически. Добже, мой детка — прижимал он нас к себе в дверях ванной, и от его заношенной майки порядком разило букетом из русской водки, венгерского одеколона и польского пота, он искренне обрадовался, когда Юдит сказала ему, от тебя воняет, Ежи, потому что не понял ни слова. Еще он радовался, какие мы все вчетвером красивые и белокурые. Настоящая фэмили. И мы тоже по-своему радовались. Нам нравился этот всепроникающий, всеразрушающий католицизм, в духе которого он шлепал тебя по попе, сначала нормальный завтрак с ребятками, а потом уже займемся Мрожеком, максимум полчаса. Нравилось его "ну снова твой нудны тшай с плавлены сырик", и пока варились яйца вкрутую, он успевал сбегать в продуктовый за краковскими колбасками и двумя бутылками водки. И мы даже жалели, что через месяц ему надо было возвращаться в Варшаву к жене и детям, которые были все как один белокурые и фотография которых висела у нас на холодильнике, чтобы Ежи после ужина мог смотреть на них, просто так, погрустить для вдохновения, жаль, что они далеко, а как бы мы все любили друг друга. Была бы большая фэмили, вери биг, моя дочь играет на пианино, твоя на скрипке, а мальчики ничем не увлекаются, но это проходит.

Да, мама, мы даже жалели, что Ежи Буковски надо было возвращаться, там его ждали глобальные идеи, всеразрушающий католицизм, всеразрушающий театр и всеразрушающая семья.

Не скажу, что любил его, но он хоть не говорил, твоя мама сегодня ночью была очень рада встретить Санта-Клауса. И это уже кое-что.

— Как ты думаешь, что будет, если я появлюсь у вас? — спросила Эстер.

— Не знаю, — сказал я. — Последний посторонний человек заходил в квартиру больше десяти лет назад. Она согласна общаться только с налоговым инспектором.

— И никто никогда не звонил в дверь?

— Ну как же. Минимум трое. Их не остановило предупреждение, что к актрисе Ребекке Веер не рекомендуется заходить ни под каким предлогом. Дерьмово, когда у человека так много любовников и знакомых.

— Не употребляй плохие слова.

— Правда, дерьмово. Могу еще крепче. Словом, поначалу оставалось только трое неосведомленных, но мама с точностью хирурга знала, кому что надо сказать еще в дверях, чтобы у них на всю оставшуюся жизнь пропало желание наносить ей визиты. Когда пришла первая посетительница, мама похвалила ее мужа, когда пожаловал второй гость, она передала привет его любовнице, когда вошла третья знакомая из прошлой жизни, достаточно было обругать ее парикмахера. На самом деле, человек не такое уж сложное животное. Но у него, в отличие от животных, прекрасно работает воображение. Участковый врач добрался до ее комнаты только потому, что мама решила — его вызвал я. Она думала, я собираюсь упечь ее в дурдом. А он пришел только потому, что актриса Веер несколько месяцев назад забыла подписать какие-то бумаги.

— И?

— Ничего. Мама несказанно обрадовалась неожиданному визиту и пожаловалась, что у нее болит поясница. Она даже показала, где, за что господин доктор был ей очень благодарен. Меня отправили в продуктовый за пирожными и бутылкой розового. Она тем временем попросила прощения за беспорядок, такая уж у артистов жизнь, сплошная суета, похвалила твидовый пиджак господина доктора и оставила автограф на бланке рецепта.

— Думаю, врач, в свою очередь, выписал ей крем для спортсменов "Рихтофит".

— Выписал. Затем мама заперла меня в туалете, натянула резиновые перчатки и с помощью шнура от утюга пыталась провести ток в ручку входной двери, чтобы в дальнейшем все, кто помогает мне отправить ее в больницу Липотмезе, подыхали прямо на лестнице. К счастью, она повернула тумблер на нуль, и всего-навсего выбило пробки.

— Ужас какой.

— Привыкаешь, — сказал я. — Слава богу, когда она включает свет, всегда надевает резиновые перчатки. Ей повсюду мерещится опасность. Кстати, если бы телевизор и фен работали от пульта дистанционного управления, возможно, я бы до сих пор сидел в туалете.

— Ты сумасшедший. Как можно над этим смеяться? — спросила она, смеясь.

— Можно, если я знаю, что Эстер Фехер сейчас обнимет меня, — сказал я, и она обняла меня, и ее язык несколько минут боролся с моим в темноте ротовой полости, но потом я отдал победу ей. Я позволил ей завладеть областью от губ до горла, потому что за это время я нашел кнопку на ее летнем платье. Ты в самом деле сумасшедший, так нельзя, сказала она, но я уже чувствовал, как набухают ее соски, как каменеет клитор, словно сказочные кристаллы, внизу, в глубине шахты, они мягче морской губки, но как только их озарит свет, они становятся твердыми, как розовый кварц. Я уже чувствовал, как ее пальцы заползают между пуговицами на штанах, я слышал биение ее сердца. От ударов молота в сердечных клапанах эхом отозвался весь Восточно-Будапештский-промышленно-спальный район, для которого, по доброму Божьему велению, было сделано исключение и куда с самого утра не ступала нога человека. Еще! — прохрипела она в блиндаже углового столика в комнате размером с сарай, и, пока одна моя рука забиралась в гладкую глубину лабиринта наслаждения, другая зажимала ей рот, потому что я знал, что на ее крики сбежится весь обслуживающий персонал. Откуда ни возьмись появятся официанты и прибегут посудомойки, но возврата уже не будет. Я знал, что сейчас даже целый полицейский батальон не способен меня остановить. Еще одно движение, и от зависти позеленеют все нефтяные скважины Кувейта и гейзеры Исландии. И тотчас ожили искусственные цветы, прикрученные проволокой на трубу радиатора, пошли волнами линолеум с рисунком под мрамор и плафон в стиле кубофутуризма, погасли неоновые лампы, и заволновались, ослепляя глаза, нейлоновые шторы, словно кто-то с помощью шнура от утюга пропустил ток в ресторан "Розмарин", ожидающий закрытия. Потом задрожали стены и на их фоне затрепетал весь соцреализм с двумя пивными кружками и полными пепельницами, потом Эстер упала на стол, и я хотел было упасть на нее, но вдалеке в полумраке замаячила слишком антропоморфная фигура Бога, который спросил, будете еще что-то заказывать, а я сказал, не знаю, то есть конечно, принесите еще две того же самого.

— Больше, — прошептала Эстер, все еще закрывая лицо рукой, поскольку боялась, что ее глаза вот-вот все выдадут. Боя-

лась, что сейчас ее опустошенный взгляд вмещает в себя целый параграф о непристойном поведении, и я чувствовал, что параллельно второй рукой она пытается быстро навести порядок под столом.

— Меня отстранили от работы на полгода, — сказал я, когда мы наконец остались одни.

— Всего-то? Меня на десять лет приговорили к заключению, — сказала она и улыбнулась, и провела своим скользким пальцем по моим губам, прежде чем поцеловать, а я добавил, что тогда меня — пожизненно.

— Почему ты хочешь ее увидеть? — спросил я уже на улице.

— Сама не знаю, — сказала она.

— Она тебя заочно ненавидит.

— Понимаю. Ты говорил ей обо мне?

— Нет. Она знает тебя по запаху.

— Я бы ужасно ненавидела того, кого знаю только по запаху.

— Ты не моя мама, — сказал я.

— Думаю, в глубине души я хочу увидеть не ее. Ну то есть ее я тоже хочу видеть, но по-другому. Из любопытства. С любопытством я как-нибудь справлюсь. Но я боюсь, и ничего не могу с собой поделать.

— Тебе нечего бояться.

— Думаю, я боюсь даже не ее, а ее сына. Боюсь, что ты поможешь ей скрыться и запрешь в комнате, совсем как тюремщик.

— Тогда пойдем, — сказал я и взял ее за руку, хотя знал, что мама с точностью кардиохирурга найдет то единственное сочетание слов, которое навсегда вырежет из сердца Эстер развевающиеся нейлоновые шторы, танцующий плафон и сожженный спермой линолеум в ресторане "Розмарин". У меня тряслись поджилки, но я позволил Эстер купить цветы в подземном переходе. Мы вошли. Мама смерила ее презрительным взглядом, даже не поинтересовалась, как ее зовут.

— Я не потерплю, чтобы ты приводил ко мне своих шлюх. Веди ее в мотель, как остальных, сказала она и захлопнула дверь, и я увидел, как слезы вымывают из глаз Эстер последние остатки света. Это "как остальных" было больнее, чем если бы ей плюнули в лицо или дали пощечину.

Поля, огороженные колючей проволокой, сторожевые башни вдалеке. Темнеют, насколько хватает взгляда, отверстые ямы правильной прямоугольной формы. Перед каждой ямой эмалевая табличка, на которой указано время посадки. Врач в мундире ведет меня по поселку. Он объясняет, что я должен делать. Около одной ямы он останавливается и показывает вниз. За

этой следи отдельно, мы возлагаем на нее большие ожидания, говорит он. Вдалеке какая-то слепая старуха размахивает белой палкой.

– Просыпайся, тебе пора идти, – сказала Эстер.

– Не пойду, – сказал я.

– Надо.

– Мне еще десять лет назад не следовало возвращаться.

– Возможно. Но сейчас тебе надо пойти домой.

– Я ненавижу ее.

– Не надо, предоставь это мне, – сказала она.

– Гдетыбылсынок?

– Не смейте больше этого спрашивать, мама.

– Это ты не смей приводить сюда своих шлюх. Я не нуждаюсь в зрителях.

– Эстер, мама! Эстер Фехер! Выучите это имя! Запомните его лучше, чем свое собственное!

– Это моя квартира! Здесь я называю ее, как хочу!

– Ошибаетесь, мама!

– Шлюха! Шлюха, понял?! Грязная шлюха! Такие хороши на один раз – поразвлечься!

– Я вас очень прошу, замолчите, мама!

– И у нее еще хватает наглости сюда совать нос! Несколько раз потрахались, и она уже тут как тут со своими цветочками!

– Я сказал, замолчите!

– Я знаю, с этой шалавой ты трахаешься уже несколько месяцев! Думаешь, я не знаю!? Ну и тварь! Хочет меня извести!

– Вас попробуй изведи, мама!

– Эта дрянь заморочила тебе голову! Пока эта пиявка не впилась тебе в хрен, ты не осмеливался так со мной разговаривать!

– Я был не прав, мама! С вами только так и надо было разговаривать. Вся венгерская театральная общественность была не права. Товарищ Феньо стал единственным исключением!

– Замолчи!

– И еще Юдит осмелилась, только в письме! Только с другого конца света она осмелилась написать, что...

– Заткнись!

– Какая разница, заткнусь я или нет?! Ничего нового я не скажу, только правду, от которой вы сошли с ума!

– Убирайся в свою комнату!

– Кто десять лет не выходит на улицу, тот псих, мама! Форменный псих, поняли! Умрите уже, вам пора! Сдохните наконец! – заорал я, захлопнул дверь и бросился на кровать, меня всего трясло, я думал, что у меня разорвутся жилы или что я

задохнусь, поскольку говорил вещи, которые человек вменяемый никогда себе не позволит.

Через десять минут она постучала. Она стояла в дверях, причесанная, с накрашенными губами, ее халат был плотно запахнут. Она спросила: гдетыбылсынок, как будто ничего не помнила, и я чуть не разрыдался. У меня были дела, мама, сказал я, я сварила томатный суп, сказала она, потом она налила жидкой бурды, и наши ложки синхронно застучали по тарелкам, мы, как ни в чем не бывало, отломили хлеба и проглотили по кусочку. И я понял, она не притворяется, она правда не помнит ни одного моего слова. И впредь, если случится что-то подобное, она будет напрочь забывать о том, из-за чего мы могли бы кардинально переменить образ жизни.

— Завтра купи мне фруктов, — сказала она.

— Хорошо, я куплю яблок, — сказал я.

— Лучше винограда. Да, я хочу винограда.

Однажды в пятницу Эстер принесла из библиотеки пишущую машинку "Ремингтон", купила пятьсот листов бумаги "Чайка", копирку и пачку домашнего печенья, водрузила все это на стол и рядом поставила два кувшина с холодным чаем.

— Не хочу тебя видеть, — сказала она и развернула два кресла спинками друг к другу.

— Выходит, я читаю для стены, — сказал я.

— Конечно, — сказала она, и я начал читать свои истории белой стене.

По стуку печатной машинки я знал, где меняется порядок слов или выпадает эпитет, понимал, что эпитет был явно лишним, и продолжал читать "Историю мечтающего о зарплате", "Историю грузоперевозки" и "Историю скрипичного вора". Когда наступили сумерки и стены начали темнеть, мне приходилось периодически закрывать глаза, потому что строчки путались и переплетались. Когда я стал читать "Историю детского лечения", казалось, белые нитевидные черви извиваются на черном поле, и мне стало страшно, я понял, что с закрытыми глазами тоже могу читать. Выяснилось, что я лучше помню фразы, написанные несколько лет назад, чем вкус домашнего печенья, которое только что размочил в чае. И тогда я сказал Эстер: давай прекратим, это все бессмысленно. Стыд и срам, никакого полета фантазии, одно воспаленное воображение. Но она не ответила, просто взяла два новых листа, положила между ними шуршащую копирку, я слышал, как она стучит по столу ребром сложенных листков и заправляет их в машинку. Она ждала, и я глотнул еще чаю и продолжил читать "Историю артиста", а когда закончил, она сказала мне, что на сегодня хватит, она устала.

Ей пришлось накрыть запястья мокрыми носовыми платками, от долгого печатания у нее начали неметь подушечки пальцев. Я принес из ванной крем "Нивея" и намазал ей сначала ладони, а потом руки до плеч. Затем она повернулась, подставляя мне лопатки и поясницу.

— Теперь немного ниже. Болит твой любимый позвонок, — сказала она и вытащила подушку из-под живота. — Тебе нужен нормальный стул. Когда выйдет книжка, отнесешь его обратно в больницу.

— Я не хочу книжку, — сказал я.

— Не перечь мне. Лучше намажь везде, — сказала она, и я медленно намазал ей все тело, от шеи до пальцев ног, и потом, возвращаясь обратно, я добрался в окрестности половых губ, покрытых капельками пота, но старался не прикасаться к ним.

— Везде, — сказала она из-под растрепанных волос, но я продолжал согревать ее пульсирующий клитор одним лишь дыханием, потому что мне хотелось понаслаждаться предчувствием страсти.

— Господи, больно, — простонала она, когда я попытался войти в нее, и я собрался отступиться, из дальнего закоулка моего мозга кто-то чуть слышно требовал пощады. — Я хочу. Я так хочу, — прохрипела она, десять ногтей вонзились в мою плоть, и она опрокинула меня в себя, словно вонзая копье в собственное тело, и, когда раненый зверь взревел, я понял, что страдание неизбежно переплетается с наслаждением. Что блаженство — это, в сущности, облагороженная боль.

Как житель Помпеи, от которого осталась одна человекообразная пустота, запечатленная в лаве, лежала она на черном матрасе, прижимая подушку к животу, все еще полуголая после всплеска страсти, но полоса спермы наполовину высохла на ее бедрах, а слезы наполовину высохли на ее лице. В окне дома напротив отражалось солнце и окрашивало нашу комнату в красный, потом, наверное, набежали облака, или в доме напротив открыли окно, потому что внезапно стемнело.

— Ты ведь спал с ней, правда? — спросила она, и я не сразу понял, о чем она. А потом соврал, что нет.

Наверно, тогда ей надо было заорать мне прямо в лицо, не смей врать мне. И я вынужден был бы рассказать, что в тот день, когда Клеопатра в костюме третьеразрядной танцовщицы ревю пробежала по центру города и Антоний стер с нее грязь и пот, пахнущий миндалем, разжалованная актриса Веер не поспешила в ванную. Задержалась всего на несколько секунд, в которые вполне могла бы уместиться современная чехо-

словацкая трагикомедия, но и этого вполне хватило, чтобы после мы несколько недель не могли смотреть друг другу в глаза. На следующий день Клеопатра не вышла к завтраку и не листала на кухне первую в ее жизни роль второго плана, она унесла к себе в комнату кувшин с мятным чаем и зубрила роль за закрытой дверью. Что ни говори, в самые бесчеловечные дни мы вели себя по-человечески, мама. А тогда от наших прикосновений зачерствел хлеб и лужа воды натекла из крана. Потом, наконец, от Юдит пришло письмо, и нам кое-как удалось возобновить общение.

— Если подумать, "Метрополитен" не такое уж плохое место. Но как же ужасно, что ты до сих пор не можешь бегло читать, сынок. Неудивительно, что ты до сих пор не получил аттестата

— Меня срезали на алгебре, мама.

— Ага, но ты же мог подать на апелляцию.

— Я потом подам, мама, — но подавать я не стал. Тому, кто живет в двухместном склепе, юридически зарегистрированном как частная квартира, аттестат зрелости не нужен. Да, мама, было совершенно излишне вдобавок ко всему еще и хоронить дочь. На самом деле, ты уже тогда решила повесить на дверь цепочки. Но прежде ты убрала руку Антония со своего живота и переложила вниз, на нежную вагину печальной Клеопатры.

— Не спрашивай ни о чем. Я тебя очень прошу, не спрашивай ни о чем, — сказала Эстер. Когда Юдит еще жила с нами, я привык не приставать к ней с расспросами. Мы часами гуляли по какой-нибудь пештской набережной до какого-нибудь вида на Буду, и я не спрашивал ни о чем. Ночью я смотрел из окна на машины с западными номерами, а утром не спрашивал ни о чем. Я приносил ей с почты письма без обратного адреса и без марки, и не спрашивал ни о чем. Лишь однажды, перед конкурсом в Белграде, я спросил у нее, почему она плачет. Ночью она репетировала в театре, потому что в том зале акустика была лучше, чем в репетиционных залах музыкального училища. Отгремели бурные аплодисменты, смолкли браво и бис, рабочие сцены вынесли декорации Рима и ушли домой, а мы вдвоем остались. Она на сцене, в полусвете мощностью в шестьдесят ватт. Я в зрительном зале, возле ковчега или скрипичного футляра, на задней стенке которого почти десять лет красовались мои скрижали и Моисей с двумя левыми ногами, сжимающий кнут. На незакрашенном месте, где я так и не написал заповедь *не убий*, бумага продырявилась, потому что Юдит иногда писала на ней "НО" и потом стирала ластиком, через какое-то время истрепанный тетрадный листок не выдержал подобного обращения.

В тринадцать лет ей впервые пришлось стирать ластиком свои воспоминания. Мама отвела ее на плановый осмотр, и после того, как Юдит удалили миндалины, она неделю не ходила в школу. Потом она стерла из памяти две упаковки эуноктина, которыми ее стошнило от страха. Через три года она стерла из памяти голубого балетного танцора. Стерла товарища актера Рети с семьей, ученого-онколога, учителя гимназии и летчика-истребителя вместе с самолетом, взорвавшимся во время учений. Затем снова товарища Рети, но на этот раз не с семьей, а с нашей мамой, с тех пор ей приходилось стирать маму, ровно четыре раза. Уже тогда Юдит и мама перешли на ты, только я не хотел этого замечать, и, когда актриса Веер сказала дочери, что хотела бы видеть ее в трио, бумага сама порвалась. Теперь Юдит стирала свои воспоминания с фанеры, так она стерла портрет, который художница Агнеш Райман начинала писать с Юдит, а заканчивала уже портретом Ребекки. Мама вообще-то терпеть не могла, когда к нам приходили женщины, но тут решила потерпеть. Думаю, больше всего на свете мама любила мелодраматические сцены, и, когда Юдит сделали промывание желудка, мама приехала в больницу к дочери со стихами Сафо — милая мама, безотрадна жизнь моя, — а я, дурак, верил, что эти три дня Юдит провела на музыкальном фестивале в Шопроне, как будто нельзя было догадаться. И только когда я нашел письмо Юдит, написанное на нотном листе, только тогда наконец понял, что означали ее слова, сказанные на кладбище: "никогда больше не смей сравнивать меня с нашей матерью".

До поездки в Белград я думал, что лучше ни о чем не спрашивать. Пусть она не врет хотя бы мне. А потом я сидел в третьем ряду и смотрел, как она стоит на сцене в слабом свете лампочки в шестьдесят ватт, и слушал Паганини си минор, выученный для конкурса. Во время исполнения второй части у нее из глаз ручьями текли слезы.

— Ты наверняка выиграешь, — сказал я.

— Знаю, — сказала она.

— И все-таки боишься, — сказал я.

— Очень, — сказала она.

— Ты ведь вернешься, правда? — спросил я.

— Молчи, — сказала она и стояла на сцене так одиноко, словно Бог забыл сотворить для нее мир.

— Так сложилось. Я очень тебя прошу, не спрашивай ни о чем, — сказала Эстер, когда я спросил у нее, почему она так боится врачей, а у меня в это время в кармане лежало направление на гистологический анализ, которое официантка чуть было не выбросила, и я решил отложить расследование. И уже

почти год у меня был ключ от квартиры, но я знал только, что она работает на полставки в столичной библиотеке Эрвина Сабо, в ее филиале в шестом районе, и что ничего интересного в ее жизни не происходило, пока я не сказал ей на мосту Свободы: пойдем.

Сначала мне казалось, если нужно, я хоть тысячу лет могу оставаться в неведении, но незаметно в мое сердце прокрался страх, и воображение потихоньку запуталось в его цепкой паутине. Человек, который всю свою сознательную жизнь проработал в районной библиотеке, не занимается любовью так отчаянно. Сперва я подумал, что у нее был отец-педофил, затем — что она работала в кафе "Анна", где деклассированные, но вполне фешенебельные фрау по вечерам попивали коньяк вместе с классово-чуждыми, но платежеспособными посетителями. Насилие в детстве или проституция — это первое, что может вообразить мозг, отравленный цианистыми подозрениями. Как будто у женщины нет других причин молчать о своем прошлом. Как-то утром я зашел в квартиру, задернул шторы и стал искать. Я знал, что сейчас она на работе и вряд ли вернется скоро. Мой ящик полон картами, нарисованными на клочках бумаги, и никчемными медальончиками, думал я, и по очереди просматривал все чеки. В моем ящике ворохом пылятся мамины письма, адресованные в нигденеиаходящиеся гостиницы, думал я. И я не вскрываю их, думал я. Письмо Юдит попало мне в руки по чистой случайности, думал я. У меня правда болела голова, я искал лекарство, думал я. Чертов кварелин, думал я. Но я никогда не подглядывал, думал я. И никогда не буду ни к кому приставать с расспросами, думал я, но мои поиски увенчались полным провалом. Я обнаружил несколько кинопрограмм и уже знакомое заключение врача, складывалось ощущение, будто в мире не существует семейных фотоальбомов, только кабинка для фото на паспорта. Было странно, что никто не фотографировал ее в купальнике, что нет недодержанных темных экспозиций, которые непременно лежат в ящике у каждой женщины. Я перетряс все книги и альбомы, но нигде не нашел даже засушенного цветка. Я по очереди проверил полки в шкафу: трусы и полотенца, чулки и ночные рубашки. Я просмотрел бирки на платьях, изучил, где они были сшиты, обыскал карманы трех сумок и одного зимнего пальто, и чем дальше, тем яростнее я вынимал коробки из встроенного шкафа у нее в прихожей. В одной крем для обуви и щетка, в другой лекарства, в ящике инструменты: молоток, кусачки, лампочка накаливания, но нигде ни одного предмета, какой бы намекал на то, что же случилось когда-то с человеком, которому сейчас почти тридцать лет. Как прошла его жизнь до того, как кто-то на мосту сказал ему: "Пойдем".

Где-то хлопнула дверь, я кинулся в комнату и растянулся на матрасе, притворившись, что сплю. Скажу, что мама, да, мама кричала всю ночь, думал я. Пришел сюда рано утром, думал я, дома особенно не поспишь, думал я, потом до меня дошло, что это, скорее всего, сосед, Эстер сегодня до двух, значит, у меня еще целый час. И я стал обыскивать ванную, хотя знал ее лучше, чем ванную у себя дома. Я просмотрел все, начиная от стаканчика для полоскания зубов и кончая коробками с тампонами, одного я так и не понял: что же, в сущности, я ищу и, если я что-то найду, что от этого изменится. Смогу ли я позабыть пальцы, которые цепляются за мои лопатки, угрюмый стук пишущей машинки на рассвете, позабыть о страхе, с которым я сжимал ручку двери операционной и уже был готов ворваться, закричать им, прекратите немедленно, поскольку знал, что ей тоже страшно. Не важно: доброкачественная или злокачественная, только не прикасайтесь к ее матке своими резиновыми перчатками и не выбрасывайте ничего в мусорную корзину. Что бы я ни нашел, я буду помнить эхо, задыхающееся среди скал Ирхаш, суровый взгляд смотрительницы Музея изящных искусств и обуглившуюся яичницу, думал я. Внезапно я вспомнил, что одну сумку просмотрел недостаточно внимательно, я вернулся в прихожую и достал черный ридикюль, я извлекал оттуда смятые бумажные носовые платки и использованные автобусные билеты, как вдруг что-то обожгло мне затылок, и я почувствовал, что сгораю со стыда.

— Я пришла только за этим, — сказала она и взяла со стола рукопись моей книги. — Когда закончишь, закрой дверь.

Я запер дверь и кинул ключ в почтовый ящик. Я думал, у меня не хватит смелости показаться ей на глаза, но больше трех дней я не выдержал. До вечера я слонялся перед библиотекой, вместо цветов я принес в кармане пару перчаток из овечьей кожи. Как ни странно, они не были театральным реквизитом, а вместе со скрипкой, тремя серебряными ложечками, одним позднеромантическим пейзажем и несколькими выцветшими фотографиями достались нам в наследство от древней дотрианонской Венгрии Вееров. Я не знал, кто была эта Э. В., чью монограмму выгравировали на оленьей коже и на бирках, чтобы уж не было никакого урона господскому добру, если вдруг под господским деревом пастух заснет и клейменное животное потеряется. Словом, я не знал, кто была эта Э. В., только знал, что отдам всю дотрианонскую Венгрию за прощение женщины по имени Эстер Веер. Наконец она появилась в дверях, а я, позабыв про эти несчастные перчатки, молча развернулся, чтобы уйти, во мне уже не было ни стыда, ни сочувствия, только хо-

лодное равнодушие. Безжалостное равнодушие, для которого ничего не значили ни обуглившаяся яичница, ни рука, сжимающая ручку двери операционной. Я успел дойти до Кольцевого проспекта, когда она сзади схватила меня за руку и развернула, словно какую-то тряпичную куклу.

– Ты забыл это, – сказала она, вложила мне в руку ключ и бросилась прочь. Я стоял один посреди улицы и смотрел, как она перебегает на красный, чтобы успеть на трамвай.

Впервые после отъезда Юдит я ревел, рыдал на углу проспекта Ленина и проспекта Народной Республики, с элзеттовским ключом в руке, по сравнению с которым ключ "Петер" – жалкая подделка, дурацкий амбарный ключ. Да, я чувствовал, что если есть на земле ад, то он находится в Венгерской Народной Республике с эпицентром на проспекте Ленина, а глиняное месиво в недрах земли, под желтой веткой метро – это сущий рай, блаженное царство милости Господней.

– Ты ничего не найдешь в моих ящиках. Ничего, понял?

– Понял. Но я, в отличие от тебя, все...

– Это твои проблемы. И ты тоже не все рассказываешь. А я ненавижу ложь, поэтому не вынуждай меня лгать. Меня не изнасиловал отец, я не была шлюхой и у меня нет любовников. Думаю, это тебя интересовало.

– Я только хотел узнать...

– Я именно та, кого ты знаешь – с тех пор как ты меня знаешь, – сказала она, натянула овечьи перчатки Э. В. и начала расстегивать на мне рубашку.

На основании каких-то архивных документов она попыталась составить семейное древо Вееров, чтобы к Рождеству я сделал маме приятный сюрприз, хотя нельзя наверняка угадать, чему может обрадоваться безумная. В прошлой жизни одна Юдит знала, что наверняка понравится нашей матери.

– Подари ей свои картины, – сказала она. После Моисея я вошел во вкус и время от времени рисовал картины размером с лист почтовой бумаги, я орудовал всем, что попадалось мне под руку, даже маминой помадой или лаком для ногтей. Иногда я клал на бумагу столько краски, что рисунки казались рельефными. Признаться, я делал это не специально, просто я не умел толком рисовать, и мне приходилось много раз все замазывать, пока не получалось то, что задумал, а потом я фиксировал рисунок лаком для волос. Мне нравились мои картины, хотя подписи были важнее. "Животное, спасающееся бегством с герба", "Молодой резчик впечатлений", "Если есть Бог, зачем тогда я?" и тому подобное.

— Она сама купит себе духи. Подари маме свои картины, — сказала она.

— Я испорчу нам Рождество, — сказал я.

— Ошибаешься. Уверена, ей очень понравится.

— То, что тебе они нравятся, еще ничего не означает.

— Чего ты боишься?

— Я не боюсь. Только она рассердится.

— Я лучше знаю. Ну ради меня, — сказала она и взяла альбом, и мы вдвоем выбирали картины, и остановились на подписи "Уроды и их родители", поскольку Юдит считала, что эта подпись подходит нашей матери больше, чем остальные.

На площади Кальвина под рекламой "Фабулона" стояли елки, утопая в слякоти, казалось, будто лес приехал в город на экскурсию, а продавец ругался отборными словами — что за дела, все покупают в последний момент, а ему еще возвращаться домой в Бичку. Одна старушка сказала, так дешевле. Вчера вы спокойно могли продать метровую за сотню. И тогда, молодой человек, вам бы не пришлось ругаться на чем свет стоит. Вы только представьте, в сорок четвертом мы встречали Рождество в подвале, но даже в те трудные голодные годы у людей не хватало наглости просить цену четырех мешков картошки за одну еловую ветку, наоборот, Фрици Берек-младший сказал, что он потом все подсчитает, если живы останемся, и пожелал нам счастливого Рождества. А продавец сказал, он был таким же идиотом, как и вы, а сейчас извольте шаркать домой — рулет подгорает, и затем приставил к измерительной рейке дерево, которое я выбрал.

— Двести шестьдесят, — сказал он.

— Два с половиной метра, — сказал я.

— Десять за шпагат, — сказал он.

— Тогда не надо шпагата, — сказал я.

Когда я притащил елку домой, из меня отовсюду торчали веточки. Пока Юдит вытаскивала хвою у меня из волос, я попросил ее срочно придумать какой-то другой вариант подарка. Когда мама увидит мои рисунки, у нее случится припадок ярости. Я не хочу, чтобы она уходила из дома в рождественский вечер только потому, что у меня больное воображение. Но Юдит сказала, ты не знаешь нашу маму, а за твое больное воображение я тебе подарю Страдивари. Затем я отыскал топорик и обтесал ствол дерева, чтобы оно вошло в подставку. Когда мы зажгли свечи и мама взяла сверток с подарком, меня чуть не стошнило, словно я съел червивого мяса. Я думал, сейчас не выдержу и опрокину рождественскую елку, а пока они одергивают шторы, я убью эту дрянь, потому что она просто дрянь, или плюну ей прямо в лицо.

— Это что-то потрясающее. Я и не знала, что ты такой способный, сынок. Ну а подписи, они же гениальны. Я договорюсь, чтобы тебя взяли в художественное училище, — сказала она, а я, вместо того чтобы вздохнуть с облегчением, внезапно почувствовал, что сейчас задушу ее вот этими руками. Я по очереди запихну ей в глотку все двадцать четыре рисунка и в придачу карандаши для глаз, цветные мелки и тени для век. Плесну ей в лицо тушью "Ворон" и затолкаю ей в вагину поглубже флакон с лаком для волос. Нож для рыбы дрожал у меня в руке.

— Я рад, что тебе нравится, мама — сказал я и внезапно поперхнулся рыбной косточкой. Меня затошнило, я побежал в ванную, Юдит пошла за мной, била меня по спине и, когда мне удалось выплюнуть косточку, с гордостью посмотрела мне в глаза.

— Ну что, я была права? — сказала она.

Мы отстрадали концерт китайского скрипичного виртуоза. У него взмокли виски, и руками он размахивал, точно дрался в стиле каратэ. Помнится, афиши и дикторы в новостях культуры как один заявляли, что он, словно тайфун, проносится между тридцатым и сороковым градусами широты, и на его выступлениях рыдают люди всех рас — от Пекина до Парижа. В самом деле, все зрители в Центральном зале консерватории покрылись мурашками сверху донизу. Подобное я наблюдал только после концерта органной музыки: женщины, у которых была менопауза, заходились в рыданиях, их сумрачным душам было мало десяти тысяч органных труб. Так и этому китайцу было мало четырех струн, и он схитрил, порвал одну струну, поскольку три у скрипачей — это больше, чем четыре, это уже сделка с дьяволом. Старушки захлопали, ему нужно было сменить смычок, но он стоял и смотрел, какой это вызвало эффект у публики, он ждал аплодисментов, и мне ужасно хотелось встать и выйти, но я, как правило, не встаю ни на концертах, ни на спектаклях. Точнее, только на концертах, поскольку в театре я уже не был тысячу лет, однажды какая-то из моих бывших сказала: ах, это такой драйв, а я сказал: весьма фальшивый драйв, и больше мы с ней не трахались. В общем, мы с Эстер отстрадали концерт этого китайца и очередь в гардероб и, шлепая по декабрьской вечерней слякоти, вышли на проспект Народной Республики, чтобы найти забегаловку с человеческим лицом. И мы уже понимали, что на самом деле мы идем по проспекту Андрашши, но удостовериться в этом еще не осмеливались. В те годы еще никто не выламывал паркет в казармах, никто не наполнял сегедской паприкой тарелочные мины и не

раздавал боевые патроны ученикам начальных школ, а значит, с нами могло случиться все что угодно.

— Юдит уже в десять лет понимала в музыке больше его, — сказал я.

— Знаю, — сказала Эстер.

— Откуда ты знаешь? Ты никогда ее не слышала.

— Она твоя сестра.

— Ты пристрастна.

— Разумеется.

— Все так серьезно? — спросил я.

— Даже слишком.

— Завтра повторим?

— Возможно. Но только если я получу подарок.

— Нет, не получишь. И кстати, луну с небес уже заворачивают. Небо в облаках, чтобы ты не заметила.

— Я не хочу луну с небес.

— Почему?

— Она растает.

— Доверься мне.

— Не надо. Она займет всю комнату, и нам придется переехать в прихожую. Мне нужно, чтобы в прихожей уместилось еще кое-что.

— И не мечтай. В прихожую не уместится ничего.

— Кроме...

— Одним словом.

— Младенец.

Я закурил и долго искал спички, чтобы не пришлось смотреть ей в глаза.

— Вообще-то о подарках не говорят заранее, — сказал я.

— Я хочу от тебя ребенка.

— Ты знаешь, что пока нельзя.

— Все давным-давно в полном порядке.

— Врач говорит, надо подождать.

— Он сказал это почти два года назад.

— Да, но два года это не так много.

— Почему ты не скажешь, что боишься иметь ребенка.

— Потому что это неправда. Я беспокоюсь о тебе. Не хочу, чтобы ты попала в больницу.

— Спрячь спички.

— Ты ничего не боишься, только больниц?

— Не только. К примеру, сейчас я боюсь тебя.

— Не передергивай. Я только сказал, что беспокоюсь. Из-за простого профилактического осмотра ты несколько дней ходишь бледная, как стена.

— У тебя бывают сравнения получше.

— Почему ты такая злая? Из-за того, что я за тебя беспокоюсь?

— Я никогда не была злой. Я только сказала, слава богу, у тебя бывают сравнения получше, чем "бледная, как стена".

— Мы еще никогда так не разговаривали, — сказал я.

— Потому что ты еще никогда не врал мне в глаза.

Мы замолчали.

— Не сердись, — сказала она. — Закажешь мне еще пива?

— Да. Только давай не будем ссориться.

— Я очень хочу ребенка.

— А я нет, — сказал я.

— По крайней мере, сейчас ты говоришь правду. Сложно?

— Сложно.

— Ничего не придется менять. Ну или почти ничего.

— Все изменится.

— Я хочу только ребенка. Я не хочу, чтобы ты переезжал ко мне.

— Знаю, — сказал я.

— Тогда отчего ты дергаешься?

— Я не хочу больше Вееров, — сказал я.

— Глупости. Он будет не только Веером. Ты и сам не чистый Веер, — сказала она, и дым застрял у меня в легких.

— Перестань! Я не хочу больше Вееров, и точка.

— Понимаю. Не ори.

— Не понимаешь! Никогда, ни от кого! Ни чистого Веера, ни грязного! Поняла?

— Да. Поняла, — сказал она тихо.

На следующий день она получила макет луны и даже обрадовалась подарку. Мы отыскали кратеры, названные в честь венгров, место, где приземлился "Аполлон", и район, где находилась база Спокойствие. Лунный шар прокатился по ее животу, и по сдвинутым бедрам, обогнул одежду, валяющуюся на ковре, два бокала и тарелку с пирожными, по дороге сбил мандарин, приземлился на двухсотлетней шахматной доске, которую Эстер подарила мне, и закатился между шуршащих упаковок обратно под елку, украшенную свечами и звездами. Он спустился с небес на землю, прямо как я. Впадина Маре Транкуилитатис наполнилась земным потом. Мы замолчали.

— Мне надо идти, — сказал я.

— Тогда иди, — сказала она и поцеловала меня в глаза, ее лицо было бледным, как стена, хотя иногда у меня бывают сравнения получше. Я пошел домой, шлепая по декабрьской вечерней слякоти. В одних окнах ярко горели подсвечники и сверкали рождественские гирлянды, в других одиноко мерца-

ла свечка и ронял блики телевизор. На улице было тихо, только пьяный цыганский скрипач да старушка, выгуливающая собаку, нарушали комендантский час.

— Гдетыбылсынок?

— Уменябылиделамама.

— В это время все дома со своими семьями. Таков обычай.

— Я знаю, поэтому и спешил домой. — Я украсил елочную ветку, поставленную в вазу, тремя стеклянными шариками и тремя большими конфетами в золотой обертке, такими потрепанными, будто их принес Фрици Берек-младший еще в сорок четвертом.

— Пришло письмо от Юдит, мама. Она передала через одного моего знакомого.

— Раньше она никогда ничего не передавала через знакомых, сынок.

— Так получилось. Они случайно встретились в Ницце с Фрици Береком.

— Кто это, сынок?

— Вы его не знаете, мама, — сказал я. Она вытащила карту мира и фломастер, и пока она искала Ниццу, чтобы пометить ее крестиком, я зажег свечи и принес фамильное древо Вееров, которое нарисовал, основываясь на архивных записях Эстер. Мы рассчитывали, что фамильное дерево станет приятным подарком для безумной, но мамино лицо медленно посерело, и я вдруг понял, что для сумасшедших подлинная реальность — это сущий ад. Я понял, она никогда не простит мне, что мы представляем всего-навсего боковую ветвь, и половина дотрианонской Венгрии принадлежит какому-нибудь шестиюродному племяннику.

— Для тебя даже Рождество не свято? Я не позволю себя обокрасть, прими это к сведению! Я зна́ю, что ты со своей потаскухой хотите меня уничтожить! Сначала натрахаешься, а потом приводишь сюда эту мразь! — закричала она и швырнула в меня рисунок в рамке, словно пригоршню дерьма. И снова я не почувствовал ничего. Я принес веник и совок, чтобы смести туда осколки бокала, разбитого об мой ло́б, а потом пойти спать.

— Не дождетесь, — сказала она.

— Никто не хочет вас обокрасть, мама.

— Шакалы! И не думай, я это так не оставлю!

— Я не думаю, мама.

— Я донесу на тебя!

— Пишите, я отнесу на почту, мама.

— Я не буду ничего писать. Я скажу Кадару. Он все устроит.

— Кадар давно умер, мама.

— Да?! Это мы еще посмотрим, — сказала она и по одной стала выбрасывать из шкафа изъеденные молью тряпки, пока не появился черный шелковый костюм. И она начала одеваться. Небытие уже опутывало ее тело своими сетями, словно паук божью коровку. Но даже сейчас пассажиры снова потребовали бы, чтобы седьмой автобус не обгонял Клеопатру, и матери, выходящие из торгового центра "Пионер", закрывали бы глаза своим детям, и почтенные жены артистов мечтали бы повернуть головы своих мужей к огнеупорному окошечку в крематории, чтобы те потом даже во сне видели, как их курва обугливается в своем шелковом костюме.

— Что вы делаете, мама?

— Тебе на меня насрать, да? Я засажу за подделку документов тебя и твою шалаву, — сказала она, разломала рамку и сунула рисунок себе в карман, чтобы я не уничтожил вещественное доказательство. А когда она накинула на себя каракулевую шубу, у меня в руках задрожал совок, я почувствовал, еще секунда и я задушу ее. Запихну ей в глотку все эти тринадцать лет мучений вместе с фамильным древом Вееров и осколками стекла.

— Не смей! Не смей, ты, сука! — заорал я и, схватив ее за руки, швырнул на кровать. — Не смей, поняла?! — хрипел я, и, пока я сдергивал с нее каракулевую шубу, она хохотала мне в лицо.

На матрасе валялись клочья разорванной луны, словно разбитое яйцо, из которого какое-то дикое животное успело высосать желток. Я оторопело стоял в пустой квартире, и меня вдруг осенило, почему вместо луны с небес она просила у меня младенца, и подумал, что, может быть, еще успею предотвратить неизбежное.

Я по очереди обзвонил больницы и узнал, что она лежит в Кутвелдьи, но, когда я приехал туда, сестра сказала, что из гинекологии ее перевели в неврологическое и посещения только завтра.

— Это моя жена! — заорал я на медсестру прямо в коридоре. — Я тебя урою, если ты меня не пустишь! Я писатель, я тебя по стене размажу, ты, говно вонючее!

Она лежала в четырнадцатой, возле зарешеченного окна, и смотрела на меня, словно сквозь запотевшее стекло, ее руки и ноги были привязаны к кровати.

По маминому опыту я знал, что с помощью коньяка и марочных сигарет можно устроить что угодно, так мне удалось перевести Эстер в отдельную палату. Мне даже разрешили отвязать ремни, но три дня она пролежала неподвижно. Двойня, только и читал я по ее губам, но даже это она говорила не мне, а куда-то в пустоту. Потом успокоительное перестало действовать,

она постепенно приходила в себя, в первый день нового года сняли капельницу, и мы, обнявшись, ходили по комнате.

— Давай сядем, — сказал я, потому что у нее дрожали колени.

— Подожди. Еще разок, — сказала она, хотя ноги не держали ее. Мы сделали еще один заход, пять шагов до двери, пять — до окна, затем я взял ее на руки и положил на кровать.

— Не вздумай меня жалеть, — сказала она.

— Я и не думаю, — сказал я.

Она сковырнула пальцем со стены отстающую краску. Отвалился кусочек, она взяла его в рот, потом выплюнула.

— Я забыла, — сказала она. — Представляешь, забыла.

— Что ты забыла? — спросил я.

— Лекарство. Принять лекарство, — сказала она и наконец расплакалась.

Мы стояли в длинных сермяжных одеждах на берегу Дуная, в какой-то заболоченной местности. Вниз по течению плыла лодка, в ней ребенок лет семи-восьми тоже в сермяжной рубашке, с завязанными глазами. Когда она поравнялась с нами, мальчик снял с глаз черный платок и пристально на нас посмотрел. Ни вопроса, ни упрека не было в его взгляде. Он просто посмотрел на нас, потом снова накрыл глаза платком, и лодка поплыла дальше. Она уже исчезла в дымке, как вдруг я понял, что на веслах никого не было. И река перед нами застыла в неподвижности.

Сколько раз я рассказывал Эстер свои сны. До рассвета она лежала рядом со мной, и, если бы кто-то увидел нас в эти часы, подумал бы — вот она, идиллия, но до идиллии было далеко, как до звезд. Это скорее походило на то, как мужчина рассказывает новой любовнице о своих прежних, чтобы успокоить ее, ведь она хочет знать о нем все, и мужчина тут же попадает в ловушку. Сначала вспомнит пару мелких случаев, потом начинает выдумывать и в какой-то момент замечает, что женщина до крови искусала губы и искромсала окурки в пепельнице. Да, наши ночные разговоры очень напоминали обычные мужские рассказы о бывших. Эстер никогда не расспрашивала меня о прежних любовницах, но она цеплялась к моим снам, и несколько лет я думал, что она ревнует к ним из-за мамы. Потом выяснилось, она с таким упоением слушает про них потому, что сама она уже много лет не помнит ни одного своего сна, от этого она словно лишалась половины жизни.

— Вряд ли я когда-нибудь тебе снилась, — сказала она.

— Я специалист узкого профиля. Меня интересуют исключительно кошмары, — сказал я и не стал рассказывать ей сон про лодку и про мальчика, думаю, ей бы не понравилось.

— Когда был первый? — спросил я.

— Не спрашивай, мы договорились, — сказала она.

— Теперь все по-другому. Я должен знать.

— А вот и не по-другому. Все то же самое, понял? То же самое.

— Ради бога, я с ума сойду.

— Успокойся, ты никогда не сойдешь с ума, — сказала она.

— Лучше бы ты дала мне пощечину, было бы не так больно.

— Я тоже никогда не сойду с ума. Теперь лучше?

— Лучше ударь меня, но не молчи, как могила.

— Твои сравнения с каждым разом все ужаснее, — сказала она. — Уйди, прошу тебя.

— Я никуда не уйду. Прежде ты так со мной не разговаривала.

— Как хочу, так и разговариваю, уйди, ради бога.

Я ушел не попрощавшись, но едва я вышел из подъезда, как увидел, что какой-то мужчина спускает со второго этажа рождественскую елку. Сухие хвоинки, кружась, падали в грязь, когда елка приземлилась, женщина, ожидавшая на тротуаре, еще раз окинула взглядом красные станиоли, не осталось ли где конфет, перерезала маникюрными ножницами шпагат, словно пуповину, и бросила елку между двумя припаркованными машинами.

— Скажи детям, пусть принесут веник, — крикнула она мужчине, высунувшемуся из окна.

— Вот еще, — сказал мужчина.

— Я хочу подмести. Пусть эта Дорак не пеняет мне, что я развела тут свинарник.

— Я сброшу веник из окна, — сказал мужчина.

— Не бросай, упадет на машину, и, когда я вошел в подъезд, по лестнице уже летел ребенок с веником под мышкой и в джинсовой ковбойской шляпе на голове, которую ему наверняка принес младенец Иисус, и я расслышал, как мать сказала ему, на вот, возьми, и, полагаю, вложила ему в руку последнюю конфету с елки.

Эстер лежала на матрасе и рыдала, все ее тело тряслось, точно от электрошока.

— Я никогда больше не буду так уходить, — сказал я и лег рядом с ней. Она забралась ко мне под пальто, но даже там в укромной тишине она оставалась безнадежно одинокой, как те, для кого Бог забыл сотворить мир.

— Великолепно, великолепно! Только чуть экспрессивнее, все-таки это Паганини, — сказал преподаватель Вагвелдьи.

— Партитура Паганини, скрипка моя, — сказала Юдит, на что преподаватель попросил, чтобы свои остроумные комментарии она оставила на потом, для журналистов, тогда Юдит взяла инструмент и положила на кафедру. — Пожалуйста, тогда

играйте, как я, и кривляйтесь, а я послушаю, — сказала она. Все замерли в оцепенении, Юдит повернулась и вышла из зала. Ее не стали выгонять из музыкального училища, поскольку в этом случае она не смогла бы защищать честь страны в Белграде. И в последний месяц Юдит очень редко заглядывала в училище, потому что занималась по двенадцать часов в сутки. Ноты были для нее чем-то вроде пустоты, оставленной человеческим телом в застывшей лаве, пустоты, которую исполнитель должен заполнить собой. Поэтому она исписывала и изрисовывала партитуру разными значками и пометками. Начало — скорый у Зугло[1], мать в агонии (вторая пол.), Греко: кающаяся Магд. — примерно так были исчерканы все ноты за несколько недель до того, как она приступила к репетициям.

— Хватит уже. Ты окочуришься, — сказал я.

— Не сейчас, — сказала она, опустила печенье в стакан с кефиром, положила в рот, затем снова натерла смычок канифолью и начала сначала. Интересно, ей никогда не приходило в голову схитрить, порвать струну и наблюдать потом за произведенным эффектом. Наверное, тем, кто смотрел, как она играет, сперва было скучно глядеть на сцену — исполнительница спокойно стоит, прямая, словно тополь. Но потом зрителям становилось не по себе, им уже хотелось кричать — пусть уж она лучше рухнет. Сломайте ей позвоночник, подрубите ее топором, только пусть не стоит она вот так, сдвинув ноги и закрыв глаза, потому что от этого с ума можно сойти.

Чем яростней мама спрашивала: чтоэтозачушьсынок — и чем сложнее было Эстер находить буквы на пишущей машинке, тем больше я убеждался, что у меня хорошие рассказы, по крайней мере, читая их и пробираясь между строчками моей книги, каждый будет молчать о чем-то своем. Я точно знал, на другое нечего рассчитывать, ведь и я молчу о своем, когда передо мной, скажем, "Борский блокнот"[2], для этого и нужна литература. И все же я переживал из-за моей книги, поскольку литература, с моей точки зрения, — это как пустота, оставшаяся от человеческого тела в Помпее. Каждый волен делать с ней все, что захочет. Он может улечься там голышом, а может залить ее паршивой гипсовой смесью, и протиснуться туда уже будет непросто. А еще, оказывается, нелегко принимать предложения — однажды я получил письмо из издательства, дескать, весной — нет, поскольку изменился бюджет, но осенью — непременно, так как отзывы

1. Название одного из районов Будапешта.
2. Последний цикл стихотворений венгерского поэта Миклоша Радноти, написанный им в концлагере.

рецензентов исключительно положительные, дальнейшей приятной работы желает вам редактор Эва Йордан, и у меня было такое чувство, словно откладывается моя казнь. А Эстер, наоборот, пришла в бешенство, словно речь шла о жизни и смерти, а не о книге, она даже собралась идти в издательство, чтобы спросить, чем они думают, и мне еле удалось отговорить ее.

— Ты судишь предвзято, — сказал я.

— Ошибаешься. Меня бесит, что какой-нибудь их собутыльник проспался и закончил наконец свои писульки, и вот извольте вам, меняется бюджет. Всегда одно и то же.

— Возможно, и собутыльник, но не уверен, что писульки.

— Именно что писульки.

— Да нет же.

— Молчи. Меня бесит, что в этой стране писателей больше, чем грамотных людей.

— Я тоже не знаю, как правильно, *раненный* или *раненый*.

— Не сейчас. Буду тебе очень благодарна, если ты меня обнимешь.

— Насколько благодарна?

— Насколько это возможно, — сказала она. Мы обнялись, и я надел пальто, потому что после Кутвелдьи на большее рассчитывать не приходилось. Помнится, после больницы она хватала ветки на острове Маргит и судорожно обрывала с них почки.

— Я видел картину у старого Розенберга, — сказал я.

— Ага, — сказала она.

— Сегодня пришли деньги от Юдит. Завтра заберу.

— Эта Юдит далеко не дура, — сказала она.

— Что ты сказала?

— Ничего. Просто она все предусмотрела и посылает субсидии за месяц тюремного содержания.

— Если ты ненавидишь маму, это твое право. Юдит оставь.

— Не сердись. Кстати, я нормально отношусь к твоей матери.

— Ты ведь знаешь, что Юдит...

— Конечно. Я сказала не сердись. Какую картину ты видел?

— Не важно. Один пейзаж. Просто понравился.

— Потом покажешь, прежде чем нести домой.

— Я хотел сюда.

— Я отвыкла от них, — сказала она.

— От пейзажей? — спросил я.

— От картин.

— Когда отвыкла?

— Не важно, забудь, — сказала она.

— Конечно, — сказал я и решил, что в детстве ее отодрал какой-нибудь стареющий кобель, высокохудожественный папоч-

ка, который проткнул ее из последних мужских сил и бросил привязанной ремнями к больничной кровати, чтобы они спокойно могли довершить выскабливание матки и шоковую терапию. Когда тебе за шестьдесят, несказанная удача, если появляется малолетка, для которой как откровение даже отрыжка и которая часами готова возиться с твоей дряблой писькой. Только не будем выказывать лишних восторгов, если юная нахалка вздумает отелиться. "Я не переношу вони, золотко мое, даже от скипидара. Мне совершенно ни к чему сраные пеленки, поэтому вот тебе две тысячи форинтов и устрой все. Что, а я там зачем? В конце концов, ты большая девочка. Да я и не успею, зато на выставке в Эрнсте на всех полотнах будешь только ты". Из-за вернисажа он не успевает в неврологическое, но он подавлен, печален, это замечают коллеги и критики, как-никак яркий штрих в великолепной творческой биографии. Но я найду его и убью, думал я. До тех пор буду искать, пока не найду, думал я. Убью, не моргнув глазом, думал я. Если нужно, выцарапаю из земли и раздроблю все кости, думал я. Засыплю его могилу солью. Да, засыплю солью и помочусь сверху.

Собственно, в картине не было ничего особенного, просто голая пашня под снежным небосводом, словно рабочие только что убрали огромную сцену. Ни ворóн, ни тени, ни дрока, ни даже горизонта. Масло, холст, черная рама примерно сорок на шестьдесят. Наверняка творение скромного провинциального художника, которого вдохновил "Ангелус" Милле[1]. Скорее всего, у этого провинциала были проблемы с изображением людей, и он решил, что не будет рисовать ни мужчину, ни женщину, ни тачку, и гроба тоже не видно. Словом, остался один фон, и художник наверняка собирался загрунтовать полотно и нарисовать что-то совсем другое, но кто-то отвлек его, и все так и осталось.

— Это та самая, да? — спросила Эстер и приложила картину над письменным столом

— Та самая, — сказал я, от удивления мне больше ничего не пришло в голову.

— Тогда принеси гвоздь и молоток.

— Как ты узнала?

— Или я дружу со старьевщиками, или я тебя знаю. Наверно, и то, и то. Кстати, не так уж сложно было выловить ее среди цыганок с мандолинами и ревущих быков, — сказала она и обняла меня.

— Спасибо, — сказал я.

1. Картина "Ангелус" французского живописца Жан-Франсуа Милле была написана в 1857–1859 гг.

— Куда мы ее повесим? — спросила она.

— Поцелуй меня, — сказал я.

— Сначала принеси молоток.

— Я хочу заняться любовью, — сказал я.

— Нет, мне правда пока нельзя, — сказала она.

— Ты врешь, — сказал я, мы неотрывно смотрели друг на друга, за это время я развязал пояс ее халата, и впервые за два месяца увидел ее голой. Если не считать больничных переодеваний, когда я на руках носил ее пописать в пахнущий хлоркой сортир в конце коридора в неврологическом — только не подкладывайте немытую утку, сестра Бертушка.

— Нет, — сказала она.

— Молчи, — сказал я, и от моего дыхания ее соски раскалились. Мое лицо прижалось к ее животу, и, пока я добрался до ее паха, уже все ее тело тряслось. — Я люблю тебя, — сказал я и знал, что сейчас очнется настоящая Эстер Фехер. Та, что больше не будет горстями срывать почки с веток ракитника. — Больно? — спросил я ее, но она была уже неспособна складывать звуки в слова. Каждый звук по отдельности в тяжелом вдохе спасался из распадавшейся сети сознания. Ее язык еще раз проскользнул по арке моего нёба, протиснулся в щель между губой и десной, и, когда мускулы, обхватившие меня, начали пульсировать, она схватила меня тысячью рук и отбросила от себя, и я чувствовал только, как она бьет меня в лицо кулаком.

— Ты говно! Говно! Говно! — орала она, и я не мешал ей драться, наконец, она, рыдая, повалилась на меня.

— Гдетыбылсынок?

— Вы прекрасно знаете, мама.

— Вижу, вы поссорились.

— На меня напали на улице, мама.

— Не думай, что я дура.

— Мы не поссорились и никогда не поссоримся. Я сказал, на меня напали на улице, мама.

— В общем, ты ее отделал. Отделал, да?

— Я прошу вас, замолчите, мама.

— Она сучка. Я уже говорила?

— Лучше не говорите ничего, мама.

— Такие хороши на один раз — расслабиться.

— С детства я расслабляюсь в ванне, мама.

В те дни стали гибнуть голуби. Первые трупики я увидел на площади Гутенберга, четыре или пять диких голубей валялись в весенней слякоти на дороге и на тротуаре, как будто у луж выросли крылья, но поначалу казалось, ничего особенно-

го не происходит, ведь весной они всегда мрут как мухи. Коекак перезимуют, а во время таяния снега плюхаются с крыш и с карнизов. Как-то раз голубиные трупики забили печную трубу в одном доме, утром полугодовалая Агика проснулась от холода, потому что бабушка забыла натопить детскую, и никто не пришел к ней на крик. Целых три недели ни в кафе "Трубочка", ни в ковровом отделе торгового центра "Пионер", ни в клубе пенсионеров "Какие наши годы" не замечали, что Боднары почему-то отсутствуют. И пока до жильцов дошло, что стряслась беда, потому что скоро Пасха, а соседка с четвертого апреля не вывешивала во двор одежду и постельное белье своей свекрови, Агика уже начала разлагаться. Тогда администрация сказала: давайте дадим им еще несколько дней, разберемся после полива. Наконец дверь взломали, и Боднары попали на первую полосу "Вечерних новостей" в качестве неживого свидетельства последствий халатности, вклинившись между сообщениями о новейших результатах исследования Марса и о ходе весенней пахоты, даже газетная бумага смердела трупным запахом.

— Фу. Ты лучше погляди, что они пишут про постановку пьесы Дюрренматта. И попробуй читать более внятно, — сказала мама.

— Интересно, а я его отлично понимаю: четверо умерли, правда, ни один из них не был лауреатом премии Кошута, — сказала Юдит.

— Кажется, у меня нет такого тонкого чувства трагизма, — сказала мама.

— Всего одна небольшая новость о спектакле, — сказал я.

— У всех органы чувств не безупречны. Я, например, довольно хорошо слышу, но иногда неделями не вижу, что происходит вокруг, — сказала Юдит, и собрала тарелки.

— Женщина должна видеть даже в темноте, — сказала мама.

— Если ты спешишь, я помою, — сказал я.

— Спасибо. А кстати, неплохая идея. Если я захочу кого-то убить, так и сделаю, — сказала Юдит.

— Может быть, о спектакле что-то написали в "Непсабадшаг", — сказал я, притворяясь, что ничего не слышу.

— Несколько дохлых голубей в трубу, и гарантия, что жертва угодит в сводку дневных новостей.

— Гениально. Если предположить, что ты сможешь взять в руки дохлого голубя, — сказала мама.

— Когда очень понадобится, не только голубя. Котлеты снова удались на славу, — сказала Юдит и убежала. До конца отопительного сезона коммунальщики пять или шесть раз проверяли трубу в маминой комнате, якобы по заявке жилищного комитета.

В общем, сначала я увидел несколько дохлых голубей на площади Гутенберга, затем на площади Луизы Блахи, но там уже весь тротуар был черный. Люди возмущались, боже мой, ну куда смотрят коммунально-уборочные службы? Одни говорили, виноваты коммунисты, другие считали, виноваты правые радикалы, но большинство было уверено, что эпидемия связана с атомной электростанцией в Пакше; на следующий день появились первые экспертизы, исследующие влияние массовых демонстраций на развитие венгерской энергетической промышленности. Телевидение ссылалось на неназванные источники, аналитики опрашивали всех, кто может высказаться на данную тему, расторопные очевидцы вспоминали о похожих голубиных эпидемиях в самое кассовое эфирное время. Санитарная Служба ограничилась коротким заявлением, сообщалось, что, вопреки очевидным фактам, об эпидемии не может идти речь, но родителям все же не следует разрешать детям приближаться к дохлым голубям. Мы с Эстер шли на Центральный рынок, как вдруг я увидел на площади старушку, которая сыпала из кулька семена голубям и приговаривала: "Ребекка ест".

— Это она, — сказал я Эстер.

— Кто? — спросила она.

— Женщина возле качелей. Она травит птиц.

— Да ну, — сказала она.

— Я знаю ее, — сказал я. — У нее я видел эти двадцать пять клеток в платяном шкафу.

— Я ее не такой представляла, — сказала она. — И потом, тот, кто ухаживает за искалеченными птицами, не будет сыпать отравленную пшеницу голубям. Это абсурд.

— Ошибаешься, — сказал я. И мы отправились за покупками.

Когда я получил письмо, в котором сообщалось, что на шестое назначена встреча в редакции, меня дня два выворачивало даже от утреннего кофе. Я по очереди перебирал возможные вопросы и сочинял разумные ответы. В крайнем случае, пошлю всех к черту, думал я и, вместо того чтобы, перекрестившись, вызвать лифт, пошел по лестнице пешком, хотел потянуть время, я всегда так делаю. Но когда меня пригласили войти, я успел заметить, что и здесь ручка двери сделана из алюминия.

— Эва Йордан, — сказала женщина и во время рукопожатия смерила меня взглядом с ног до головы. — Кофе? — спросила она. Я сказал, пожалуйста, сел в одно из кресел и подумал, что в редакции не успели поменять старый мебельный гарнитур, обитый дерматином, и пишущую машинку "Эрика", женщина в это время связалась с приемной и попросила: "Два кофе".

— Мне нравится ваша книга, — сказала она. Я сказал, спасибо. Как женщина она для меня уже не существовала, с того самого момента, как смерила меня взглядом, словно я какой-нибудь товар, я бы даже обрадовался, если бы моя книга ей не понравилась. Я всегда испытывал отвращение к женщинам, которые умудряются замазать штукатуркой минимум десять лет из пятидесяти, а руку сжимают, словно солдаты. За пять минут они ухитряются поменять колесо на "полскифиате", не поцарапав при этом "Маргарет Астор" на ногтях. Славно потрахавшись или бесславно оформив развод, они уверены, что познали смысл жизни. Даже ее прокуренный голос меня раздражал. Лучше бы книга ей не понравилась, думал я, и, пока она доставала досье, я пялился на календарь, прилепленный сбоку шкафа для деловых бумаг — на нем бушевала декабрьская метель в пусте, хотя давно пора было отлистать к апрельским наводнениям.

— Конечно, кое-что необходимо доработать. Я немного почеркала, надеюсь, вы не возражаете, — сказала она. Я заглянул в рукопись: на полях страниц то тут, то там мелькали замечания, сделанные черной шариковой ручкой, кое-где подчеркивания и вопросительные знаки. Вместо благодарности я подумал только, что женщина за несколько дней исчеркала текст, который Эстер печатала неделями.

— Не возражаю, — сказал я.

— Думаю, вам надо посмотреть замечания, и тогда мы поговорим.

— Хорошо, — сказал я.

— Позвоните. Если можно, еще до конца недели, — сказала она и записала в досье номер телефона. — Здесь невозможно работать.

— Хорошо, — сказал я.

— Какой напиток вы предпочитаете?

— Чай, — сказал я, взял рукопись и встал, чтобы уйти без промедления. Мы снова пожали друг другу руки. У нее древняя пятисотлетняя рука. Ее не заштукатуришь, думал я.

— Как поживает ваша мама? — спросила она. Я застыл в оцепенении, поскольку к этому вопросу я не был готов. Я не знал, что ответить. Мне ужасно хотелось влепить ~~ей по физиономии~~.

— Откуда вы знаете мою маму? — спросил я.

— Однажды я брала у нее интервью.

— Наверно, вы ошибаетесь.

— Наверно. Мне нравится ваше рукопожатие, — сказала она. И только тогда я заметил, что продолжаю сжимать ее руку, словно я гидравлический пресс. Я чувствовал, что ее костлявые пальцы вот-вот с треском сломаются. Не попрощавшись, я

вышел, затем, чертыхаясь, залез в лифт, но забыл выйти на первом этаже и уехал куда-то вниз, в подвальные помещения. Я толком не знал, на что нажимать, и, когда очутился в темной, как ночь, аппаратной, в отчаянии вцепился в двери, мне казалось, эта коробка сейчас опрокинется, и я вылечу в шахту. Я боялся, что шестеренки подъемника изуродуют меня, как эта женщина изуродовала мою несчастную рукопись.

– Ради бога, что с тобой? – спросила Эстер.

– Я не... – сказал я.

– Они же не вернули тебе?

– Я попрошу вернуть.

– Умоляю, расскажи, что случилось.

– Не хочу.

– Что не хочешь?

– Ничего, – сказал я и уткнулся лицом в ее грудь. Я никак не мог связно рассказать, что стряслось в издательстве. Я бормотал, что лифт нарочно увез меня в подвал, они хотели искалечить меня, поскольку все всё знают, даже маму знают. Потом я почувствовал ее руку у себя на поясе.

– Успокойся, – сказала она.

– Хорошо, – сказал я и стал искать ее колени, но она переложила мою руку к себе на шею.

– Почему? – спросил я.

– Молчи, – сказала она и закрыла мне глаза, словно мертвому, и положила голову мне на грудь.

– Лучше расскажи, пожалуйста, что произошло в издательстве.

– Я попрошу вернуть рукопись.

– Правильно. Только я не узнаю тебя.

– Поверь, мне вполне достаточно, что читаешь мои рассказы ты. Когда-нибудь их издадут.

– Продолжай. Я люблю, когда ты так говоришь. Глупо, но люблю.

– К тому же эта культурная шлюха исчеркала все, что ты печатала.

– Ну да. Подлизывайся.

– Тебе не интересно, какая она, эта культурная шлюха?

– Если я правильно помню, это я отвозила рукопись в издательство. Никакая она не культурная шлюха. Просто энергичная евреистая журналистка.

– Не трогай евреев.

– Мне можно.

– Почему?

— Так сложилось. В общем, вижу, тебе она нравится. Я буду следить, чтобы ты ходил сытым на деловые ужины.

— Меня тошнит даже от ее запаха, и вообще я не буду ходить на деловые ужины.

— Тогда я отведу тебя на поводке.

— Я всех покусаю.

— Прежде всего эту культурную шлюху?

— Не ее специально.

— Я куплю тебе намордник. Кстати, ты был прав, — сказала она.

— Скажи на милость, в чем это я оказался прав? — спросил я.

— Читай, — сказала она и вытащила из сумки газету, среди удручающих новостей о любовницах замминистра и о злоупотреблении приватизацией один крупный заголовок успокаивал расстроенных читателей — "Убийца голубей покончила с собой!" После усиленных поисков полиция нашла тело Ребекки В. (69 лет), бывшей проститутки, которая уничтожала голубиное поголовье восьмого района с помощью отравленной пшеницы и затем сама приняла смертельную дозу крысиного яда югославского производства. Специалисты квалифицируют случай как необъяснимый, поскольку, судя по показаниям соседей и по вещественным доказательствам, найденным в квартире, преступница любила птиц (статья о ней на 16-й странице).

— Гдетыбылсынок?

— В издательстве, мама.

— Я не давала согласия.

— Вам и не надо давать согласия, мама.

— Эта сука сделает из тебя подонка, грязного подонка!

— Оставьте Эстер в покое и дайте мне поработать, мама.

— Ты не писатель! Знаешь, кто ты? Ты мясник! Да! Мясник!

— Возможно, мама.

— Ты пишешь свои рассказы чужой кровью!

— Я пишу черными чернилами, мама.

— Это не чернила, это моя кровь!

— Если кровь, то исключительно моя собственная, мама.

— Ты запятнаешь меня!

— Я в жизни никого не запятнал, мама.

— Да, запятнаешь меня моей собственной кровью!

— Молчите, мама!

— Не буду молчать! Убийца! Убийца собственной матери! Запятнаешь!

— Заткнитесь! Заткнитесь и убирайтесь из моей комнаты!

— Ваш чай успел остыть. Могу я предложить вам чай с водкой?

— Лучше с лимоном, — сказал я и внимательно оглядел антикварную мебель, восточные ковры и старинные картины. У нее точно такой же склеп, как у нас, только он не уставлен ворованными декорациями, подумал я и освободил на столе место для рукописи, между жолнайской пепельницей и мессенской чайной чашечкой.

— Думаю, музыка не помешает, — сказала она.

— Музыка — нет, — сказал я.

— Бах?

— Хорошо, — сказал я.

— В тот раз вы ушли немного на взводе.

— У меня был паршивый день.

— Я рада, что это не я обидела вас.

— Вы ничего такого не сказали.

— Ваш чай закипает. Вы правда не хотите ничего туда добавить?

— Нет, — сказал я.

— Кстати, вполне естественно, когда писатель немного на взводе.

— На взводе бывают не только писатели, — сказал я и почувствовал, что начинаю вести себя чуть более развязно, чем нужно в данной ситуации. В конце концов она не виновата, что даже ее запах меня раздражает, думал я. Я тоже многих раздражаю, думал я. Большинство людей раздражает, как я здороваюсь, думал я. Или как я прошу стакан содовой к кофе, думал я.

— Ничего страшного. Талантливому человеку многое простительно.

— Я не считаю, что талант дает человеку право вести себя, как ему вздумается, — сказал я.

— Полагаю, вы немного лукавите.

— Я вполне серьезно, — сказал я.

— Тогда зарежьте себя талантливо.

— Это идея, — сказал я.

— Вы еврей?

— Насколько мне известно, нет, — сказал я ошеломленно, поскольку орать мне это в лицо орали, но спокойно еще никто не спрашивал.

— Я знаю. Я только хотела видеть, какой вы, когда отвлечетесь от своей роли, — сказала она и принесла салфетку, чтобы вытереть с моего пиджака пролитый чай.

— Иногда я очень непосредственно реагирую, — сказал я, мне ужасно хотелось встать и выйти, но я чувствовал, что это будет неприлично, и поэтому положил еще два кубика сахару в остатки чая.

— Именно поэтому вы хороший писатель, — сказала она, затем взяла рукопись, и мы просмотрели текст от начала до конца. Сперва меня раздражало, что она нашла в ней не один десяток ошибок, которые я пропустил, я злился на самого себя, что был не очень внимательным и не убрал повторы, но через какое-то время напряжение спало, словно после несложной операции, которую нет смысла обсуждать с врачами. Эва хотела выбросить два рассказа, я с ней согласился. К третьей чашке чаю я попросил водки, и важные для меня германизмы остались, поскольку без германизмов некоторые пассажи на хрен не нужны, даже если это противоречит законам стилистики, фраза просто потеряет свою энергетику, потом она приготовила какие-то горячие бутерброды, потом я забыл у нее свою перьевую ручку.

— Ну, укусил? — спросила Эстер.

— Ты меня к ней снаряжала. А теперь догадайся, — сказал я.

— Думаешь, я смогу?

— Сейчас я тебя укушу, если не отстанешь.

— Лучше не надо. Я и без тебя истекаю кровью.

— Ты говорила, что они заканчиваются.

— Я тебя обманула. Как раз сегодня хлещет сильнее всего.

— Я запрещу грегорианский календарь. Я хочу, чтобы в месяце было триста шестьдесят пять дней.

— Тебе достаточно подождать двадцать лет. У меня закончится климакс.

— По-моему, ты обманываешь меня. Покажи кровь на простыне, — сказал я, но в следующее мгновение пожалел о сказанном. Ее лицо посерело, словно ее поймали с поличным, затем она молча пошла в ванную, я слышал, как она открывает кран. Я закурил, затем выкурил еще одну. Лучше бы она хлопнула дверью, думал я.

— Я могу войти? — спросил я.

— Конечно, — сказала она. Я вошел, она лежала в ледяной воде, покрытая мурашками. Крохотные пузырьки покрыли ее бедра и затвердевшие лиловые соски. Она смотрела на свое тело, словно на какой-то ненужный предмет, который использовать уже нельзя, а выбросить жалко.

— Иди сюда, — сказал я. Она позволила мне вынуть ее из ванны, я вытер ее и отнес в комнату, но даже под одеялом она дрожала.

— Дай сигарету, — сказала она, я прикурил ей сигарету, но она сломалась у нее в пальцах.

— Ты ведь веришь, что я еще... — сказала она.

— Не верю, — сказал я.

— Я люблю тебя, — сказала она.

— Знаю, — сказал я.

— Тогда почему Бог мучает меня? — сказала она и, вцепившись мне в шею, наконец разрыдалась. — Почему я до сих пор жива? Я не хочу жить! Убейте меня, убейте!

За соседним столиком сидел мужчина лет пятидесяти, с изможденным лицом, в кедах и в клетчатом пиджаке, и уже полчаса читал какую-то книгу довоенного издания. Наконец он отложил книгу, позвал Йолику и заявил, что в пиво угодила муха. Нашлись свидетели, которые утверждали, что он сам кинул муху в кружку, поскольку видели, как он доставал что-то такое из спичечного коробка.

— Тоже мне умник, ступайте в общественную столовую и кидайте там мух в тыквенное рагу, — сказала Йолика, она настояла, чтобы мужчина заплатил. — Одна кружка "Кёбаньского". Если хотите, можете съесть у меня хоть всех мух, но за пиво вы заплатите, это я гарантирую. — Кто-то сказал, надо позвать полицию, но Йолика отрезала, что здесь полиции не место. Она справится без резиновой дубинки. Словно в подтверждение своих слов, она взяла кружку за ручку и несколько раз шлепнула дном об левую ладонь, словно проверяя на вес, стоит ли бить этим предметом или лучше взять пепельницу.

— Четырнадцать пятьдесят, — сказала она. Мужчина стал рыться в карманах, угрожая, что напишет донос и добьется закрытия этого свинарника. — Вымойте руки, прежде чем уходить, — сказала Йолика и пробила в кассу девять пятьдесят, поскольку знала, он пил пиво на последние.

Не надо было с ним связываться, думал я. Хотя Йолика абсолютно права, думал я. Девять пятьдесят стоит стакан пива, думал я. Пусть не просит кружку, нечего наглеть, думал я. Потом я понял, что я бы на месте Йолики струсил и позволил ему уйти, не заплатив. Это меня разозлило, я допил пиво, потушил сигарету, заплатил, вышел на улицу и доехал на шестом трамвае до Октогона, а оттуда прошел пешком по Андрашши до Оперы. В квартире Эвы Йордан горел свет, я замешкался. Нужно было позвонить и предупредить ее, думал я, в самом деле лучше я приду завтра, думал я. Затем мне показалось, что кто-то следит за мной с балкона и видит, как я стою под окнами и робко переминаюсь с ноги на ногу. Со стороны я, должно быть, просто смешон, подумал я, выдохнул, зашел в подъезд, поднялся по лестнице, снова выдохнул и сделал два коротких звонка.

— Я думала, вы уже купили новую ручку, — сказала она, закрывая за мной дверь. — Вы как раз вовремя. Надеюсь, вы говорите по-французски?

— Не говорю, — сказал я.

— А по-английски?

— Немного, — сказал я.

— Вам надо научиться, — сказала она и представила меня своим гостям. — Они из одного парижского издательства, я рассказываю им о наших новинках. О вашей книге тоже шла речь, — добавила она. И я уселся на тахту, застеленную клетчатым пледом, поскольку в креслах уже сидели французы. Эва ушла на кухню, мы молчали, нам нечего было сказать друг другу. К счастью, через несколько минут Эва вернулась с кувшином холодного чая.

— Это единственный венгерский писатель, который пьет исключительно холодный чай. Но естественно не в этом дело, — сказала она по-английски, чтобы я тоже понял. Я чувствовал себя, как дикий зверь, запертый в клетку, которого кормят печеньем докучные посетители. Мужчины синхронно улыбнулись, затем Эва и гости перешли на французский. Мне ужасно хотелось попросить назад свою ручку, но я чувствовал, что сейчас неуместно. Наконец французы встали, было очевидно, что я не могу пойти с ними, мы пожали друг другу руки и отревуарились, она пошла закрывать дверь, и я услышал, как в прихожей скрипит ключ.

— Вы им очень понравились. Кто знает, вдруг вас переведут на французский, — сказала она и уселась на коврике рядом с тахтой.

— Наверное, пока рановато говорить, — сказал я.

— Это оставьте мне, — сказала она. — Могу я налить вам вина?

— Нет, спасибо. Я пришел только за своей ручкой.

— Из-за одной ручки вы бы никогда в жизни не пришли, — сказала она и налила вина мне в чай.

Как жаль, что у меня нет спичечной коробки с дохлыми мухами, надо было бы кинуть в чашку и вылить ей в лицо все это, думал я и чувствовал, как вместе с вином мне в горло проскальзывают воображаемые насекомые.

— Наверно, вы правы, — сказал я и встал, а она оставалась сидеть, и ее лицо от напрягшегося полового члена отделяли только брюки. У меня в желудке начали жужжать дохлые мухи. Ими уже кишели грудь и мозг, я чувствовал, что они выедают, пожирают все изнутри, и вместо сердца один обрубок болтается на аорте.

— Не смей вмешиваться со своей трепотней в мою жизнь. Ни по-венгерски, ни по-французски, — сказал я и не узнал собственный голос.

— Ну как? Оттрахаешь наконец? — спросила она и вцепилась в мои яйца, и в следующее мгновение я разодрал на ней свитер, точно какую-то портянку. Потом я повалил ее на кровать, и, пока я одной рукой стаскивал с нее юбку, она разрывала молнию на моих брюках. Она даже не расстегнула ремень, и железо до

крови расцарапало ей живот. У нее была горьковатая кожа. Горьковатая с миндальным запахом, как мамины простыни.

— Не смей вмешиваться, поняла? Никогда больше, ты, сука! — орал я ей в лицо, и одной рукой сжимал ей горло.

— Еще! Проткни меня насквозь! Оттрахай до посинения! — орала она, и ее вскрики были, как трещины во льду, и я чувствовал только, как пустота поднимается и разрывает мои вены.

Я оставил ее на кровати, словно какую-то половую тряпку. Сперма вытекла из нее на смятый плед, одна ее нога свесилась на пол, и с нее сползла туфля. У нее еще подергивались бедра, но стонать она уже прекратила, а я застегнул молнию на брюках, вытащил сигарету из пачки и погасил свет.

Когда подъехало такси, мы разговорились с шофером. Он ненавидел коммунистов, говорил, застрелить их надо, гадов, ничего, кроме смерти они не заслуживают. Я с ним не соглашался и доказывал, что у каждого есть право осознать свою ошибку и больше не высовываться на свет божий. Если они покаются, пусть живут с миром, сказал я таксисту. Он сказал, чтобы на это я даже не надеялся, у подлецов нет совести, мать их за ногу. Я поднялся по лестнице и попытался на ощупь отыскать дверные цепочки, но не получилось. В итоге я вынужден был сделать два коротких звонка, чтобы мама открыла, это был наш с ней пароль.

На следующий день я до вечера мучительно долго возился с одним текстом. Наконец, я завершил его и пошел к Эстер. Я не чувствовал угрызений совести, в тот раз у Эвы я был словно в бреду, а значит, все это случилось не со мной.

— Искупаешь меня? — спросил я ее.

— Подожди, — сказала она.

— Жду, — сказал я. Она наполнила ванну водой и бросила туда какой-то зеленый кубик, от этого ванна до краев наполнилась пеной, и по комнате заструился сосновый запах. Я забрался в ванну.

— Какое свинство, я совершенно тебя не вижу, — сказала она. Пена накрыла меня по шею, я погрузил голову под воду, чтобы скрыться от внимательного взгляда Эстер, и досчитал до ста двадцати, но она не спешила вытаскивать меня.

— Мечтаешь, чтобы я остался на дне ванны, — сказал я, когда вынырнул.

— Я не боялась за тебя. Ты выживешь даже на дне морском, как жемчужная раковина.

— Спасибо, что не пиявка, — сказал я, затем она вытерла меня. Когда я стал вытаскивать пробку, пена перелилась через

бортик и заполнила половину ванной комнаты, мы собирали ее руками и засовывали обратно в ванну, затем я достал из холодильника полбутылки красного вина и прочитал рассказ, который завершил писать днем.

— Хорошо. Только жаль, что ты искренность путаешь с пошлостью, — сказала она.

Я не мялся перед дверью подъезда, не смотрел, есть ли кто-то на балконе и не делал два коротких звонка, как она в самом начале предупреждала по телефону. Одного длинного вполне хватит, думал я, однако ждать пришлось довольно долго.

— Два коротких, — сказала она, закрывая дверь.

— Так лучше, — сказал я.

— В следующий раз открывай сам, — сказала она, вложила мне в руку ключ, и я положил его на газовый счетчик.

— Давайте лучше на вы, — сказал я.

— Как хотите. Чай? Я так понимаю, теперь чуть теплый.

— Даже не чуть теплый. Я пришел за рукописью.

— Не будьте ребенком, — сказала она и опустилась в потертое кресло.

— Переживу, — сказал я. — Если рукопись в издательстве, пришлите по почте.

— Она у наборщика. Через неделю получите корректуру.

— Я не буду читать корректуру.

— Сожалею, но тогда не будет книги. Поймите, работа — одно, а с кем я сплю — совершенно другое. Я надеялась, вы отдаете себе в этом отчет.

— Я отдаю себе в этом отчет. И мне безразлично, что будет с книгой, — сказал я.

— Разумеется. Но и утром, когда вы проснетесь и вместо смазливого художника увидите в зеркале бешеного кобеля, вы все равно наделаете в штаны. Соблюдение дистанции тут не поможет. Не удивляйтесь потом.

Мне хотелось закурить, и она с удовольствием смотрела, как я одну за другой ломаю спички.

— А у вас очень симпатичная подружка, — сказала она.

— Не подружка, — сказал я.

— Простите, любимая. У меня в мыслях не было занижать ваши отношения. Я только хочу сказать, что бедная девочка наверняка не переживет, если выяснится, что вы рыщете по городу в поисках самки, словно тигр, сбежавший из зоопарка.

— Только попробуйте ей рассказать о наших отношениях, я придушу вас. Эстер сюда не впутывайте, — сказал я и встал.

— Вы не поняли, — сказала она и налила палинки в бокал. — Вы первый проговоритесь. Как правило, женщины мирятся с

наличием соперницы, пока могут притворяться, будто не знают об этом.

— У нее нет соперницы, — сказал я и взял протянутый бокал. Когда обжигающая палинка проскользнула мне в горло и тепло заструилось по жилам, я пришел в отличное расположение духа. Эва напоминала мне теперь хорошо отреставрированный деревянный памятник, из которого эхом доносится шуршание короедов. Мне даже нравились ее медно-рыжие волосы, миндальный запах, струящийся от ее кожи, и ногти, краснеющие на кончиках ее доисторических пальцев. Я чувствовал, что освобождаюсь от гнета ее роскошного бардака, точно иду на свет в конце тоннеля.

— Мужчины полигамны, — сказала она и посмотрела мне в глаза. — Ваша мама, например, делила со мной вашего отца.

Удар настиг ее челюсть. Она спикировала в кресло, но я скинул ее на пол, схватив за волосы и пинком перевернул на живот.

— Как отец, — хрипела она.

— Не смей больше говорить о моем отце! Я даже имя его не желаю слышать, поняла?! — заорал я и раздвинул ей ноги коленом и, пробиваясь сквозь обрывки разорванной одежды, снизу вверх вонзился в нее.

— Еще, — стонала она.

— Никогда, ты сука!

— Порви! Порви же меня! — кричала она, потом она как-то вырвалась из-под меня. Ее ногти вонзились в мои бедра, разорвали молнию и вцепились в яйца, наполненные ненавистью.

— Никогда больше, сука! — засопел я. Как рушат каменную стену, так я терзал ее воспаленную жопу, пока она только способна была визжать, затем она зажала ковер между ног, а я достал из коробки сигарету и захлопнул за собой дверь.

Мама чистила на кухне яблоко, разматывая красную яблочную кожуру, словно ленточного червя.

— Кто такая Эва Йордан? — спросил я.

Нож застыл у нее в руке. Она уставилась на мою разорванную рубашку и разодранные брюки, и я уже подумал, что она не ответит.

— Ублюдок! Марш в свою комнату, животное! — заорала она, и наполовину очищенное яблоко разлетелось об дверной косяк, словно граната.

— Хорошо, — сказал я и пошел в комнату.

Когда я проснулся, вокруг было темно, как в аду. Я нащупал выключатель от лампы и посмотрел на часы, поскольку вспомнил, что в шесть Эстер ждет перед библиотекой. Скажу ей, что

у меня поднялась температура, подумал я и стал нервно рыться в одном из ящиков. В итоге я нашел старый мелок, но съесть смог только половину. Затем я наткнулся на коробку старых патронов с кровью, и тогда мне пришло в голову, что кровотечение лучше. Да, меня обозвали евреем и побили — и я разорвал все капсюли, намазал краской около рта, но до меня дошло, что в этом нет никакого смысла. Если она ждала в шесть, а сейчас десять, и сейчас меня побили, тогда где я был в шесть, и я доел остатки мелка из бумажки, но меня уже начало рвать красным месивом, и изо рта полилась вода.

Это были мои лучшие брюки, думал я, теперь уже не важно, думал я, завтра одену какие-нибудь попрочнее, думал я, и все-таки неплохо было бы узнать кое-что об отце, думал я, хотя бы как он выглядел, думал я, завтра спрошу у этой шалавы, думал я, это ведь еще ничего не значит, думал я, но сначала обрежу ей ногти, думал я, хотя нет, у нее хорошие ногти, думал я, но ей надо бы вычесать шерсть из п... думал я, а еще нужен фаллоимитатор, думал я, например, бычий хрен, думал я, нет ничего лучше сушеного бычьего хрена, думал я, до моего ты не дотронешься, думал я, это так же верно, как отченаш, думал я, достаточно писателей, которые отымеют тебя как следует, думал я, а мы уж лучше так, думал я, и не смей больше говорить о моем отце, а то я разорву тебе клитор, думал я, буду включать тебя бычьим хреном, как цветной телевизор, думал я, кстати, не так уж и плохо бить женщин, думал я, папаша был не дурак, думал я, только зря ты блевал в детскую кроватку, думал я, отца это не украшает, думал я, и избивал беременную, как последнее чмо, думал я, не надейся, что я ничего не помню, думал я, ты хер собачий, думал я, я видел, как ты трахаешь в жопу мою маму, думал я, в полгода человек уже не дурак, думал я, просто он еще не умеет обращаться с кухонным ножом, думал я, не надейся, что я не знаю тебя, думал я, как свои пять пальцев, думал я, ты хрен поджаренный, думал я, скорей всего, ты из какого-нибудь низкосортного быдла, думал я, она перенесла мезальянс, думал я, хотя беременная сама была первоклассная курва, думал я, наверняка трахалась с пятью одновременно, ничего стыдного, я бы тоже потрахался, думал я, или на худой конец с тремя, думал я, эта сука, правда, иногда могла бы наносить маме визиты, думал я, и Эстер тоже, думал я, если по очереди, можно, почему вместе нельзя, думал я, нет, Эстер не надо, думал я, в конце концов я не животное, думал я, Эстер невероятно чувствительная, думал я, не то, что мы, думал я, тогда уж лучше Юдит, думал я, она держит свое сердце в футляре, думал я, и по двенадцать часов в день упражняется, думал я, плюс выступления, думал я, ей недосуг трахаться с тре-

мя, думал я, у нее целых десятьнезнаюсколько лет даже письмо написать не было времени, думал я, конечно, у нее хватило нахальства написать, чтобы я не закрывал маме глаза, думал я, я закрою их с помощью молотка, думал я, а потом выброшу из этого склепа все декорации, думал я, выброшу, и там будет детская, думал я, и я не буду блевать в кроватку, думал я, и, пока кормит, не буду трахать жену в жопу, думал я, я не животное, думал я, по правде, я и не трахал эту мумию, думал я, просто засунул руку, думал я, и маму тоже, думал я, а вдруг в следующий раз не встанет, думал я, ну хоть кто-то из нас получил оргазм, думал я, скажем, я, думал я, я ни за что, скорее она, думал я, ведь это же и возбуждает, что я не смог удовлетворить маму, думал я, поэтому так дерьмово, думал я, хотя как нежно она гладила меня, думал я, ну хоть побрила бы меня, думал я, какая дура, могла бы и сегодня побрить, думал я, стоило бы на это посмотреть, думал я, только пусть не мажет солью соски, думал я, ей уже давно пора сдохнуть, думал я, а одежда будет как раз впору Эстер, думал я, это не пошло, милая, думал я, я никогда не путал пошлость с искренностью, думал я, а ты путаешь пиявок с жемчужными раковинами, думал я, конечно, одежда будет впору, думал я, возможно, только в груди надо будет немного убрать, думал я, по крайней мере, у тебя будет несколько пожранных молью каракулевых шуб, думал я, но ты ходила делать аборт, думал я, хоть бы сказала, прости, но сегодня я иду на операцию, думал я, в конце концов, это мою сперму выгребли из тебя, думал я, в конце концов, тебе же надо было показать его папочке, думал я, просто потому, что так принято, думал я, мы будем курить, а ты будешь мило помалкивать, думал я, а святой отец расскажет, отчего онемела дочь его, думал я, только больше не играй так со мной, думал я, больше никаких этих неспрашивайниочем, думал я, будешь лететь, пердеть и радоваться, думал я, не думай, что я не осмелюсь поднять на тебя руку, думал я, я выколочу из тебя всю твою прошлую жизнь, думал я, и буду писать твоей кровью, думал я, можешь потом печатать, думал я, и поискать издательство, думал я, ты отправила меня к этой шлюхе, думал я, ну и накося выкуси теперь, думал я, но я не буду больше жрать известь на завтрак, думал я, лишь бы Юдит не заметила, думал я, это был ее мел, думал я, завтра украду для нее еще один, думал я, не смей больше рыться в моих ящиках, сказала она, правда украду и еще напишу задание по венгерскому, сказал я, меня не интересует, что ты пишешь, сказала она, прости, сказал я, ты всегда был червяком, сказала она, это неправда, сказал я, мерзкое маленькое ничтожество, сказала она, я не ничтожество, сказал я, куда вы дели мою скрипку, сказала она, я до нее не дотрагивался, сказал я, а ну доставай, сказала она, не достану, сказал я, у меня сейчас поезд, сказала

она, я не останусь здесь один, сказал я, тогда научись играть на скрипке, сказала она, ты никуда не поедешь, сказал я, у меня нет времени, сказала она, ты в грязном белье, сказал я, ты урод, сказала она, ты неспособна любить, сказал я, здесь мы похожи, сказала она, да, надо было спрятать, думал я, закопать в грязном белье, думал я, там она в жизни не найдет, думал я, сначала там поищу, сказала она, среди твоих носовых платков, измазанных спермой, сказала она, право слово, каждый сходит с ума по-своему, сказала она, моя любовница про крайней мере не изменяет мне с моей матерью, сказал я, у тебя, скорее наоборот, сказала она, молчи! — сказал я, со спины, как наш отец, сказала она, заткнись! — сказал я, но у отца хоть нормально вставал, сказала она, заткнись, а то убью! — сказал я, ты всех убьешь, ты такой храбрый, сказала она, убирайся отсюда! — сказал я, не бойся, я только закрою тебе глаза, сказала она, скройся, ты змея! не глаза! только не глаза!

Когда я открыл ставни, я даже не знал, сколько дней я провалялся в комнате, наполненной запахом пота и рвоты. Эстер стояла напротив нашего дома на той стороне. Я собирался захлопнуть ставни, но она уже меня заметила. Я махнул ей, чтобы она ждала, затем спешно оделся, направился к двери и вдруг спохватился, а что, если она поднимется. Черт, это невозможно. Черт, лучше ей не подниматься, думал я, однажды она уже поднималась. Черт, она мгновенно догадается, думал я, запихивая под кровать порванную в клочья одежду и перепачканные спермой простыни. Тут я вспомнил, что накануне измазал лицо искусственной кровью, наверняка она успела разглядеть. Да уж, вид у меня сейчас, подумал я и пошел в ванную смыть краску. Перед зеркалом, неподвижно, как изваяние, сидела мама. Наверняка с тех пор сидит, думал я. Хреново может получиться, думал я. Зря я спросил, думал я. Хлеб кончился давным-давно, думал я. Из прихожей я крикнул: иду к Эстер, мама, поскольку хотел, чтобы она знала, что не к этой женщине, и тихо добавил, сначала я принесу хлеба.

— Ты давно здесь?

— С двух, — сказала она и смахнула слезу.

— Сколько сейчас? — спросил я.

— Полшестого, — сказала она, с трудом сдерживая рыдания.

— Пойдем, мне надо купить маме хлеба, — сказал я, обнял ее за плечи, и мы молча дошли до гастронома. Ее волосы были завязаны в пучок, как у вдовы, под глазами темнели круги, и я подумал, что сейчас все расскажу ей, а потом отправлюсь выбрасывать тряпки, пропахшие вагиной. Куплю продукты, потом

отведу ее домой и расскажу все. Да, буду рассказывать ровно как свои сны. Разница только в том, что все случилось до того, как заснуть. Корзина была до краев наполнена несъедобными консервами и химическими супами из пакетика, как вдруг я увидел у себя на запястье посиневшие следы зубов той женщины. Я быстро натянул поглубже рукав пиджака и понял, что, если понадобится, я могу врать Эстер в глаза хоть всю жизнь.

— Тебе нечего сказать? — спросила она.

— Температура, — сказал я.

— Если бы я хоть знала. Я думала, что сдохну там перед окном.

— Я сказал: у меня была температура. Я съел старый мелок, оставшийся от Юдит.

— Но почему?

— Так мне захотелось. Я хотел, чтобы поднялась температура и вот перестарался. С тебя достаточно.

— Я даже заходила в издательство, думала, может, там что-то знают о тебе, — сказала она, и у меня свело судорогой желудок.

— Больше не смей туда ходить! Поняла?! Я совершенно не нуждаюсь в опеке! Я сам разберусь со своими делами! — орал я, а она неподвижно на меня смотрела. — С меня хватит! Мама спрашивает, где ты был и когда ты придешь, теперь еще одна?! Хоть ты избавь меня от этого, поняла?! У меня была температура! Я съел мел, и поднялась температура, как в детстве, когда я хотел прогулять школу! Я хочу прогулять пару свиданий! Я никаких требований не выдвигаю, я просто хочу прогулять! Хоть в сортире́ пересидеть! Уяснила?! Не смей приставать ко мне с вопросами и не околачивайся под окнами! Я не спрашиваю тебя ни о чем! Я молчу и не интересуюсь, что у тебя была за жизнь, прежде чем ты угодила в дурдом! Я в дурдом не хочу, ясно?! Вот у меня жизнь, о которой можно спокойно рассказать! Ясно?! Не смей ошиваться перед моим окном, пока я не узнаю, кто твой отец! Пока я не узнаю, что в детстве он тебя оттрахал до шизы!

Скорее всего, он выехал из Бухареста, доподлинно известно, что по трансрумынской трассе. Скорее всего, были проверки на дорогах, доподлинно известно, что человек в военной форме не был старше его по званию. И, скорее всего, случилось это днем, но могло и ночью.

Человек в военной форме просто попросил техпаспорт, но двое штатских, которые его сопровождали, этим не удовольствовались. На их взгляд, не стоило столь горячо отстаивать конституционные права, после вчерашней аудиенции господин министр был недоволен. И, скорей всего, господин прокурор

был мертв, когда они сели в свою машину, при этом доподлинно известно, что кобальтово-белая "дакия" целых восемьдесят метров летела на ручнике.

Сперва Адел Фехер настаивала, чтобы ей разрешили открыть крышку гроба, затем она настаивала на вскрытии, наконец, она заговорила про ООН и конституционные права и приняла все меры предосторожности, чтобы ее не запрятали в сумасшедший дом. Она непрерывно писала письма и постоянно звонила за рубеж, только на линии вместо двух всегда находились трое, причем один из них молчал, как скала. Словом, когда стало совсем рискованно запрятывать ее в сумасшедший дом, двое мужчин в штатском помогли скорбящей вдове броситься ранним утром под скорый поезд.

Затем в план действий, вероятно, закралась какая-то ошибка, потому что представители органов опеки и попечительства только через неделю пришли за ребенком, заранее предупредив детдом в Марошвечи, что скоро прибудет новенькая шестилетка.

Прошло добрых полгода, пока директор набралась храбрости и вопреки указаниям свыше отдала Эстер Фехер седому старику, который раз в неделю появлялся ниоткуда в накрахмаленной рубашке и с тростью.

Мор Фехер-старший тоже жил в согласии с законом, но уже сорок лет не апеллировал к нему. Он, ссылаясь на причины личного характера, всего-навсего хотел забрать внучку, которую, также по причинам личного характера, впервые увидел на похоронах Мора Фехера-младшего. Мы сами не чистые венгры, всего наполовину, тем не менее, мы не женимся на румынских женщинах, даже если они протестантки, сынок.

Словом, через полгода товарищ Порумб решила, что, если пожилой джентльмен снова появится, с помощью небольшой канцелярской формальности можно уладить даже самое деликатное дело. В конце концов, в детдоме все равно, кого как зовут. И недавно прибывшая немая цыганская девочка стала новой Эстер Фехер, а настоящая Эстер Фехер могла собирать вещи. Правильное решение товарища директора было дополнительно простимулировано двумя серебряными тарелками для фруктов, мейсенским столовым сервизом на двенадцать персон, элитными часами "Шаффхаузен" в позолоченном футляре и тремя картинами Меднянски. По здравом размышлении товарищ директор поняла, что, если бы она была понастойчивей, наверняка могла бы получить гораздо больше, но было поздно.

Старик с ребенком сидел сзади, а мужчина, от которого пахло лошадьми, вел древнюю "победу", каждый километр мужчины меняли охлаждающую жидкость. Летели часы, асфальтированная дорога сменилась на грунтовую, позади остался Марош,

впереди зеленой шалью расстилались леса. Уже смеркалось, когда они прибыли в захолустье, которого даже на карте не найти. Я хочу пописать, сказала Эстер, стоя перед домиком на берегу озера, впервые за полгода она заговорила, это означало — новая жизнь начинается. С тех пор целых двенадцать лет ничего экстраординарного не происходило, поскольку бывшие полуаристократы-полувенгры-полуфилософы стали провинциальными фотографами, а заповедные леса и захолустные деревни, которых нет на карте, никого не интересовали.

Потом ошибка закралась в самые безошибочные расчеты, и престарелый философ слег, укрыв свое хрупкое тело шерстяным одеялом. Когда настал срок, старик попросил, чтобы Эстер позвала ветеринара, с которым они обычно играли в шашки и в дурака, причем в шашки звериный эскулап вечно проигрывал.

Сперва лошадиный доктор докончил дело, с которым Господь возился несколько дней, затем помог продать дом и ничего не попросил взамен, всего несколько книг из огромной библиотеки. Он даже разыскал того, кто занимается эмиграционными делами.

Если взять за образец товарища Феньо, то по сравнению с ним товарищ Вултур поступил вполне по-человечески. Из одного ящика он вынул загранпаспорт, в другой положил его цену, но этого недостаточно, сказал он, и закрыл на ключ обитую дверь, поскольку было ясно, раз кто-то за цену половины поселка покупает загранпаспорт, значит с ним можно делать все, что угодно. Он не просил многого, его давнишней слабостью была дефлорация. Но если он кого-то, пыхтя, облизывал, потом он этого человека не предавал. Не бойся, говорил он, в случае чего хортистские врачи аккуратно вычистят твою еврейскую писю, ангел мой.

Потом я приехала на Западный вокзал с чемоданом и одиннадцатью тысячами шестьюстами форинтами и села на скамейку возле пятого пути. На следующий день меня отвели в комнату милиции, а затем в больницу Ласло. Надеюсь, теперь тебе гораздо лучше.

Мы лежали на берегу искусственного озера. Уже стемнело, продавцы лангошей[1] и пива давно свернули продажу, только под чахлыми акациями оставалось несколько человек. Один папаша нырнул напоследок, чтобы покуражиться перед домашними, потом все стали собираться. Мужчины потушили костер, женщины сложили стулья и столики, дети выпустили воздух из матрасов, затем они погрузили вещи в две "заставы" и уехали. Мы

1. Лангош — жаренная в масле лепешка из дрожжевого теста.

остались одни. Я лежал на спине и искал на небе искусственные спутники, но сверкали только самолетные огни. Я боюсь летать на самолете, думал я. Наверняка страшно взлетать в небо, думал я. С давних пор человеку кажется, что в небе он будет ближе к Богу, думал я. Потом я подумал, что пассажиры этого самолета близки к Богу как никогда, поскольку на небе ни облачка.

— Я хочу, чтобы ты переехал ко мне, — сказала она.

— Ты же знаешь, что нельзя.

— Поверь, все возможно. Я не говорю, что сразу или что ты должен бросить маму. Я всего лишь хочу, чтобы мы жили по-человечески. Не только мы, она тоже.

— Только Христос умел воскрешать покойников.

— Я говорю не о покойниках, а о твоей матери. Она не пошевелится, пока есть тот, кто закроет дверь, и сходит за продуктами, и будет отправлять фальшивые письма. К тому же, думаю, она знает, что это ты их пишешь.

— Если бы она знала, я бы это понял.

— Возможно. А впрочем, сейчас речь о другом. Я хочу, чтобы ты позвал домой Юдит. Только она может тебе помочь.

Поднялся ветер, я укрылся шерстяным одеялом и молчал.

— В свое время я наводил справки о ней, но никто ничего не знал. Наверняка сменила имя.

— Цюрихский банк может сказать, с чьего счета отправляют деньги.

— Исключено. В тот же день они прекратят отправлять.

— У меня есть знакомые в Красном Кресте. Они найдут ее, точно тебе говорю.

— Возможно, найдут, но они не дадут мне адрес без ее согласия.

— Почему ты не хочешь найти ее? — спросила она.

— Наверное, хочу — сказал я.

— Если сомневаешься, значит, не хочешь, — сказала она.

— Нет же. Хочу.

— Чего ты боишься?

— Не знаю.

— Хочешь, я скажу чего?

— Конечно. Но от этого не легче.

— Ты видел?

— Что?

— Звезда упала.

— Я не видел.

— Отыщи и поезжай за ней. Не пиши, а поезжай.

— Хорошо, — сказал я и встал, затем зашел в воду, но глубоко зайти не осмелился, поскольку у меня было ощущение, что вместо песка под ногами рвота.

Однажды в вечерних новостях сказали, что будут выплачивать компенсации. Пока неизвестно, когда и сколько станков получат назад внуки Манфреда Вайса и внуки Гедеона Рихтера, непонятно, принесут ли Сибирь и пятьдесят шестой дополнительные выплаты пострадавшим, зачтут ли узникам концлагерей пребывание в Дахау, но что-то определенно будет, не сомневайтесь, дорогие телезрители. Даже тот факт, что мы обсуждаем данную тему в лучшее эфирное время, уже кое-что да значит. Можно сказать, вот она, долгожданная свобода. Словом, земли, и лесов, и замков, переоборудованных под тракторные станции, полным-полно, имущество ждет своих законных хозяев. Поэтому будьте любезны, достаньте с чердаков или из кухонных шкафов купчие и договора об аренде, а теперь переходим к прогнозу погоды — мама попросила меня принести ей "Лексикон" Реваи[1], "Комитаты Венгрии", всевозможные атласы и геральдические книги и принялась выписывать, что принадлежит ей. Маме было наплевать, что из окна какого-нибудь дворца открывается вид на заснеженные вершины Раднаи или на братиславский спальный район, ее не смущали ни границы, ни мирные пакты. Она выселяла музеи и распускала дома престарелых, она вносила в реестр все, что по ее представлениям когда-либо могло принадлежать Веерам, она написала целый список из давно перестроенных улиц, давно разрушенных во время бомбардировки заводов и давно обвалившихся шахт.

— Дай сюда калькулятор, сынок.

— Держите, мама. Поднесите под лампу, он работает только на свету, сказал я. И она подсчитала, сколько пшеницы родится на пятидесяти тысячах гектаров и сколько кубометров леса дадут половина Матры и четверть Баконя. Бессмысленно было объяснять ей, что у нас есть только эти восемьдесят квадратных метров и что даже у прабабушки было ненамного больше, а уж у бабушки и подавно, что один наш дворец находится за границей, а в другом разместили детдом. Я раздобыл необходимые формуляры и помогал их заполнять, хотя мамин паспорт был давно просрочен. Затем она положила в пакет многокилограммовый список размером с добротную семейную сагу, прилепила сверху какую-то старую марку, и я запер все это в ящик стола.

Затем на наш адрес пришел такого же размера сверток, вместо имени отправителя на нем было написано, чай готов. Сначала я хотел отправить его обратно, не вскрывая, но подумал, чем

1. Большой толковый словарь венгерского языка, выходил с 1911 по 1935 гг.

черт не шутит, приготовил кувшин мятного чая, раздобыл несколько пачек домашнего печенья и принялся за корректуру. Гораздо легче было бы, если бы Эстер помогала, но я не хотел, чтобы она снова имела дело с этой женщиной. Я не напоминал Эстер, что подошла пора отдавать рукопись на верстку, я читал свою книгу с транспарантом, как ученики начальной школы. На исправления ушло три дня, поскольку корректор не желала понимать, что, например, гдетыбылсынок — это одно слово, и что в сердитом восклицании Господибожемой первая буква заглавная — просто так, для приличия. Закончив работу, я отправил корректуру по почте бандеролью, но через несколько дней она вернулась, потому что вместо адреса издательства я написал Отделение компенсаций, и в Отделении абсолютно правильно решили, что без правильно заполненного формуляра мое требование о возмещении не примут к рассмотрению. Поэтому я взял несчастную корректуру и пошел на Андрашши, чтобы там запихнуть в почтовый ящик в подъезде.

— Наконец-то, — сказала она, открыв дверь.

— Он не влезал в ящик, — сказал я хладнокровно, поскольку сперва дождался, пока пройдет волнение, и только потом нажал кнопку звонка.

После второго звонка она выбежала из душа. Белый халат прилипал к искусственному загару, из-под белого полотенца, обмотанного тюрбаном на голове, еще текли капли по шее, но даже после мытья от каждой клеточки ее тела разливался все тот же терпкий миндальный запах, что и от маминых простыней в корзине с грязным бельем. Как будто они вдвоем потеют цианидом. Я достал из холодильника бутылку вина и принес из кухни два бокала, точно я был у себя дома, или у Эстер.

— Завтра я иду в театр. Пойдешь со мной? — спросила она, встряхнула пузырек, поставила ногу на тахту и стала покрывать лаком ногти на ногах.

— Я не хожу в театр, — сказал я.

— О, пардон. Я и забыла о твоих душевных травмах. Кстати, в следующий раз позвони бедной девочке, прежде чем исчезать на несколько дней. Как-то неловко, когда она ищет тебя в издательстве. Вдруг еще проговорюсь.

— Не смей, — сказал я.

— Кто мне запретит?! И вообще, мы не на вы? Я тебе в матери гожусь.

— Избавь меня от сравнений, — сказал я.

— Только не надо фамильярничать. Фамильярности я почему-то не люблю.

— Тогда в следующий раз представляйся, прежде чем раздвигать ноги.

— Не понимаю, зачем делать из этого проблему. Не ты первый трахаешься с любовницей своего отца. Пора научиться аккуратней обходиться с подобными вещами. По крайней мере, это не менее важно, чем английский.

— Возможно, во мне еще осталось что-то человеческое.

— Где-то я это уже слышала. Замечу, ты отлично чувствуешь, много ли в тебе осталось человеческого. Вспомнила: вчера я отправила в Париж ознакомительный перевод. Думаю, они издадут книгу. В ней столько трогательного целомудрия, что сегодня это кажется уже аномалией.

— Меня это не волнует, — сказал я.

— Разумеется, — сказала она.

— Мне лучше уйти, — сказал я.

— А, собственно, зачем ты пришел?

— Наверное, трахаться, — сказал я.

— Видишь, солнышко, опять я слышу что-то человеческое. Ни один кобель не скажет это своей суке с такой нежностью.

— Думаю, за это ты любила моего отца, — сказал я.

— Не смеши меня. Вот своего кота я любила. Но с ним было довольно проблематично трахаться. И маму твою любила, пока она не прокрутила моего кота через мясорубку. Кстати, из его прокрученного мяса она готовила вам детское питание. Папуля чистил морковку, я варила, мамуля крутила мясорубку. Четкое разделение труда.

— Мне действительно лучше уйти, — сказал я и встал.

— Как скажешь, солнышко. Иногда человеку полезно знать, насколько он может смотреть правде в глаза. Тем более я не слишком люблю вспоминать о прошлом.

— Кажется, я готов услышать правду, — сказал я.

— Тогда располагайся. У меня далеко не такое буйное воображение, как у тебя, хотя я стирала твои пеленки.

— Возможно, ты знала мою маму, возможно, ты даже спала с моим отцом, но я не верю, что ты когда-то стирала пеленки, — сказал я.

— Один год, четыре месяца и двенадцать дней я жила у вас, пусичек. Не скажу идиллия, но жили, и ничего.

— Интересно. Но я помню даже родильную комнату, — сказал я.

— Значит, ты наверняка помнишь, что, пока твоя мама пела рабочие песни в провинциальных домах культуры, а твой отец крапал в министерстве внутренних дел фальшивые свидетельские показания и протоколы допросов, кто-то подтирал ваши попки.

— Мой отец был критиком, — сказал я.

— Естественно, зайчик: это хорошее признание, а это плохое признание. Не расстраивайся, не он решал. Он был скромным сексотом. А дома отыгрывался. Если тебя это успокоит, товарищ Йордан похлопотал, чтобы твой папенька стал канцелярской крысой в МВД, только ради своей дочери. Чтобы ее классово чуждой подруге быстрее дали квартиру.

— Тогда, думаю, это ты устроила мою мать в театр.

— Не я, пусик. А вот меня через пару лет по милости твоей мамы уволили из всех театров. В принципе, это даже к лучшему, я никогда особенно не любила драмы. И ты тут ни при чем. Хотя что греха таить, меня саму удивляет, что с тобой так приятно трахаться.

— Ты смешная, — сказал я.

— Вижу, мы быстро перешли границы допустимого, — сказала она.

Что бы она ни сказала, меня это не волнует, думал я.

— В конце концов, это может быть просто материнский инстинкт, — сказала она и снова встряхнула пузырек.

Все равно. Не волнует, думал я.

— Твоя мама тоже не хотела смотреть правде в глаза. Скорей всего, от этого она и свихнулась, — сказала она и поставила на столик другую ногу.

Я больше никогда в жизни не ударю женщину, думал я.

— Если подуешь, быстрее высохнет, — сказала она.

— Поищи кого-нибудь другого, — сказал я.

— Сначала ты вроде бы за этим сюда пришел.

— Я передумал, — сказал я.

— Да ну, заинька. Сейчас у тебя будут грязные брючки.

— Выстираю, — сказал я.

— Передашь мне сумку? — спросила она, и я передал. Она минуту искала что-то и потом сунула мне в руку две батарейки "Голиат". — Немного мужской работы. Поставь в силикон. Он в ванной, — сказала она, и сперва я не понял, что такое силикон, но потом она пояснила, фаллоимитатор, солнышко.

Когда на рассвете я вышел на побитый ливнем проспект Андрашши, я все еще чувствовал что-то вроде дрожи, как у диких зверей — когда сломается ветка, или если ветер вдруг поднимет листву, но вскоре решил, что она хочет меня убить. Да, банально укокошить. Она что-то подмешивает мне в чай. Есть такой химикат, который нельзя обнаружить в лаборатории и который поздно действует, словно крысиный яд. Он убивает только через несколько дней, чтобы другие крысы не догадались, думал я, и больше уже не пил чай. Потом я еще подумал, что она больная. Да, у нее лейкемия. У таких женщин всегда

лейкемия. И она молчит, чтобы убрать с дороги Эстер. Скорее всего, она ненавидит Эстер почти как маму, думал я. Просто она пока что не искала встречи с ней, потому что очень подлая, думал я. Она хочет убийства, а не сцен, думал я, и, когда трое суток подряд я не мог заснуть, я пошел сделать анализ крови, а ведь последний раз, когда я позволял врачу дотрагиваться до себя, был еще в глубоком детстве.

И каждый раз я выходил из квартиры, как в последний раз, но не выдерживал дольше недели. Как наркоман в итоге приноравливается втыкать шприц, так и я научился подправлять бритвенным лезвием следы от ногтей на шее, чтобы выглядело, будто я поранился во время бритья. Я научился валить все на никогда не существовавших знакомых, несчастные случаи на дороге и на вагоны метро, вставшие в тоннеле из-за угрозы бомбардировки. Научился приводить себя в порядок в клозете "Балканской жемчужины" и, вылив на себя полфлакона крем-мыла, с помощью запаха хлорки отбивать терпкий миндальный запах.

— Это ужасно, от тебя опять пахнет хлоркой, — говорила Эстер.

— Тогда отмой меня, — говорил я, и, когда мы занимались любовью, она так визжала, что соседи думали, что я приставил ей нож к горлу, но до этого пока не доходило. И когда я узнал, что мой отец исчез не потому, что умер в результате несчастного случая — и не будем больше об этом, сынок, — а потому что забыл вернуться из Хьюстона, куда поехал сопровождать делегацию журналистов, хотя и был ответственным за то, чтобы все вернулись, и, когда я узнал, что незадолго до этого товарищ Йордан на деньги от продажи бумаг, украденных из бронированного шкафа, создал весьма и весьма прибыльное дело, но потом им заинтересовались в отделе по производству грампластинок, и товарищ Йордан — зная правила игры — застрелился из служебного пистолета, вот тогда Эстер спросила, ради бога, что стряслось, ты снова выглядишь так, будто съел мелок.

Так нельзя жить, так даже животные не могут, думал я. Я немедленно расскажу весь этот кошмар, думал я. Когда я вышел из подъезда, я увидел Эстер, она сидела напротив, на террасе кафе "Артист". Она даже не взглянула на меня, положила деньги на стол и кинулась прочь, и я не смог догнать ее. Всего на мгновение у меня закружилась голова. Так бывает, когда человек слишком резко останавливается. Затем уснули фонари на улице и огни витрин, умолкли машины, и под ногами исчез тротуар. Я просто провалился в темный, как ночь, водоворот, точнее, что-то провалилось, и не как ночь, потому что ночью еще что-то видно. Из Оперы как раз выходили люди. Один мужчина сказал,

оставь, он пьян, но другой поднял меня и нащупал сонную артерию.

— Надо вызвать "скорую", — сказал он.

— У меня нет мелочи, — сказал другой, затем я услышал женский голос: у меня есть, и пока она рылась в ридикюле, я уже прозрел, правда, все было черно-желтым, как после фотовспышки, выстрелившей в глаза.

— Не надо, — сказал я и попытался подняться.

— Не двигайтесь, мы сейчас вызовем врача, — сказала женщина.

— Не надо, — сказал я и, цепляясь за чью-то руку, с трудом поднялся на ноги.

— В таком состоянии он не дойдет, — сказал мужчина.

— Пустите! — сказал я и вырвал руку.

— Какая глупость! — услышал я женский голос, но я уже бежал, и, когда удостоверился, что они не гонятся за мной, я отдышался перед каким-то подъездом.

Я пешком дошел до улицы Нап, как будто эти полчаса что-то решают, как будто за это время может случиться чудо. Надо было позволить им вызвать "скорую", думал я. Наверняка она бы пришла в больницу, думал я. Когда ставят капельницу, подобные вещи не играют роли, думал я, затем кто-то заорал на меня из машины, мать твою за ногу, ты что, ослеп?! А если сейчас начнут стрелять, думал я. Если русские перестреляют весь Будапешт, думал я. Когда в любимого стреляют, не до ревности, думал я. Тогда забываешь обо всем и тащишь его, раненого, в подвал.

Она ничком лежала на матрасе.

— Мне противна эта женщина, — сказал я, но она не отреагировала. Зажегся фонарь на улице, хотя лучше бы я ничего не видел. — Я ненавижу ее, поняла? Просто не могу бросить, — сказал я, и только тогда она открыла глаза.

— Что забросить? — спросила она сонно и протянула руки, чтобы я обнял ее. — Я уж думала, ты не придешь сегодня, — сказала она, и тогда до меня дошло, что на ней нет ее светло-серого платья.

Прежде чем прийти к Йордан в последний раз, я долго и тщательно составлял заключительную речь. С точностью инженера, вооруженного транспортиром и линейкой, я просчитал место для каждого слова и для каждого движения, заранее сочинил и выучил все фразы. Перед дверью я еще раз повторил все, выдохнул и затем позвонил. По моему плану, этот визит ничем не должен был отличаться от предыдущих.

Она собиралась на какой-то фуршет в посольство, пригласила меня пойти с ней, один светский раут не нанесет вреда здоро-

вой половой связи, убеждала она. Она рассказывала о каких-то текущих делах, достала из ящика стола пистолетную пулю, которая попала в стену, прежде чем раздробить череп товарища Йордана. Пуля была вправлена в серебро, золото Эва не любила. Одно время она носила ее как своеобразный сувенир в память о смерти, тогда она еще была склонна к сентиментальности. Кстати, думаю, гораздо сложнее вправить использованный патрон, чем, например, с помощью двух рабочих сцены украсть со склада несколько сносных декораций, заявила она. Конечно, она знает, что мне в жизни досталось не меньше, чем ей, но отчего-то не может забыть прошлое. Наверно, еще один раз, если ты заслуживаешь, сказала она. Можете быть уверены, сейчас заслужу, сказал я и схватил ее груди, пахнущие цианидом, и, пока стаскивал с нее тряпки, снова повторил про себя все и затем встал.

— Если честно, ты мне противна, — сказал я. — Думаю, когда мы начинали играть в животную страсть, ты рассчитывала заполучить что-то вроде домашнего животного. Но вместо фокстерьера ты подобрала гиену, — сказал я. — Если не можешь удовлетворить себя в одиночку, я охотно пришлю тебе кого-нибудь. Возможно, ты еще успеешь на фуршет, — сказал я и надел пиджак.

— Ты сам себе противен, золотко, но все не так просто. Ты даже не представляешь, сколько всего человек может простить собственной писькe, — сказала она, и даже на лестничной площадке я слышал ее натянутый смех.

— Гдетыбылсынок?

— По сути, с вами, мама.

В районе еще никто не видел ее, но слышали о ней все. Говорили, что эта девушка не что иное, как новое сенсационное чудооружие, для жизни опаснее напалма, и где ее бросят в атаку, там начинают звенеть кассовые аппараты, люди расхватывают нижнее белье, как в сорок четвертом хватали гитлеровскую солонину. Домохозяйки тайком откладывали деньги, покупали теперь свиные сосиски вместо куриных, или чаще экономили на воскресных печеночных паштетах, лишь бы скопить деньги на чудо-комбидрес. На груди кружева, внизу заклепки, и сколько браков, находящихся на грани, пытались реанимировать с помощью этого комбидреса. Потом в понедельник утром появились постеры на витринах пассажа "Золотой паук", и, поскольку приходилось ждать, люди толпились перед Наоми, снятой в натуральную величину. Наоми с неподвижным лицом улыбалась всем: от сисястой шлюхи до субтильной фифы, но кассовые аппараты безмолвствовали, поскольку выяснилось, что, для того чтобы получить комбидрес, нужно еще минимум

полгода отказывать себе в воскресных печеночных паштетах. Дядя Лигети подобрался к Наоми ближе, чем остальные, потому что его девушка работала кассиршей в Уйпеште, так ему удалось заполучить Наоми в натуральную величину. Когда они с господином Вертешем постелили постер на пол и на четыре угла поставили несколько пивных кружек, чтобы он не сдвигался, Йолика фыркнула — ничего путного из этого не выйдет. Однако вскоре некоторые посетители стали вставать на стол, так им было лучше видно Наоми, многие требовали, чтобы Йолика принесла скотч и прилепила заморскую красотку на стену вместо рекламы уникума. Тогда Йолика взяла помойное ведро и выплеснула его содержимое на Наоми, разодрала постер и закричала, если кто хочет пялиться на эту шалаву, пусть убирается на площадь, а она закроет на хрен эту пивнушку, потому что больше видеть их рожи не желает.

— Успокойтесь, — сказал я, и она стерла с заморской дивы остатки помоев.

— Молчите, а то я и вас вышвырну, — сказала она и схватила с моего стола пепельницу. — Чего они себе вообразили?

— Просто она им понравилась, — сказал я.

— Вонючая эфиопка, — сказала она.

— О вкусах не спорят, — сказал я.

— А вы бы, что, потерпели? Да, она красивая, но я не об этом. Это не беда. Я все понимаю. Но вы видели, какие у них были рожи? Да они чуть не вытащили свои причиндалы из семейных трусов. Зачем он сюда приволок эту дуру? Пусть несет к себе в квартиру. Неси домой к жене и лепи на стену клеем "Момент".

— Вы правы, Йолика, — сказал я, потом посидел еще немножко, послушал "Южную хронику" и только потом заставил себя вскрыть наконец посылку, которую еще утром принес с почты.

Никаких чувств я не испытывал. Книга была точно такой, какой я ее себе и представлял, но почему-то не была похожа на настоящую. На такую, какую можно поставить в библиотеке на букву В или которой, скажем, можно подпереть шатающийся шкаф, если выпадет паркетина. Я вытащил из кошелька бритвенное лезвие и вырезал предпоследнюю страницу из одного экземпляра, поскольку не хотел, чтобы мама узнала, кто составитель.

— А это что такое? — спросила Йолика.

— Это подарок на Рождество, — сказал я, вопрос был довольно неожиданным, и ничего умнее мне в голову не пришло.

— Рановато, — сказала она.

— Не люблю носиться по магазинам в последний день, — сказал я, быстро запаковал авторские экземпляры обратно в оберточную бумагу и заплатил.

– Гдетыбылсынок?

– Вышла моя книжка, мама.

– Меня это не интересует, сынок, – сказала она и продолжила смотреть мыльную оперу, которую показывали в пятницу вечером. Я молча положил экземпляр, подправленный лезвием, на стол, закрыл дверь и стал подслушивать из прихожей. Через пару минут заскрипели пружины в кресле, и ко вздохам аргентинских или бразильских служанок присоединилось шуршание растревоженных страниц. Потом я услышал, как она листает их одну за другой. Я знал, что сначала она остановится на тридцать четвертой, где начинался рассказ *Об истории театрального искусства*, ее любимый.

Я налил себе чашку кофе и весь день сочинял, как мне подписать книгу Эстер. После многочисленных черновиков вышло что-то мыльнооперное, потом из всего я оставил только два слова – *Моей жене*, мне казалось, ее должно это обрадовать. Я купил розу на площади Кальвина и пришел в библиотеку незадолго до закрытия, но одна ее коллега сказала, что она три часа назад ушла с немолодой женщиной с рыжими волосами, а я ответил, спасибо.

Я отправился на Андрашши к Йордан, но там их не было, в животе у меня урчало, я выпил кофе в "Артисте" и съел пирожное. Цветок я отдал официантке, в благодарность за хорошее обслуживание. Она запомнила, что я не кладу в кофе сливок, а пью его с тридцатью миллилитрами содовой. Официантка сказала, что раньше она думала, будто я самый флегматичный мужчина во всем городе. А я сказал, что думал о ней то же самое, разумеется, не то, что вы – мужчина, а то, что прежде вы ставили передо мной заказ, не говоря ни слова, а сейчас оказалось, с вами можно очень славно поболтать. Мы рассмеялись.

Я положил книгу в карман, поскольку в любом случае хотел подарить ее Эстер и пешком пошел на улицу Нап, чтобы у них было время поговорить, если они там. Наверно, никогда в жизни я не испытывал такого ощущения легкости. На Ракоци какая-то шлюшка спросила меня, не хочу ли я перепихнуться, а я сказал, мне мама не разрешает, потом дал ей закурить, и мы разговорились. Оказалась очень милая девочка, врала, что будет промышлять, пока не накопит на домик с садом где-нибудь в районе Векерле, а я врал, что пишу театрально-критические статьи, чистых тысячу платят, если пишу про комедию, и тысячу пять – если пишу про трагедию, но трагедии я не люблю, я хохмач по природе. Я бы еще с удовольствием потрепался, но тут возник сутенер, и девочка попросила, чтобы я поскорее смылся с панели, раз не хочу трахаться.

Эстер бросилась мне на шею и расцеловала. Я был весь в помаде, за все годы я не видел на ней столько краски.

— Дай же сюда, — сказала она и стала рыться в моем кармане, потом я смотрел, как она прыгает на матрас и долистывает книгу до конца, нюхает ее, ощущая запах клея и типографской краски. Затем она увидела надпись *Моей жене*, которую я забыл вырезать.

— Это предложение? — спросила она, и из-под слоя краски закапали черные слезы.

— Нет, я забыл поставить в конце вопросительный знак, — сказал я, чувствуя, как от стен отделяется терпкий миндальный запах.

— Но я могу надеяться?

— Сначала давай поищем священника, который согласится обвенчать двух неверующих.

— Кажется, я начинаю верить, — сказала она, бросилась мне на шею и зарыдала, но даже ее кожа впитала запах этой женщины.

— Ты рада? — спросил я.

— Ты разве не видишь? Что мне сделать, чтобы ты заметил?

— Например, встать в ванну, чтобы я смыл с тебя всю эту краску, — сказал я.

— Не сейчас. Нам надо спешить.

— Куда? — спросил я.

— К девяти мы идем в ресторан. Ты тоже приведи себя немного в порядок. Представляешь, сегодня в библиотеку пришла редактор твоего издательства и позвала на ужин, — сказала она, снова расцеловала меня, и побежала в ванную, чтобы подправить макияж.

— Ага, — сказал я.

— Она ушла около часа назад. Мы долго разговаривали о тебе.

— Правда? — спросил я и стал смотреть из дверей, как она старается ровно покрасить ногти. У нее не было навыка, лак все время ложился на кожу.

— Кстати, очень милая женщина. Не знаю, отчего она тебе не понравилась.

— Возможно, — сказал я.

— Она считает, ты настоящий гений. Только беспокоится, что ты не говоришь по-английски, без него сейчас никуда. Еще она попросила, чтобы я стояла с плеткой за твоей спиной, потому что лишь в этом случае ты слушаешься.

— Возможно, — сказал я.

— Никаких возможно, она совершенно права. Надо раздобыть отличную плеточку, — сказала Эстер и подула на ногти,

чтобы лак высох побыстрее. — Она сказала, не исключено, что тебя скоро издадут по-французски и, может быть, по-немецки.

— Не верится, — сказал я.

— Очень даже верится, только ты не зазнавайся, — сказала она и хотела поцеловать, но вспомнила, что тогда снова смажется помада. — Что мне надеть?

— Ничего, — сказал я.

— Ну не идти же мне в комбинации. Принесешь черное с кружевными рукавами?

— Не принесу, — сказал я.

— Пожалуйста, нам надо спешить. У меня еще липкие ногти.

— Мы никуда не идем, — сказал я и увидел, как у нее каменеет взгляд.

— Она ждет к девяти, — сказала Эстер, и мы неподвижно уставились друг на друга в зеркало.

— Меня не волнует, до скольких она прождет. Ты не сядешь за один стол с этой женщиной.

— Ну да, — сказала она, и поставила косметичку на полку, и все еще следила за тем, чтобы не смазать лак.

Несколько минут мы сидели не шелохнувшись. Лучше бы зеркало разбилось, лучше бы разорвало в клочья нас обоих, думал я, но ничего не произошло. Стояла гробовая тишина, было даже не слышно, как стучат наши сердца.

— Бесполезно, — сказал я, только для того чтобы прервать это невыносимое затишье. — Полгода, — сказал я, и мы продолжали неподвижно смотреть друг на друга в зеркало.

— Я тебя не спрашивала, — сказала она, потом взяла полотенце и стерла макияж, и лицо у нее было, как у покойника.

— Я собирался рассказать, но побоялся.

— Тогда не рассказывай, — сказала она.

— Да мне, собственно, нечего рассказывать! Я ненавижу эту женщину! Ненавижу, с тех пор, как услышал ее голос. Вот и все!

— Не кричи, — сказала она.

— Меня полгода тошнит от всего этого!

— Понимаю, — сказала она.

— Это ты меня туда отправила! Тебе нужна была эта хренова книжка! Мне она была совершенно не нужна! Мне было нужно, только чтобы ты любила своего писателя!

— Понимаю, — сказала она.

— Не понимаешь! Зачем ты отправляла меня к папашиной подстилке?! Ты должна была знать! Да, ты отлично знала!

— Я не знала, — сказала она.

— Не ври! Это ты хотела! Хотела замарать меня, чтобы я у тебя ничего такого не искал! Я никогда не трахался за загранпаспорт и никого не убивал!

— Понимаю, — сказала она.

— Конечно, понимаешь, ты, убийца! Кто позволяет усыпить своего деда, тот настоящий убийца!

— Да, — сказала она.

— Ты закопала деда, как ублюдка! Чтобы не ухаживать за ним! Я забочусь о своей матери! Чего вылупилась, ты, говно на палочке! Меня ты не замараешь! Сказал тебе, чего вылупилась!

— А теперь уходи, — сказала она, и тогда я ударил ее по лицу, у нее на губе выступила кровь, но она не шевельнулась. Она стояла и смотрела на меня, точно на какой-то металлический предмет в кабинете врача, на плевательницу или на медицинские щипцы, и тогда я выбежал из квартиры.

Ночью кто-то начал колотить во входную дверь. Когда я вышел из комнаты, мама, застыв, как изваяние, стояла в прихожей и сжимала молоток, привязанный за веревочку, который обычно лежал возле вешалки.

— Я запрещаю тебе открывать, — сказала она.

— Уйдите, мама, — сказал я и думал, что Эстер набросится на меня, но она обрушилась на маму.

— Сдохните уже, вы, мразь! Отдайте мне сына! — заорала она и повалила маму на пол. — Подохните, наконец! — рыдала она, и мне едва удалось вырвать молоток у мамы из рук, затем я кое-как разнял их.

— Уведи ее отсюда! Вышвырни ее отсюда немедленно! — орала мама.

— Уйдите в комнату! — сказал я.

— Уведи! Я требую, выкинь ее на улицу!

— Отдайте сына! Отдайте! Я не хочу, чтобы он трахался со старыми суками, вроде вас! Я хочу жить! — рыдала она. Мама сжалась, как кошка перед прыжком, и скрючила пальцы, чтобы выцарапать ей глаза.

— Убирайтесь к себе! — заорал я, затолкал маму в комнату и подпер дверь коленкой. Эстер схватила меня за голову и рухнула на пол.

— Что ты хочешь от меня?! — спросил я.

— Вышвырни ее из моего дома! — орала мама и царапала дверь.

— Если не замолчите, я вас выкину на улицу!

— Вы больные! — рыдала Эстер.

— Прекрати и ступай домой, — сказал я.

— Твоя мама больна, пойми же! — рыдала она, обнимая мои ноги.

— Молчи, — сказал я.

— Несчастная!

— Заткнись! — сказал я. Мама снова начала царапать дверь и все твердила, чтобы я вышвырнул Эстер из дома.

— Напрасно ты ходишь к папашиной подстилке! Ты не свою мать унижаешь, а меня! Только меня ты унижаешь!

— Я только себя унижаю!

— Господи, за что ты хочешь убить меня?!

— Убирайся!

— Ты не понимаешь, что я люблю тебя? Одна я тебя люблю!

— Я сказал заткнись!

— Тебя все ненавидят! Или боятся, или ненавидят! Тебя даже собственная мать ненавидит! Ты даже своей старшей сестре не нужен, ты только мне нужен, как ты не понимаешь?!

— Нечего меня любить! Убирайся отсюда! — заорал я и с трудом вытолкал ее из квартиры. Какое-то время она всхлипывала на лестничной клетке, так скулит побитая собака. Затем наступила тишина.

Когда я пришел к ней на следующий день, я хотел развернуться тут же в дверях, но не смог. Все стены были завешаны страницами моей книги, моими рассказами была обклеена мебель, кафель, и ванна, и зеркало. В страницы из моей книги были завернуты стаканы и дверные ручки, сквозь них тускло просвечивало солнце, и только ведро с обойным клеем одиноко торчало посреди комнаты, да груда обложек валялась рядом. Она спала на кафельном полу в кухне, на ней был какой-то черный шелковый костюм, ее волосы были отрезаны до плеч и перекрашены в тот же блондинистый цвет, что и у мамы.

— Только я, — сказала она, когда я разбудил ее, но ее губы едва шевелились. Пока я звонил санитарам, она встала на колени и срезала хлебным ножом остатки своих роскошных локонов.

— Что вы с ней делали?

— Ничего, — сказал я.

— Попробуйте вспомнить, — сказал он.

— Я хочу пойти к ней, — сказал я.

— Пока я здесь врач, вы не войдете в эту палату.

— Сколько вы хотите? — спросил я.

— У меня огромное желание вышвырнуть вас вон, как мешок дерьма, — сказал он.

— Это будет несложно, — сказал я и встал.

— Сядьте, где сидели, — сказал он. И я подчинился.

— Что вы хотите знать? — спросил я.

— По возможности все.

— Это охренительно много, — сказал я. — Для этого вы росли в слишком приличной семье.

— Избавьте меня от своего грязного юмора.

— Сначала я хочу пойти к ней.

— Бесполезно. Она не может говорить. Поэтому я вынужден спрашивать вас.

— Что вы с ней сделали? — спросил я.

— Мы ничего. А вот вы сделали. Но, к сожалению, я могу защитить ее от вас, только пока она лежит в моем отделении.

— Удивительно, как вам удается, еще толком ничего не спросив, уже все знать. Она не наркоманка, если это вас интересует.

— Меня интересует, как вы жили, — сказал он.

— Как животные, — сказал я. — Вообще-то я люблю ее.

— Не смейте употреблять это слово. Боюсь, у вас нет ни малейшего представления о любви.

— Возможно, — сказал я. — В следующий раз постараюсь выразиться по-другому.

— Как давно вы живете вместе?

— Мы не живем вместе. Я живу с матерью. Кстати, она тоже сошла с ума.

— Что с вашей матерью?

— Пустяки. Она заживо похоронила свою дочь, затем захотела потрахаться с сыном, но у него не встал. С тех пор она заперлась в комнате и пятнадцать лет не выходит на улицу.

— Прекратите.

— Я сказал, что для всего этого вы росли в слишком приличной семье.

— Смените тон.

— Пустите меня к ней! Пустите немедленно, вы, дипломированный палач! — заорал я и перепрыгнул через стол. Я рывком схватил его за грудки, стащил с него халат и прижал его голову к истории болезни. Я чувствовал, что его череп вот-вот треснет под моими пальцами, что в следующее мгновение вырву из его черепа мозг и запущу им об стену, словно это дерьмо. Три медсестры вбежали в комнату и скрутили мне руки, связали ноги и оттащили от стола. Я все орал, пустите меня к ней, не смейте лечить ее электрошоком, а то я разнесу к черту эту больницу, урою всех местных палачей, если вы хоть пальцем до нее дотронетесь, завалю тут всех психиатров, если они попробуют выжечь меня из ее мозга электрошоком. Сестры молча стояли посредине комнаты вместе со мной, обступив меня, точно мешок цемента, и ждали, что скажет врач — резиновая комната или укол. Когда я совсем охрип и не мог больше кричать, врач сказал им: оставьте нас, уходите и не беспокойтесь, возможно, теперь мы наконец сможем поговорить по-человечески.

Мне дали стакан воды, и я рассказал все, о чем в принципе можно было рассказать. Иногда он перебивал и спрашивал, чего именно я ждал от поддельных писем, чего я боялся, когда моя мать захотела выйти из квартиры, и почему столько лет Эстер молчала о своем прошлом, в общем все то, о чем человек спрашивает сам себя и на что не имеет смысла отвечать, потому что вымученные ответы хороши, только для того чтобы понять, почему Йолика поливает помоями Наоми Кэмпбелл, но не для того, чтобы понять, почему человек поливает помоями своих близких. Затем он выписал два лекарства, и я пообещал, что буду их принимать, но большего не ждите: я уважаю вашу профессию, но лечиться у вас не буду.

— О чем вы? — спросил он.

— Я знаю о себе пусть не так много, но вполне достаточно, — сказал я.

— Одному вам трудно будет справиться, — сказал он.

— Я справлюсь, — сказал я.

— Уверены? — спросил он.

— Да, — сказал я.

— А если не получится? — спросил он.

— Пошлю все к черту, — сказал я.

— Только эту женщину оставьте в покое, — сказал он.

— Хорошо, — сказал я.

— Прекратите половые сношения, — сказал он.

— Хорошо, — сказал я.

— Оптимально будет, если вы вообще прекратите видеться, — сказал он.

— Тогда мы оба подохнем, — сказал я.

— Уверены? — спросил он.

— Да, — сказал я.

— Но это же не любовь, это навязчивая идея, — сказал он.

— По сути, любовь — это навязчивая идея, — сказал я.

— Поэты часто ошибаются, — сказал он.

— Я писатель. Но писатели тоже ошибаются, — сказал я.

— Переезжайте от матери, — сказал он.

— Попробую, — сказал я.

— Думаю, вы не отдадите ее в психиатрическую больницу, — сказал он.

— Никогда, — сказал я.

— Понимаю, — сказал он и попросил, чтобы я навестил Эстер завтра.

— Гдетыбылсынок?

— Красил квартиру, мама.

Соседи по палате заверили ее, что у нее все в порядке, что у нее получится, и она медленно встала. Женщина напротив просто писалась по ночам, но та, что у окна, уже восемь лет не осмеливалась дотронуться до своего ребенка, поскольку боялась, что одним прикосновением убьет его. В общем-то она была отличная мать: наряжала рождественскую елку, ходила на родительские собрания и, если муж не успевал, провожала дочку в школу. По улице они шли рядом, чуть ли не держась за руки, и теперь она с нежностью уговаривала Эстер, встаньте, красавица моя, вам уже лучше, не заставляйте волноваться этого несчастного человека, смело держитесь за его руку. Я накинул на ее халат мое пальто, и мы пошли в парк, только там разрешалось курить. На этот раз она была не такая слабая, как после аборта, естественно сейчас у нее болела только душа, тело было в норме.

— Ты в порядке? — спросила она.

— Да, — сказал я.

— А мама? — спросила она.

— На следующий день она уже ничего не помнила, — сказал я.

— Это хорошо, — сказала она. Осень зашуршала под нашими ногами, потом мы сели на скамейку. Стояла солнечная погода, посетители спешили по дорожке к корпусу Б, хотели повидать своих мягкосердечных близких.

— Я не хотел о твоем дедушке... Словом, я не хотел этого говорить.

— Знаю, — сказала она. — Ты принес чистое белье?

— Конечно, — сказал я, мы замолчали. Возле корпуса Б муж и жена пытались поднять по лестнице инвалидную коляску, но у них не получалось. Наконец мужчина взял старика на руки, а женщина затащила пустую коляску, так они шли до лифта.

— Я покрасил квартиру, — сказал я.

— Спасибо, — сказала она.

— С мебели и с окон не получилось до конца соскрести, — сказал я.

— Я доделаю, — сказала она и пошевелила мыском тапочка. Мне казалось, она хочет раздавить жука, но она только отодвинула листву, чтобы жуку не пришлось переворачиваться. Было все же не так невыносимо, как когда она обдирала почки с веток.

— Пойдем, ты замерзнешь, — сказал я, просто чтобы сбежать от тягостных мыслей.

— Конечно, — сказала она и смяла наполовину выкуренную сигарету, затем мы вернулись в палату.

— Завтра я постараюсь прийти пораньше, — сказал я.

— Как тебе удобнее, — сказала она. И я укрыл ее одеялом.

Вскоре ее выписали. Через несколько недель мы впервые заговорили о том, что случилось. Сначала я приходил раз в три-че-

тыре дня, потом стал приходить только по понедельникам во второй половине дня. Мы пили чай, я читал свои новые опусы и критические статьи о моей книге, иногда я приносил вино, но пить мог только я, поскольку она еще принимала лекарства.

— Как мама? — спросила она.

— В целом нормально, — сказал я. — Теперь она боится, что я сдам ее в крематорий. Она видела какой-то научно-популярный фильм, в котором показывали, как садятся мертвые в печи.

— Ага, — сказала она и положила сахар в чай. И я не сказал ей, что она кладет сахар уже в третий раз.

— Ты встречался с этой женщиной? — спросила она.

— Нет, — сказал я.

— Ну да, — сказала она.

— Нам обязательно об этом говорить? — спросил я. У меня громко заурчало в животе.

— Нет, — сказала она и принесла пакет печенья.

— Из Красного Креста пока не отвечают? — спросила она.

— Пока нет, — сказал я и встал, чтобы уйти. Я хотел поцеловать ее, но вспомнил, что это тоже элемент полового сношения, поэтому лучше не стоит, и, прежде чем отправляться домой, зашел на фречч в "Балканскую жемчужину".

— Это вы? — спросила Йолика и положила передо мной газету. Она держала палец на плохо пропечатанной фотографии, словно на спинке жука, у которого вот-вот хрустнет панцирь.

— Да, — сказал я.

— С каких пор вы писатель? — спросила она.

— Точно не знаю, — сказал я.

— Этому учат где-нибудь?

— Нет. Думаю, нет. Может, в Америке, — сказал я, потом заплатил и пошел домой. Пришло письмо из французского издательства, и я хотел выбросить его вместе с рекламными газетами, но потом подумал, что это будет забавно, и прочитал их условия, и написал, что у меня нет возражений, ваше предложение большая честь для меня, и спасибо. Затем я написал маме письмо, из Мальме, потому что на следующий день один мой знакомый отправлялся в Мальме. "Уважаемая мама, если вы хотите меня видеть, пусть вам не закрывают глаза", — написал я и смял бумагу, поскольку вспомнил, что писать надо левой рукой и что в Мальме у меня будут три выступления.

Прошлый год был относительно спокойным. Была девушка по имени Ноэми, с которой я иногда спал. Хорошая девушка, хотя ничего особенного. Мы познакомились на приеме, она носила подносы с шампанским. Мама не знала о ней.

С Йордан я встретился один раз в "Шкала Метро", я искал подарок к Рождеству для Эстер. Она сказала, чай уже остыл, я сказал, ничего страшного.

Когда пришло письмо из Красного Креста, я сунул его в карман и отправился к Эстер, но вспомнил, что сегодня среда, а мы привыкли встречаться только по понедельникам. Потом я подумал, что по такому поводу я могу пойти в виде исключения, и уже собирался позвонить, но услышал из-за двери посторонний голос. Какое-то время я прислушивался, они просто разговаривали. Мужчина рассказывал что-то про Альфа Центавра. Голос Эстер я едва слышал. С лестничной площадки какая-то старушка закричала, молодой человек, кого вы ищете. Поэтому пришлось уйти. Я пошел в кино, показывали какой-то экшн. "Расчленитель трупов", или что-то в этом духе, было весьма захватывающе.

После кино я вернулся, но их уже не было дома.

Я боялся, что Юдит где-то здесь, в Европе. Да, она вполне может жить даже в Вене, думал я, и от этого все медлил, не вскрывал конверт. Я боялся, а вдруг мне уже завтра придется садиться в поезд? В глубине души я надеялся, что ее не найдут. Хотел ли я ее видеть? Не знаю. Не так-то это просто, спустя полжизни стучать в дверь к человеку, чей почерк даже мама неспособна отличить от моего. Столько воды утекло, нас разделяли режимы, океаны и государственные границы. Я хотел подождать хотя бы до понедельника, чтобы не быть одному. Но вечером я набрался храбрости и вскрыл конверт и, когда я прочитал, что ее похоронили в Ницце десять лет назад, с облегчением вздохнул.

На следующий день я заказал в библиотеке Сечени старые французские газеты, и из подстрочного перевода одной консультантки узнал: мир с содроганием воспринял скорбную новость — вчера вечером после концерта Паганини прославленная скрипачка Ребекка Веркхард в возрасте неполных двадцати пяти лет, перерезала себе смычком вены на запястье. Экспертиза продолжается, похоронами занимается Нью-Йоркская звукозаписывающая компания.

— В основном все. Есть некролог, но он длинный, — сказала она.

— Оставьте, — сказал я.

— Хотите копию? — спросила она.

— Не хочу, — сказал я.

— Я могу унести? — спросила она.

— Еще минуту, — сказал я и равнодушно посмотрел на пожелтевшую, плохо пропечатанную фотографию. На фото

Юдит была точной копией Ребекки Веер в двадцать пять лет. Она точно знала, почему берет имя матери.

В понедельник я пошел к Эстер. Она сказала, что я спокойно мог позвонить, они пили чай с одним знакомым. Он вроде как астроном, уже несколько недель регулярно посещает библиотеку, там они подружились, а я сказал, конечно, я не из-за него ушел, а потому что мы уже привыкли к этим понедельникам.

— Поезжай в Ниццу, — сказала она.

— Могильные памятники есть и поближе, — сказал я.

— Ты сам знаешь, что надо поехать, — сказала она.

— Ты тоже не едешь домой. Хотя могла бы уже, — сказал я.

— Это совершенно другое. Возможно, потом когда-нибудь, — сказала она.

— Если хочешь, я поеду с тобой, — сказал я.

— Никому из нас от этого лучше не будет, — сказала она. — И ты не можешь надолго оставить маму.

— Конечно, — сказал я и подумал, что сравнивать расстояния от Восточных Карпат до Будапешта и от Западной Ривьеры до Будапешта — это все равно что сравнивать расстояния от кратера Бойяи до Земли и от Альфа Центавра до Земли.

— Мне незачем ехать. Для меня она давно умерла, — сказал я.

— Знаю, — сказала она.

— Лучше было, пока мы ничего не знали наверняка, — сказал я.

— Реальность всегда лучше, — сказала она.

— Конечно, — сказал я. — Единственное, что больно, ведь этот смычок был моей идеей.

— Скорее всего, она не вспомнила об этом, — сказала она.

— Конечно, — сказал я. — И еще паршиво, что наш отец помог ей выехать. Обидно, что она не рассказывала о нем.

— Глупость. В последний раз она видела вашего отца тогда же, когда и ты. Завидуешь, что у нее хватило смелости сесть на грузовой корабль?

— Я не завидую, а знаю, что наш отец помог ей выехать. Последние десять лет он высылает месячное содержание.

— Тебе неоткуда это узнать, — сказала она.

— Ну как же, есть откуда, — сказал я.

— Ах, да, — сказала она и затем спросила, как дела у мамы, а я сказал, в целом неплохо, только эта боязнь кремации меня уже достала, а еще мама снова поверила в Бога. Я допил чай и, стоя в дверях, снова спросил, если я все-таки поеду в Ниццу, поедет ли она со мной, а она сказала, никому из нас от этого лучше не будет, но потом поцеловала меня в лоб.

— Что это за шум, сынок?

— Это музыка, мама.

— Выключи немедленно. Я хочу спать.

— Успеете, завтра вам никуда не идти, мама.

— Я выброшу этот проигрыватель.

— Что вы прицепились? Завтра вы все равно ни о чем не вспомните, мама.

— Я не потерплю, чтобы ты так разговаривал со мной!

— Мы пятнадцать лет так разговариваем, почему же сейчас вы не хотите потерпеть? Принесите чашку чаю, послушаем музыку, а если выглянете в окно, увидите луну.

— Ты не человек! Ты такая же мразь, как и твоя младшая сестра!

— Старшая сестра. Могли бы уже запомнить, хотя бы ради меня. Кстати, а почему вы никогда не пытались покончить с собой, мама?

— Подонок! Лучше бы вы сгнили у меня в животе! Но Бог каждому воздаст по заслугам, послушай старую мать! Бог тебя покарает, сынок!

— Возможно. Пусть попробует. В самом деле, какого хрена вы не покончите с собой, мама?

— Убирайся из моего дома!

— С удовольствием, но тогда вы сдохнете от голода. Без меня вы даже кран неспособны открыть, мама.

— Сердце!.. У меня болит сердце!

— Успокойтесь, мама, у вас нет сердца. И у меня нет. У нас сопли вместо сердца. Сопли, поняли? Мы сдохнем от бесчувственности, сказал я, затем выставил ее из комнаты и приглушил проигрыватель, потому что на самом деле было громко, а мне надо было читать корректуру. Утром я проснулся от треска пластинки, видимо, лапку заело. Барахло эта "Тесла", подумал я, потом оделся и еще раз просмотрел новеллу про психически больного священника, который с помощью крысиного яда, подмешанного в тесто для облаток, уничтожил всех прихожан. Сойдет для сельской местности, подумал я, приготовил маме завтрак, а обед поставил в холодильник.

— Когдатыпридешьсынок.

— Завтра вечером. У меня творческий вечер в одном провинциальном городке, мама.

— В последнее время ты уезжаешь уже каждую неделю.

— На деньги Юдит нам не прожить, мама. Суп разогреете, телевизор выключайте на ночь, сказал я и услышал, как она гремит цепочками. Потом я пошел пешком на Восточный вокзал и, когда выяснилось, что надо делать пересадку, хотел развернуться прямо у кассы.

С выступления я вернулся около полудня. Эстер по понедельникам работала до пяти, поэтому пару часов я бродил по улицам в районе вокзала, хотя по идее ненавижу Восточный вокзал. Точнее, я терпеть не могу нищету, выставленную напоказ. Ненавижу людей, которые, ссылаясь на бедность, крутятся возле дорожных баулов, не перевариваю мнимых больных, которые показывают просроченные рецепты трехлетней давности — при этом на нужные лекарства им всегда не хватает какой-нибудь двадцатки. Мне омерзительны бабки-пошептуньи, которые будут молиться за тебя, спаси и сохрани вас Господь, и всю вашу семью, а если у тебя нет мелочи, плюют тебе вслед, как будто бедность дает человеку право творить безобразия.

Уже довольно давно Восточный стал прибежищем для проходимцев, здесь собираются подпольные торговцы и сектанты-проповедники, мелкие фальшивомонетчики и калеки домашней выработки. Можно с первого взгляда отличить калек, собирающих в собственный карман, от тех, кто работает на хозяина. По форме шрама можно установить, какую руку или ногу отрезало станком, а какую отрубили топором на лесоповале, когда по румынским деревням, точно шаровая молния, пронесся слух, что можно поехать побираться в Будапешт за неплохие суточные. Прибывали целые составы со свежеобрубленными калеками. Иногда их привозили те же самые грузовики, что везли в Трансильванию или в Бухарест гуманитарную помощь. Затем эти толпы несчастных были расквартированы по подвалам в девятом районе, работодатель развешивал по шеям таблички "Я жертва Чаушеску", а вечером забирал себе восемьдесят процентов дневной выручки плюс квартплату.

Уже довольно давно импортные калеки соседствовали в подземных переходах с местными калеками пенсионного возраста, с продавцами-тухлых-мандаринов и с продавцами-дешевого-постельного-белья. Здесь же можно было купить за полцены сигареты без акцизной марки и за четверть цены бракованный гонконгский будильник. Здесь открылись первые китайские палатки быстрого питания, и здесь же впервые можно было сыграть в шахматы на деньги с недавно освобожденными зэками. На мусорном бачке расстилали шахматную доску из дерюги, закуривали сигарету и ждали бесстрашных клиентов. Потенциальные жертвы обожали индийскую игру, кто-то в свое время был кандидатом в мастера спорта, но потом вмешалась Госпожа Фортуна, и на областных соревнованиях выиграла восьмилетняя Юдит Полгар. Зэки, в отличие от своих клиентов, знали о шахматах все, учитывая, что в тюрьме на Ваци практиковали довольно действенную педагогическую методику. Кто проиграет, выпивает литр воды, после третьей

партии человек уже обдумывает, куда ходить пешкой, а то в глотку зальют следующую порцию прямо над расстеленной доской. И от шести-семи литров воды запросто можно отдать швартовы, желудок у человека становится, как дирижабль, одетый на водопроводный кран.

— Пожалуйста, господин. Что вы, какие пятьсот? Тысячу. Садитесь, пожалуйста, вот сюда. Не сюда, давайте расстелим на крышке мусорного бака и начнем — наивный клиент заранее предвкушает победу, ибо знаток древней индийской игры не может спасовать. Три партии с этим недоделанным, считай, ты оплатил счет за телефон. Но на восьмом ходу черный конь ге три бьет пешку и, собственно, конец. У бывшего мастера спорта в голове не укладывается, как такое возможно, а ему не хватает всего-то нескольких кружек воды, да трех сокамерников с пожизненным сроком.

— Как мило, из бака торчат две тысячные бумажки, — говорит полицейский, и сует одну в карман, поскольку он пришел собирать арендную плату. Затем он выбирает себе несколько менее тухлых мандаринов, пересчитывает калек, на этом пятачке тринадцать, а всего тысяча триста. С венгров мы не собираем, честь дороже жизни, но с этими вонючими румынами просто сладу нет. Дутеакасо, если не заплатишь, говорит он, потому что в буфете "Снабдимтуриста" он выучил несколько ключевых фраз: "отправляйсядомой", "стофоринтов", и все в таком духе. Я сказал, сутефоринт, или дутеакасо — и тычет резиновой дубинкой в давно просроченную табличку "Я жертва революции". Сегодня он не в духе, утром на минуту зазевался и упустил цыганских наперсточников, стыд и срам. Пока он спускается по лестнице, поролоновый мяч исчезает, и ящики от бананов, переоборудованные под игровой стол, обрушиваются с полпинка. Контрабандисты невинно раскрывают баулы, набитые спортивными носками, и беззастенчиво заявляют, что пятьдесят пар носков принадлежат им, потому что они меняют их по три раза в день, и каждый раз — новые.

— Нам нравится, господин хороший. Чистые носки, чистое постельное белье и много будильников, чтобы не проспать поезд. А что, если вы оставите нас в покое? А взамен мы вам подарим пару кожаных перчаток. Господин хороший знает, сколько стоят такие перчатки? Даже за три тысячи вы не найдете таких в "Корвине". Маленький фонарик — и готово, или мы перейдем на площадь Москвы.

Словом, тысяча плюс тысяча триста это две тысячи триста, за мандарины, скажем, двести, вместе две пятьсот, плюс около пятисот за карманный фонарик с мигающей подсветкой — всего три тысячи, и еще остаются карманники.

Только внизу, в подземном переходе, я вспомнил, что забыл в поезде гуманитарную тетрадь отца Лазара. Я не особенно жалел о ней, хотя обложка была ничего, симпатичная. Надо будет запастись бумагой "Чайка", думал я. Возможно, тетрадь попадет в лучшие руки, думал я. К примеру, проводник будет вести дневник, думал я. Сегодня троих ошпарило дымом тепловоза, или что-то в этом духе, думал я. Боюсь, записки проводника, пестреющие орфографическими ошибками, больше понравятся Господу, чем мои высоколобые каракули, которые я старательно вывожу на "Чайке", думал я. На небесах не любят дерьмо, зато его обожают здесь, внизу, думал я. Дерьмо мои рассказы, даже если отзывы на книгу, как правило, доброжелательные, думал я. Как правило, такие тетради прячут у себя в ящиках стола добропорядочные отцы семейств, думал я. Определенно в такие черные кожаные с металлическими уголками ежедневники они записывают: вчера я был на родительском собрании, а сегодня сказал официанту, что он случайно дал сдачу на пятьсот больше. А потом он с коллегами идет ужинать в ресторан. Ничего исключительного, это был корректнейший деловой ужин, после ужина в гардеробе он помогает коллеге надевать шубку из искусственного меха и понимает, что пропал. Он из тех, кто уже лет десять возмущается, что деловые ужины, как их показывают в вечерних субботних телепрограммах, часто заканчиваются в постели, но ведь жизнь — не такая, жизнь иначе устроена, дорогая моя. Не сердись, но все это выдумки, и вообще я не понимаю, что тебе так нравится в этих теленовеллах.

А теперь он вдруг начинает записывать в тетрадь всякие мелочи: шубку из искусственного меха, длинноногие бокалы с шампанским, будто эти пустяки — золотой фонд его жизни. Он пишет с упорством отличника, даже если впервые за десять лет жизнь летит в тартарары — как мне осточертело придумывать абсурдные отговорки по средам, как мне надоело врать! Не сердись, дорогая, я скажу официанту, если он вернет на пятьсот больше, я отсижу офигенно утомительное родительское собрание, но отныне жизнь кричит мне, еще, еще, давай, наяривай! Я хочу, чтобы стонали мне в уши каждую среду вечером. Да, с сегодняшнего дня каждую среду я буду врать, будто напился с коллегами, и мне было стыдно приходить домой пьяным. Говорить, что кто-то бросился под колеса моего автомобиля и до утра я просидел в изоляторе. Уверять, что у меня было предынфарктное состояние или что я нашел пластиковую бомбу в корзине для бумаг. Среда принадлежит мне, и никто не посмеет удерживать меня дома. Будет новый ковер на полу и новая лыжная экипировка для детей к Рождеству, если захочешь, отныне каждый предотпу-

скной сезон мы две недели будем проводить на Ибице, только не спрашивай меня, где же, собственно, я был в среду. Только об этом не спрашивай меня, тогда мы и впредь будем жить почти как раньше.

И когда он уже внес в реестр все, что случилось с ним с десяти до рассвета, когда он даже форму ногтей два раза описал, очевидно, что до следующей среды писать не о чем. Начинается следующий этап, он пытается найти какое-нибудь безопасное место для ключа от ящика, в который он запирает свой дневник. Под паркетину ключ не влезает, а люстру протирает жена, наконец, он вешает его на шею, поскольку ему приходит в голову, что там ключ еще много лет провисит незамеченным, и думает, что, пока он запирает ящик на ключ, у него всегда будет семья.

Чуть позже он поймет за завтраком, что нервы у него не железные. Напрасно внутренний голос требует: поди и напиши в своей тетради о бокалах с шампанским и о шубке из искусственного меха, ну а жена пусть от него отстанет. И он все чаще молчит и обреченно жрет треклятые овсяные хлопья, как будто он пожизненно приговорен их есть, но, как ни крути, если у тебя ключ на шее, у тебя нет морального права сделать детям замечание: не пачкайте скатерть. — А что такое пластиковая бомба, папа? Это как настоящая бомба, только из искусственного материала, дочка. А завтра тоже будет бомба в офисе? — Нет, больше никогда не будет, дочка.

Я купил себе какой-то сэндвич, посмотрел две шахматные партии, а на часах было еще только полвторого, и я отправился в "Балканскую жемчужину". Люди — корыстные существа, времена меняются, и вместе с ними меняются вывески на улицах, думал я. Хотя кто знает, возможно, до войны на месте гастронома "Березка" была итальянская гостиница, думал я. Пройти пешком четыре километра от центра города до ближайшей свалки, требуя свободы печати, бред какой, думал я. Правда, раньше только по весу можно было отличить "Народную свободу" от "Венгерского народа". Первая была удобнее, поскольку у нее не были прошиты страницы, думал я. Однако целых четыре километра волочить тележки с "Новой Венгрией", это тоже бред, думал я. Это дискредитирует новые вывески, думал я. Впрочем, у меня с ними ничего общего, думал я. Надо прекратить социалистические сантименты, думал я. Если бы я еще от этого писать лучше начал, да как же, разбежались, думал я.

— Опять вы выглядите, как пыльным мешком трехнутый. Почему вы не поедете в отпуск? — спросила кельнерша.

— Осень, Йолика, — сказал я.

— Тем более поезжайте. Немного свежего воздуха придаст хоть какой-то цвет вашей физии. Поезжайте кататься по канатке на гору Яноша.

— Я уже был на свежем воздухе. Я только что из деревни.

— Наследство?

— Не наследство, я выступал.

— За это ведь платят, нет?

— Платят.

— Ну видите, а тогда в чем проблема? — спросила она, а я сказал, что собственно говоря ни в чем, просто я немного устал. Я пошел в клозет умыться, и отчего-то долго проторчал перед треснувшим зеркалом. По обе стороны трещины от макушки до груди расселась шерстяная грязь.

Если бы я не был таким болваном в физике, я бы тоже стал астрономом, думал я. Я бы даже знал сколько кубосантиметров составляет эта груда говна на Альфа Центавра и на Андромеде, думал я. И у меня был бы свободный доступ в районную библиотеку, думал я. Я бы не говорил, я тут так, знакомую жду, думал я. Заваливался бы раз в день, типа газету почитать, думал я. Потому что в этой сраной Эрвинасабо нет ни одной книги по астрономии, думал я. Гороскопы есть, и карманные справочники Бувар есть, и мои истории на букву В, думал я. И не смей туда больше заходить, а то я, как крыса, отгрызу тебе яйца, думал я. Бред собачий, думал я. Они же только разговаривали, думал я. Да-да, разговаривали, с разговоров все и начинается, думал я. Нельзя всю жизнь разговаривать с одним человеком, думал я. Мы ведь почти не появлялись в компаниях, думал я. Я же не просто потрахаться ходил к этой женщине, думал я. Я ходил к ней, потому что никогда не знал заранее, чего от нее ожидать, думал я. За несколько лет вполне мог бы узнать, думал я. Тут все в порядке, думал я. Да, лучше было бы ходить к занудным знакомцам на занудные танцевальные вечеринки, думал я. Иногда путешествовать, думал я. Последний раз я был за границей, когда мне было пять лет, думал я. На московском кинофестивале, думал я. При маме не особо поездишь, думал я. Наверно, мне надо было настоять, чтобы Эстер поехала домой, думал я. Нельзя мне было позволять ей выключать телевизор, когда показывали, как умерли эти двое несчастных, думал я. Да, она должна была понять, что может спокойно возвратиться домой, думал я. Надо было сесть вместе с ней в поезд и отвезти к этим хреновым горам, думал я. Ей тоже надо научиться смотреть в глаза реальности, я-то научился, думал я. Я не в восторге, что мой отец был сексот, но я не собираюсь пускать себе пулю в лоб, думал я. Юдит не из-за этого перерезала себе вены, думал я. Кстати, вряд

ли отец рассказывал ей, что он, дипломированный филолог, перепечатывал протоколы допросов, думал я. Она умерла, потому что не вынесла реальности, думал я. Потому что на самом деле она до кончиков ногтей была точно такой же, как ее мать, думал я. Веркхард, не так уж плохо, думал я. Обе всю жизнь рвались на передовую, так долго не протянешь, думал я, затем кто-то стал колотить в дверь и кричать, у тебя что, понос, или вчемделоматьтвою, я ответил, сейчас, и быстро умылся.

— Ну наконец-то, — сказал мужчина нервно, когда я освободил туалет.

— Простите, — сказал я, хотя у меня не было особенных причин извиняться. В заведениях, где всего одна кабинка, иногда приходится ждать, лично я никогда не штурмую дверь. Я заплатил Йолике и, прежде чем идти к Эстер, послушал возле стойки бара пятичасовые новости.

Они разговаривают, а может, ушли-таки в планетарий, думал я. Чего еще ждать от астронома, думал я. Им в голову не придет смотреть на небо без телескопа, думал я. Они даже облака ругают, потому что те заслоняют вид, думал я. Они просто сидят и считают, сколько кубосантиметров в этой кучке дерьма, думал я. По правде, я больше знаю об этом хреновом небосводе, чем все астрономы вместе взятые, думал я. А хорошо бы сходить в планетарий, думал я. И в Травяной сад, думал я. Я живу здесь тридцать пять лет, и все равно почти не знаю этот город, думал я. Я уже, наверно, сто лет не ходил по той стороне Броди, где нечетные дома, думал я. Не то чтобы это было супер важно, человек ко всему привыкает, думал я. С Юдит еще можно было гулять, и первое время с Эстер тоже, думал я. Но потом она привыкла к четной стороне, думал я. И на трамвай она садится только в последнюю дверь, какое упорство, думал я. В этом чертовом трамвае есть еще как минимум сорок дверей, думал я. Но ты конкретно обломаешься, когда поймешь, что астрономы тоже всегда садятся на шестой в последнюю дверь, думал я. А когда они целуются с библиотекаршами, отрыгивают им в рот свою мерзкую диссертацию, думал я. Я ни с кем не таскался в планетарий, думал я. И меня тошнило от собственного запаха, думал я. Я объедался мелками, потому что не хотел попадаться тебе на глаза, думал я. Хотя надо было сразу все рассказать, вместо того чтобы жрать мел, думал я. Пойми, сложно говорить правду, думал я. Но теперь уже, в общем-то, все равно, думал я. Прошлое не изменишь, думал я. Как будто будущее изменишь, думал я. Как правило, приходится выбирать между скрипкой и смычком, думал я. Стоп, это бред, думал я. Пусть не так много, но кое-что я могу изменить, думал я. Например, в любой мо-

мент могу перейти на четную сторону, думал я. Не будем больше пить чай, и я не буду читать свои опусы, думал я. Купим бутылку вина и пойдем на Остров, думал я. Может, сходим куданибудь поужинать, думал я. Астроном и психиатр пусть отдыхают, не их дело, с кем я иду ужинать, думал я. Привыкли встречаться по понедельникам, привыкнем жить нормально, думал я. Буду бродить перед библиотекой аккурат перед ее закрытием, думал я. Со стороны будет выглядеть, словно мы случайно встретились, думал я. Поначалу раз в два-три дня, а затем вообще буду приходить туда каждый день, думал я. По идее вот еще что могу сделать, под каким-нибудь предлогом сегодня заночую у Эстер, думал я. Например, совру, что маму надо положить в больницу, я же не выдержу один в пустой квартире, думал я. Не страшно даже, если она узнает правду, думал я. Это не такая грязная ложь, как следы от ногтей, откорректированные бритвенным лезвием, думал я. Пару ночей спокойно могу провести в прихожей, думал я. Рано или поздно она переберется ко мне под одеяло, думал я. Сегодня ладно, но завтра наверняка, думал я. В прошлый раз она даже обняла меня, еще чуть-чуть и поцеловала бы в губы, думал я. Но врач ничего такого не разрешит, думал я. Правда, это было от жалости: я сказал ей, что Юдит умерла, думал я. Но если могло быть из-за Юдит, спокойно могло быть и из-за чего-то другого, думал я. В конце концов, нельзя искоренить страсть по врачебному предписанию, думал я. Нельзя вытравить любовь с помощью одного ксанакса, думал я. Да, буду нагло врать, что положил маму в больницу, думал я — на двери я обнаружил записку, прицепленную скотчем, в которой сообщалось, что она уехала домой.

Она писала, что вернется через две-три недели, не сказала раньше, только потому что до последнего момента сама не знала, поедет ли, и решилась неожиданно, и чтобы я не сердился, и все в таком духе. Какое-то время я в оцепенении стоял перед дверью. Затем старушка с лестничной площадки спросила, кого я ищу, как будто не знала, как будто не она несколько лет назад написала донос на нелегального квартиранта, а я сказал: никого не ищу, тетя Короди, пожалуйста, успокойтесь и не переживайте, затем я отправился домой. Я пытался думать, что на самом деле это еще ничего не значит. Хорошо, что она наконец поехала домой, об этом в свое время даже врач говорил. И наверняка она поехала одна. Понадобились один аборт и одна драка, чтобы я смог узнать правду о ее прошлом, поэтому абсолютно исключено, что она могла взять с собой полузнакомого человека. Одно дело, прожив полжизни, возвращаться домой, и совершенно другое — идти с кем-то в планетарий. По идее

даже лучше, что она поехала одна, думал я. Иногда компания абсолютно ни к чему, думал я. И я не могу надолго оставить маму дома, думал я. Хотя это бы многое решило, думал я. Другое дело, теперь она не сдохнет в одиночку, думал я. Что не так уж и плохо, думал я. Мы довольно долго тянули, в отличие от Юдит, думал я. Хотя нам пришлось хуже, чем ей, думал я. Глупость, думал я. Мне неоткуда узнать, как она жила эти годы, думал я. А господин из звукозаписывающей компании мог бы послать открытку, думал я. Вместо месячного пособия по уходу за сумасшедшей мог бы написать, что у его дочери остановилось сердце, думал я. Нужно сообщить маме, что ее дочь умерла десять лет назад, думал я. Слава богу, что она переписывалась со мной, неплохо было, думал я. И что я покупаю ей кремы от морщин на деньги моего отца, думал я. Может, она даже обрадуется, думал я. А вдруг она не сошла с ума, а просто не хочет ни с кем общаться, думал я. И от радости она преподнесет приятный сюрприз поклонникам, думал я. Скажем, спустится в гастроном за едой, думал я. Если не продавец, то я точно буду удивлен, думал я. Проблема только в том, что я устал, думал я. В остальном безупречная народно-музыкальная пьеса, но я почему-то зверски устал, думал я. Если в этом проводнике есть хоть капля совести, он найдет ошибку у меня в билете и вышвырнет меня из бегущего поезда прямо в пусту, думал я. Привет, венгерская пуста, думал я. Тогда тебе придется есть меньше хлеба, думал я. Потому что Господь Бог не побежит в гастроном, думал я. Или надевай свой пожранный молью костюмчик и вперед в гастроном, или ты сдохнешь от голода, думал я. Но больше ты не будешь мудровать надо мной, думал я. Больше никаких гдетыбылсынок, думал я. Будешь у меня лететь, пердеть и радоваться, думал я. Не думай, что я не посмею тебя ударить, думал я. Я схвачу тебя за твои обесцвеченные волосы и вытащу на улицу, думал я. Вцеплюсь в твой костюмчик и отволоку в Восточные Карпаты, и без всяких яких поцелуешь ей ноги, думал я. На коленях будешь благодарить Эстер за то, что она не позволила мне сдать тебя в сумасшедший дом, думал я. И обещаю тебе, если я начну писать твоей кровью, критики только возрадуются, думал я. Так что не смей мне говорить, веди ее в мотель, как остальных, думал я. Не смей швырять в меня червивым яблоком, если я спрошу, кто такая Эва Йордан, думал я. И никогда, никогда в своей гребаной жизни не смей у меня спрашивать, чтоэтозашалавасынок! Не смей притворяться, что не знаешь, а то я размозжу твою голову об звуковую колонку, мама! Меня не волнуют твои жалобы на сердце! Да, будешь слушать эту пластинку, пока не оглохнешь!

— Добрый день, — поздоровалась со мной жена Берени.

– Добрый день, – сказал я.

– Заходите? – спросила она и подержала дверь.

– Нет, – сказал я и внезапно почувствовал, будто я отрезал себя ножницами ото всех и вся.

Когда я распрощался с женой Берени и отправился в сторону площади Кальвина, я окончательно понял, что такое свобода. Даже если под свободой мы понимаем не эйфорию, какую чувствует пилот, взлетающий в небо, и не право выбора, и не странный, немного ханжеский, настрой, когда мы, сообразуясь с нашими моральными принципами, вольны решать или осуждать, и вдобавок решение целиком и полностью совпадает с самыми нашими тайными мечтаниями и чувствами. Свобода – это не черные чернила на белой бумаге. Не четыре скрипичные струны и не десять тысяч органных труб. Не Диогенова бочка и не мгновение, когда остановится бутафорский Божий будильник и неведомая сила раздвинет прутья в клетке ребер. По-моему, свобода – это состояние, когда ничто не привязывает нас к окружающей действительности. Когда у нас ни мечтаний, ни страстей, ни страхов. Когда у нас нет ни цели, ни бесцельности, когда этот вакуум абсолютного безразличия не причиняет нам боль. Свобода удивительна в своей бесцветности. Она совершенно непохожа на равнодушие, поскольку последнее невыносимо цинично, непохожа на отчаяние, когда нечего терять, потому что отчаяние всегда скрывает стыд или тайную надежду. Если уж совсем на все наплевать, это архи-человечно. Свобода – это антипод отчаяния, это обесчеловечивающее состояние.

Пошел дождь, и я спрятался под навес газетного ларька. Продавец спросил, нужно ли мне что-то, я сказал, нет. На островке тротуара напротив мать тормошила ребенка, потому что пацан не хотел надевать капюшон, затем пришел трамвай. Некоторые торопились, бежали, чтобы успеть, пожилая женщина, держа ридикюль над головой, ринулась на красный, машины сигналили – жить надоело, матьтвою? Городские альпинисты устанавливали новый рекламный щит. Один из них оттолкнулся ногой от арматуры, описал в воздухе гигантский полукруг, словно какой-то маятник, отдал напарнику инструменты, и затем, снова оттолкнувшись, перемахнул обратно. Я не мог вспомнить, какая реклама была здесь раньше – "Лотототто", или "Фабулон", хотя я проходил здесь минимум два раза в день. И это меня страшно раздражало, я не люблю забывать. Наконец я спросил у продавца в газетном киоске, он сказал, "Фабулон".

В подземном переходе работал кофейный автомат, я пил черный кофе и перебирал знакомых, с кем бы мне пообщаться.

С одним я иногда говорил о литературных журналах, а с другим о выставках — если ты не в тусовке, кури бамбук, старина, даже крошечную заметку не опубликуешь в "2000", тебя даже смотрителем не возьмут в выставочный зал. С третьим я беседовал о жизни, у обоих все из рук вон плохо — остается пустить себе пулю в лоб или завести ребенка. А потом я вспомнил, что у меня остался ключ от Нап, могу там пробыть, сколько захочу.

Я подумал, что эти несколько дней будут очень кстати, я смогу дожать какую-нибудь толстую книгу, "Волшебную гору" или "Человека без свойств", потому что с ними я уже несколько лет бился, словно с какой-нибудь задачкой по математике, но так и не продвинулся дальше пятидесятой страницы. Буквы расплывались перед глазами и голова трещала, словно я читал какие-нибудь ноты. Полчища муравьев на пяти линейках, страх и ужас, сил нет. Напрасно я просил Юдит научить меня, мы несколько раз пробовали, но у меня ничего не получалось. Она говорила, что для меня гораздо естественнее чечевица, просыпанная на пол из мешка, чем вещи, которые подчиняются законам гармонии. Я на это отвечал, чепуха, теоретически я знаю, что на какой линейке нужно писать и что такое бемоль или диез, просто у меня не хватает терпения собрать все эти значки воедино, а Юдит говорила, что она как раз об этом.

Сложно сказать, отчего у меня был такой напряг с этими книгами. Дело тут, конечно, не в объеме, взять тех же "Карамазовых", их я не залпом, но все же прочитал кухонному буфету, когда решил научиться выразительно читать. В мире нет ни одного кухонного буфета, который бы слышал столько Иоганнов Себастьянов или Федоров Михайловичей. Мамочка учит роль Дездемоны, доченька играет на скрипке, сынуля читает вслух — идиллия, да и только! — а я брал с полки "Опасные связи" и усаживался в мамину остывшую ванну, чтобы передохнуть немного. Здорово было. А что касается этих двух книг, они даже в самых интересных местах производят презануднейшее впечатление. Несчастный литератор только начнет рассуждать о ботанике, или о погоде, или об ОРЗ, а я уже засыпаю. Занудные диалоги на пятьдесят страниц — к примеру, с медсестрой о температурной кривой — дико меня раздражают, и не потому что это все выдумки, а потому что, будь я этой медсестрой, давно бы отправил умника в жопу. И вообще эти описания — редкостная ахинея, пока преподобный Альберт Мохош не сошел с ума, он на протяжении шестнадцати страниц кряду слушал, сегодняяопятьсъездилженеврыло или впостянажралсямяса, а еще всякие истории о краже индоуток. Я про это на-

писал. И разумеется, был отправлен в жопу. Та женщина выскочила из зала, словно из чумной палаты. И ведь была права.

И все же я снова взялся штурмовать "Волшебную гору", в основном потому, что еще весной одна журналистка у меня спросила, случайно ли вышла параллель между моей "Историей хосписа" и "Волшебной горой", прошу вас, поймите меня правильно. На что я ответил, конечно неслучайно, нормальный человек осознает, что хочет сказать, и любой литератор существует на фоне широкого культурного контекста. Культурный контекст пришелся очень кстати, потому что журналистка больше не умничала. Словом, я начал заново читать первый том и радовался, что у Эстер то же издание, что у меня, коричневое, потому что я к нему привык, но честно говоря, параллелей я не находил. В "Хосписе" совершенно другие люди помирают и совершенно по другим причинам, и они не слишком расположены трепаться с кем ни попадя, ну да ладно.

Впрочем, за несколько дней я вполне уютно обустроился в Давосе, только мне не удалось узнать, существует ли на самом деле место с таким названием, потому что у Эстер нет дома атласа. Хотя господин писатель был довольно педантичным человеком, но вряд ли он предполагал, что в будущем дотошные читатели начнут еще попутно заглядывать в справочники. По-моему, он даже Ганса Касторпа нашел в каком-нибудь особом списке или в архивах в морге, имена он, скорей всего, не выдумывал, хотя в плане понимания авторской идеи это не играет роли. Подобная любовь к достоверной реальности очень даже объяснима, в конце концов, я сам старался, чтобы Юдит писала исключительно из мест, которые отмечены на карте мира. Не могу сказать, что за все эти годы мне ни разу не пришло в голову чего-нибудь эдакого, какого-нибудь курорта на Летейском берегу. В первую очередь я думал о маме, она ведь искала на карте мира эти чертовы города. Даже если бы Юдит написала из Антарктиды, что с того? Да, там зверски холодно, но на хреновой карте она есть, не придерешься. А что касается архивов в морге, я, черт возьми, действительно забыл посмотреть.

Короче, Давос — ничего местечко. Еще мне дико понравилось, как туберкулезные женщины умоляли туберкулезного господина Альбина на верхней террасе, спрячьте пистолет и в другой раз не прогоняйте чистильщика бассейнов, если тот захочет полечить вас спиртом. Мне было любопытно, пустит себе в итоге пулю в лоб Адонис или нет. Меня куда больше занимает сюжет, интрига, чем нездоровые восторги Ганса Касторпа по поводу сущности времени. Господин Фюзеши тоже задумывается о сущности времени, он от души удивляется, как странно истекают минуты в добавочное время, не говоря уже

об одиннадцатиметровых. Еще есть женщина в спортивном костюме, Эржи, которая раз в неделю обещает Йолике повеситься. Если она исполнит обещание, за ней последует весь четвертый этаж, и реально Эржи всегда занималась вещами куда серьезней, чем выкладки господина Фюзеши.

Еще я иногда играл в шахматы сам с собой, на доске, которую когда-то получил от Эстер к Рождеству. Мне удалось сыграть отличную партию. Со стороны можно подумать, что я сбрендил, но это только на первый взгляд. Если мы сделаем ход и перевернем доску, через несколько мгновений с треском рухнут все наши представления о шахматной игре, особенно если кто-то понимает в игре примерно столько же, сколько я. Уверяю вас, так даже интереснее. Отъявленного знатока или рядового зэка нимало не смутит, если по другую сторону баррикады он увидит самого себя, но я в последние годы играл исключительно с Эстер, да и то недолго. В детстве я любил играть с Юдит, не только из-за самой игры, а потому что мне нравилась клетчатая доска. И вот что интересно, в период развития вторичных половых признаков ситуация изменилась. Настолько, что, когда после несложной операции по удалению миндалин Юдит вернулась домой, мы перестали играть в шахматы. И Эстер мне удалось поставить мат всего несколько раз, потом выяснилось, что она много лет по вокресеньям играла в шахматы с ветеринаром, который потом усыпил ее дедушку.

Я впервые играл в одиночку, хотя дело, казалось бы, очевидное. Играть в одиночку — это не более абсурдно, чем, скажем, в одиночку заниматься любовью или в одиночку пить утренний кофе. Повторяю, мне даже удалось разыграть несколько удачных партий. Один раз я белыми вынудил ту сторону разменять ферзя, у черных не было выбора, через пару ходов стало ясно, что лучше было пожертвовать коня, и этим размéном белые только создали себе лишние проблемы. Они попытались захватить пешку на правом фланге, но черные задумали какой-то сатанинский маневр, начали с короля и последовательно, ход за ходом, прорвались за линию обороны, и затем на A8 ладьей ударили по пешкам и тем самым выбили почву из-под ног у слона.

Я славно провел время со слюнтяем Касторпом и с тридцатью двумя фигурами. По правде, гораздо больше времени я уделял Клавдии Шоша, об этом сложно было бы не упомянуть, хотя и рассказать особенно нечего. Когда она нервно хлопала дверью в ресторане и потом, в белом джемпере, терзая косу, садилась к "правильному" русскому столику, словом, когда эта женщина с восточным, киргизским, лицом, появлялась снова и снова, научные изыскания господина Сеттембрини о парадоксах логического мышления начинали раздражать меня все

сильнее. Настолько, что, когда мадам Шоша будто бы случайно появилась в предбаннике перед рентгеновским кабинетом и, немного сгорбившись, закинув ногу на ногу, начала листать цветную газету, читатель в моем лице крепко задумался, черт возьми, жизнь могла сложиться совершенно иначе. К примеру, если бы он пятнадцать лет встречался с этой женщиной, если бы по пешеходному переходу брела не полупьяная шлюха, держа в руках туфли и полудохлую птицу, а эта Клавдия... ну да ладно, что я там писал об особых списках, зачеркиваем. В общем, в те дни я был, можно сказать, счастлив. Иногда я выходил в круглосуточный магазин на проспект. Ночью, поскольку не хотел, чтобы соседи меня видели.

Когда я вернулся, дверь была открыта. На кухне сидели двое мужчин в костюмах, судя по всему, уже довольно долго. Они пили кофе и курили. Когда я вошел, они даже не встали.

— Вы ответственный квартиросъемщик? — спросил коренастый и попросил, чтобы я показал документ, удостоверяющий личность. Было ясно, зачем они пришли, однако в таких вопросах лучше играть по их правилам. Худощавый отодвинул ногой табуретку и кивнул мне, чтобы я садился.

— Я могу закурить? — спросил я, словно был не у себя дома.

— Естественно, — сказал он и протянул мне пачку.

— Спасибо, у меня есть, — сказал я.

— Оставьте, вам еще пригодится, — сказал он, в его голосе не чувствовалось угрозы, и все же я взял из его пачки. По крайней мере, будем курить одно и то же, думал я. Казалось, из двоих старший по званию — он. Правда, они забыли представиться, что у них, впрочем, не редкость. Мне очень хотелось, чтобы мы поскорее покончили с положенными формальностями, поскольку я в любом случае не собирался ничего отрицать.

Коренастый посмотрел на коллегу, понял, что тот не собирается сейчас говорить, и зачем-то проронил:

— Очень уютная квартира, — словно это было какое-то существенное замечание, которое может отпустить только старший по званию. Лучше бы заговорил худощавый, думал я. Он казался гораздо более вменяемым, чем это свиное рыло, но, судя по его неподвижному взгляду, был садистом.

— Да, — сказал я, мне не хотелось говорить на посторонние темы.

— И обставлена мило.

— В основном декорации, — сказал я.

— Но на пятьсот франков в месяц вполне можно прожить, — сказал он. И я начал немного нервничать, потому что какое его дело, на что мы жили.

— Да, — сказал я отрывисто. Я хотел было добавить, что, с тех пор как стали печатать мои рассказы, я езжу на встречи с читателями и открываю выставки, что с недавних пор я сам неплохо зарабатываю, но решил, это только запутает разговор.

— Даже вдвоем, — сказал он.

— Даже вдвоем, — сказал я. От этих пошлых намеков у меня заныл желудок, но протестовать я не стал.

— Перерыв, — сказал худощавый и снова протянул мне сигарету. Пока я курил ее, слышно было только тиканье будильника. Я попытался вспомнить, в каком спектакле были задействованы эти часы, в голову приходило "Много шума из ничего", хотя там они точно не могли быть задействованы.

— Очень уютная квартира, — сказал коренастый, когда я потушил окурок.

— Да, — сказал я.

— И обставлена мило.

— В основном декорации, — сказал я. Мне показалось, где-то я это уже слышал. Вряд ли мы сидим тут, чтобы рассуждать о ворованных декорациях.

— На пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.

— Да, я уже сказал, что можно.

— Даже вдвоем.

— Я уже говорил, можно вдвоем.

— Перерыв, — эхом вмешался худощавый. На этот раз я не взял сигарету. Мы молчали, я злился, поскольку никак не мог вспомнить, в каком спектакле служил реквизитом этот будильник. Меня раздражало, что мы никак не закончим положенные формальности. Я чистосердечно во всем сознáюсь и затем получу пожизненное, или пятнадцать лет, в любом случае я не стану ничего отрицать.

— Очень уютная квартира, — сказал коренастый. Мне ужасно хотелось встать и сказать, пойдем, но я знал, что нельзя этого делать. Еще мне пришло в голову, что я не могу сказать двум палачам то заветное слово, которое сказал Эстер на мосту Свободы пять лет назад.

— Зачем вы спрашиваете? — выпалил я.

— И обставлена мило.

— Мы уже это обговаривали, здесь только декорации.

— На пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.

— Чего вы хотите? — спросил я у второго, но тот не ответил. Он пил кофе из маминой кружки, его серые сверла сверкали, он молчал.

— Даже вдвоем, — сказал коренастый.

— Конечно, даже вдвоем. Если пересчитать на наши деньги, выйдет, что примерно столько здесь платят врачам, — сказал я.

— Перерыв, — сказал худощавый и поставил чашку на стол.

— Какой еще перерыв! Скажите, чего вы хотите, и пойдем наконец, — сказал я и хотел встать, но старший по рангу кивком головы показал, что еще не время, и я не двинулся с места. Снова воцарилась тишина, мы сидели и слушали, как тикает будильник.

— Очень уютная квартира, — снова начал он.

— И обставлена мило, и несомненно, на пятьсот евро в месяц вполне можно прожить. Сколько еще будет продолжаться весь этот бред?

— И обставлена мило, — сказал он.

— Прекратите вы когда-нибудь? Вы что, дураки, или меня за дурака держите?

— На пятьсот франков в месяц можно прожить.

— Да! Мы отлично жили на пятьсот франков в месяц! Хватало на дрянную косметику и огнетушители! Вполне обходились! Все в шоколаде!

— Даже вдвоем.

— Перестаньте, вы, скотина!

— Перерыв, — сказал худощавый и протянул мне сигарету. Я отказался, поскольку у меня начинали сдавать нервы. Я попытался взять себя в руки, я понял, что нельзя терять самообладание. Чего бы они ни хотели, надо оставаться непроницаемым. Это была ошибка, я не ответил на вопрос. Да, это была ошибка. Я попался в ловушку. Я принимаю их правила игры.

— Уютная квартира, — снова заладил коренастый.

— Да, — сказал я.

— И обставлена мило.

— Мне самому нравится, хотя это только декорации, — сказал я.

— Но на пятьсот франков в месяц можно прожить.

— Да, вполне можно, — сказал я.

— Даже вдвоем.

— Естественно, даже вдвоем, — сказал я.

— Перерыв, — сказал худощавый. Я курил сигарету, слушал будильник и чувствовал, сейчас все прошло как надо. Единственная ошибка в том, что я отвечал немного другими словами, чем в первый раз. Затем я подумал, наверно, они сами уже не помнят, как я отвечал сначала, и решил придерживаться последнего образца.

— Уютная квартира, — сказал он.

— Мне самому нравится, хотя это только декорации, — сказал я, но тут же понял, что ошибся, поскольку эту реплику я должен был произносить после второй фразы. Я попытался скрыть замешательство и снова сосредоточился.

— И обставлена мило, — сказал он.

— Мне самому нравится, хотя это только декорации.

— На пятьсот франков в месяц можно прожить.

— Да, вполне можно.

— Даже вдвоем.

— Даже вдвоем. Перерыв, — сказал я, и понял, что окончательно все испортил. Напрасно я продумывал стратегию. Эту фразу должен был произносить худощавый, поскольку он здесь командует. Я не могу приказывать, когда делать перерыв.

— Перерыв, — сказал худощавый, словно ничего не случилось. Мне было бы легче, если бы он как-то отреагировал. Если бы, скажем, он не дал сигарету. Потом я подумал, наверняка скоро конец, они ведь тоже люди, они сами долго не выдержат. Даже хорошо, что мы делаем эти перерывы, по крайней мере, можно сосредоточиться, но тут он опять начал.

— Уютная квартира.

— Да.

— И обставлена мило.

— Да, но это только декорации. Дальше.

— На пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.

— Да.

— Даже вдвоем? — спросил он. Я уже собирался ответить, да, как вдруг меня пронзила мысль, что он всегда просто говорил это, а не спрашивал. До сих пор он ничего не спрашивал. До сих пор не было ни одного, черт побери, вопроса. Я почувствовал, что они заманили меня в ловушку, что они хотят вымотать меня, взять измором, и не ответил им, как полагается, а начал орать: нет! на двоих не хватало! я ничего не делал! прекратите наконец, вы, козлы! — и тому подобное.

— Перерыв, — сказал худощавый, когда я успокоился и извинился. Я получил сигарету и хотел спросить, могу ли я выпить воды, но не осмелился.

— Уютная квартира.

— Да, — сказал я.

— И обставлена мило.

— Спросите что-нибудь, — сказал я. — Я не понимаю вас. Спросите, и я отвечу, если смогу.

— На пятьсот франков в месяц можно прожить.

— Я правда отвечу! Зачем вы так? Почему вы думаете, что я буду все отрицать? Спросите что-нибудь, ради бога! Спросите, понимаете?

— Даже вдвоем?

— Да, но это не имеет отношения к делу. Причем здесь квартира и ее обстановка? Спросите что-нибудь, в чем есть

смысл. Спросите, зачем я это сделал? Хорошо? Перерыв, а потом спросите, умоляю вас.

— Перерыв, — сказал худощавый. Я подумал, они в общих чертах выяснили, что надо спрашивать, и теперь я спокойно могу попросить стакан воды, в конце концов это не тюрьма, это пока наша кухня. Затем я подумал, наверняка скоро конец, недолго осталось, если я даю показания, странно ожидать, что я буду клянчить стакан воды в собственной квартире, и я прикусил сигаретный фильтр, и стал его жевать, потому что, когда жуешь, выделяется слюна и не чувствуешь жажды.

— Уютная квартира, — сказал приземистый. Я решил, что он просто хочет меня напугать. Настал момент истины, думал я. Сейчас он спросит, зачем вы это сделали, и я все расскажу как на духу.

— Да, — сказал я.

— И обставлена мило.

Я молчал. Не из упрямства, скорее от усталости. Я посмотрел на второго, чтобы понять, могу ли я помолчать немного. Его лицо было таким же гладким и неподвижным, как в момент, когда я вошел на кухню, и взгляд был таким же сверлящим.

— На пятьсот франков в месяц можно прожить.

Худощавого я ненавижу больше, чем коренастого, думал я. Ведь это он говорит: перерыв, и он дает сигарету.

— Даже вдвоем.

В нем не было ничего человеческого. По сути, он смотрел на меня, словно на какой-то предмет. Как на робота, который говорит четыре запрограммированные фразы и курит, снова говорит и снова курит. Я ненавидел его, а ударить не смел, наверно, поэтому я ненавидел его еще больше — за то, что он сильнее меня и лучше знает, чего хочет. Коренастый просто исполнитель. А этот мертвец со сверлящим взглядом отдает приказы и отправляет на смерть. Почему ты не скажешь, перерыв? Уже было дажевдвоем. Какого лешего мы не делаем перерыв, ты, хрен собачий? Че вылупился? Впервые видишь убийцу?

— Перерыв, — сказал он, вылил в раковину остатки чая из маминой чашки и поставил передо мной кружку с водой. Лучше бы он сначала спросил меня, хочу ли я пить, думал я. Лучше бы он что-то сказал или просто показал взглядом, доволен он или недоволен, думал я. С ума можно сойти, думал я. Под камертон тикающего будильника я медленно отхлебывал воду. Я знал, сейчас не будет сигареты, перерыв продлится ровно до тех пор, пока я не выпью воду. Когда я поставил на стол пустую кружку, у меня в горле было точно так же сухо, как раньше, я подумал, надо было оставить пару глотков, наверняка больше воды я не получу. Потом я подумал, ничего страшного, можно бы-

ло вообще не пить воду. Совершенно ясно, что экзекуция будет длиться, пока я не потеряю сознание. Тогда уж чем раньше, тем лучше. Ясно как божий день, их не интересуют мои показания. Они ни за что не спросят, зачем вы это сделали. Господи, зачем я проболтался.

— Уютнаяквартира.

Это хуже, чем гдетыбылсынок, думал я.

— И обставлена мило.

У них нет права, думал я.

— Но на пятьсот франков в месяц вполне можно прожить.

В общем да, думал я.

— Даже вдвоем.

Эстер вернется, думал я.

— Уютноимилононапятьсотвдвоем.

Эстер, думал я.

— Ваш сын немного устал, товарищ капитан.

— Сейчас, — сказал сверловзглядый, и тогда я зарыдал: ты скотина, ты мерзкий сексот, я тебя убью, ты хрен собачий, но это их уже не интересовало. Они встали и оставили меня, скрюченного на табуретке, словно мешок с говном. Я слышал, как они заколачивают входную дверь, и, когда кончик гвоздя протыкал доску, я в страхе вздрагивал, оттого что кричу, и с меня льется пот, и в дверь колотят. Внезапно я понял, что не знаю, где нахожусь. Вернулась Эстер, а я забыл ключ в замке, это она колотит в дверь, потому что не может войти, я даже забыл, что надо врать, будто мама в больнице. Затем я выглянул из окошка в ванной, но это был только сборщик платы за коммунальные услуги. Я дождался, пока мужчина засунет платежное извещение в щель между дверью и косяком, потом слез с табуретки, умылся, и это окончательно привело меня в норму. Я навел порядок в комнате, убрал на место шахматы, "Волшебную гору" и постельное белье. Я собрал пустые пакетики из-под печенья и коробки из-под сигарет, выскреб гущу из кофеварки и поставил зубную щетку в стакан, как Эстер обычно делала, поскольку не хотел, чтобы она когда-нибудь узнала, что эти дни я провел у нее.

В дверях я услышал, как скрипит проигрыватель, и подумал, игла окончательно накрылась. Уже несколько лет были неполадки, лапка не хотела возвращаться на место. Ковер был усыпан письмами Юдит: "Уважаемая мама, вчера у меня было выступление в Амстердаме", "Уважаемая мама, сегодня у меня выступление в Лиссабоне", "Уважаемая мама, завтра у меня выступление в Монреале". Они были разложены по дате отправления, словно какой-то пасьянс, ящик письменного стола был выдвинут. Все его содержимое — конверты, адресованные в нигдене-

находящиеся гостиницы и бессмысленные заявки на возмещение ущерба — было вывалено на пол. Мама в поеденном молью платье лежала на моей кровати, сжимая в руках разодранную в клочки цыганскую девушку из Каракаса и остатки извещения из Красного Креста, на мгновение мне показалось, она еще жива, потому что глаза ее были открыты и она смотрела на меня, точно сквозь запотевшее стекло.

— Она скончалась где-то полтора дня назад, — сказал врач, ухоженный мужчина предпенсионного возраста, в грифельно-сером костюме и с ногтями, наманикюренными в салоне. — Скорей всего, сердце, но вскрытие покажет.

— Вскрывать обязательно? — спросил я.

— В принципе надо бы, — сказал он, слегка подчеркивая это "в принципе".

— Я хочу знать, отчего она умерла, но без вскрытия, — сказал я и вложил ему в руку пятитысячную.

— Сердечная недостаточность. После тридцатилетней практики опытный врач легко поставит диагноз с первого взгляда, — сказал он, достал кошелек, аккуратно разгладил банкноту и спрятал ее.

— Уверены? — спросил я.

— Я да. Но если вы сомневаетесь, тогда конечно, лучше делать вскрытие. Сейчас научились превосходно зашивать, вы ничего не заметите.

— Откуда вы знаете, что она не умерла, к примеру, от голода? — спросил я.

— Вы что, никогда не видели людей, которые умерли от голода? — спросил он, а я ответил, как ни странно, нет.

Только во дворе я решился закрыть крышку гроба. Я хотел, чтобы она, пускай ненадолго, увидела внешний мир, раз уж ее глаза остались открытыми. Когда рабочие затащили гроб на второй этаж, соседи диву давались, за пятнадцать лет они успели забыть про маму, словно про общественные туалеты или про обвалившуюся прачечную в бомбоубежище под лестницей. Затем я сказал женщине в бюро, что хотел бы похоронить ее как можно позже, поскольку надеялся, что со дня на день вернется Эстер, но женщина ссылалась на какой-то новый порядок. Она испуганно говорила, что труп и так уже двухдневной давности, и не хотела продлевать замораживание даже за доплату.

— Почему вы не кремируете? — спросила она. — Это практичнее, и вы сможете выбрать дату, которая подходит всем членам семьи, но я сказал, что не сожгу свою маму, и расписался в книге, где она мне показала.

Слава богу, насчет могилы не пришлось заморачиваться. мама арендовала место на Керепеши на двадцать пять лет вперед, из которых прошло пока только пятнадцать. Гранитный мастер сказал, что Юдит Веер он не будет выдалбливать, так не положено. Я подумал, может, оно и к лучшему, и мы договорились, что снизу он выдолбит "Ребекка Веркхард", а сверху — "Ребекка Веер", так даже останется место.

— Никакую надпись не хотите? — спросил он.

— Нет, нет, — сказал я.

— Обычно выбивают, — сказал он. — Короткую молитву или цитату из стихотворения. Я покажу вам тетрадь с образцами.

— Лучше не надо, — сказал я. — А рисунок вы тоже можете выбить? — спросил я.

— Конечно, — сказал он.

— Тогда выбейте пеликана, — сказал я.

— Пеликанов среди образцов нет. Только крест, или плакучая ива, в этом духе, — сказал он.

— Вот образец. Можете оставить у себя, наконечник золотой, — сказал я.

В субботу с утра я зашел к Эстер посмотреть, вдруг она вернулась, мне хотелось, чтобы она увидела это исхудавшее тело, ногти, в последнюю ночь изгрызенные до лунок, на узловатых пальцах, с семью памятными кольцами, памятное кольцо сезона Юлии, памятное кольцо друзей поэзии, памятное кольцо московского фестиваля... да мало ли, фальшивые кольца, с которых уже давно слезла позолота, и они окрашивали основание пальца в черный или зеленый, в зависимости от того, были они сделаны из меди или из алюминия. Я хотел, чтобы она увидела ее липкие от лака соломенно-желтые волосы, на которых из года в год все причудливее ложилась краска, из-под которых уже просвечивала пепельно-серая кожа головы, груди. Я хотел, чтобы Эстер увидела груди, снова тугие от трупного яда, которые мама в свое время, после того как новорожденные сосали их полтора месяца, мазала солью, чтобы укрепить соски, но больше всего я хотел, чтобы она увидела мертвый взгляд, взгляд, ничем не отличавшийся от живого, синее свечение которого, начиная с субботы, будет освещать глубину пятнадцать лет ожидавшей ее могилы, потому что я так и не смог закрыть ей глаза.

Платежное извещение одиноко торчало возле дверной ручки, ничего не изменилось, стало быть, Эстер нет дома. Я написал на клетчатом листке, мама умерла, засунул записку под дверь, поймал такси и поехал на Керепеши, потому что я уже опаздывал.

На этот раз могильщикам не пришлось долго работать, пятнадцать лет назад их предшественники отлично постарались.

Гранитный мастер немного напортил с гербом, выбил в гнезде три ветки, сперва я разозлился, но потом подумал, что это моя ошибка, надо было сказать ему, пусть выбьет две, чтобы не было точь-в-точь, как на колпачке ручки, это же не рекламный щит, а могила. Хотя он не виноват, он привык работать по образцу, думал я, затем я сказал таксисту, подождите.

— Хорошо, но тогда я не буду выключать счетчик, — сказал он.

— Конечно, только отпаркуйтесь чуть подальше, — сказал я, поскольку не хотел, чтобы треск счетчика вклинивался в заупокойную молитву. Затем стали спускать гроб, я бросил на него цветок и увидел, что груда земли вся сплошь состоит из полуистлевших клочков бумаги. Из груды торчали то какие-нибудь ноты, то семейные фотографии. За пятнадцать лет даже червям оказались не по зубам. Четверо мужчин стали закапывать могилу, периодически перерубая пополам дождевых червей, а я решил прогуляться и попрощался с таксистом.

"Балканская" была временно закрыта из-за покраски. Несмотря на это, дверь была распахнута, чтобы проветривать подвал, метлу прислонили к косяку, а лестницу застелили целлофаном. Йолика внизу ругалась с рабочими, потому что стены выглядели темнее, чем она хотела.

— Когда краска высохнет, будет аккурат как на образце, целуюручки, — уверял маляр.

— Вы меня за дуру держите? — взрывалась Йолика. — Я вам еще вчера сказала, в этом хреновом подвале сыро. Говорила, или как? А то я не знаю. Перекрасьте все, как я просила, немедленно!

— И вы сами будете покупать материалы, целуюручки? Именновыпотомучто вся краска уже разведена в нужной пропорции. Я больше ничего докупать не буду, и, пожалуйста, примите это к сведению, — говорил мужчина, размахивая валиком, внезапно он оступился, и кремово-бежевая краска выплеснулась на целлофан.

— Докупишь как миленький, Питюка, это я тебе гарантирую. В Буде показывай свои фокусы, со мной не пройдет, а то я за себя не ручаюсь.

— Извольте не каркать, иначе нам не о чем разговаривать, целуюручки.

— Мы и не будем разговаривать. Сказала перекрасить — значит перекрасить, или марш отсюда, и лестницу свою убирайте.

— Завтра, целуюручки. Если вы купите двадцать кило дисперсии, мы завтра перекрасим хоть в серо-буро-малиновый, но сейчас к работе нельзя приступать, потому что прежний

слой не высох. Когда он высохнет, целуюручки, будет аккурат как вы просили. И будьте так любезны не полениться посмотреть образец. Я же не указываю вам, как разбавлять пиво, извольте предъявлять претензии, когда стена высохнет, а цвет будет не такой, как на образце, — сказал Питюка.

Мне надоело слушать их споры, и я отправился домой, чтобы прибраться в квартире.

Я подумал, может, и к лучшему, что Эстер еще не вернулась, собственно говоря, что ей делать на похоронах, как ни крути, они видели друг друга всего два раза в жизни, и того хватило. Когда вернется, расскажу ей, что мама умерла. По крайней мере, успею навести порядок в квартире к ее возвращению. Скажу ей только — сердечная недостаточность. Впрочем, она и не спросит. Я же ее никогда не расспрашивал. Я терпел, когда она била меня кулаком по лицу, когда она запускала деревянной шкатулкой фирмы "Ремингтон" мне в затылок, и я оставался в неведении долгие годы. Конечно, я сам совершал ошибки, непростительные ошибки, но, по крайней мере, я их осознавал. Правда, что толку в том, что мы сознаем собственные слабости. Сегодня осознали, завтра забыли. И тут появляется Эвайордан. Прежде я считал себя чуть ли не ангелом, а на поверку оказалось, я грубое животное, как мой отец, как все остальные. Заговаривать о моей несчастной маме, вот этого не надо было, здесь Эвайордан промахнулась по-крупному. И оправдываться, что в разрыве всегда виноваты двое, тоже не надо было. Страшно подумать, до чего я дошел, каким подлым и смешным трусом я оказался. Нет большей трусости, чем двуличие. Даже темная одиночная камера не делает таким одиноким, каким делает ложь. Каждый новый флакон жидкого мыла с хлорным запахом все сильнее отдалял нас друг от друга, словно разлом святого Андрея в Калифорнии, но впрочем, уже не важно. В общем, наверное, даже к лучшему. Все отношения рано или поздно заканчиваются. Мы любили друг друга, мы мучили друг друга, но теперь все позади, думал я.

Наверно, жизнь могла сложиться по-другому, если бы мне столько лет не приходилось ухаживать за мамой, думал я. Но она все-таки была моей матерью, я не мог сдать ее в дом престарелого актера или в психиатрическую лечебницу. От меня она получила больше, чем до того дала двум своим детям вместе взятым. Мало кто будет каждый день варить еду для своей сумасшедшей матери и тем более мало кто выдержал бы этот спектакль с добровольным затворничеством. Она превратилась в живой труп, только потому что прежде жила не по совести. Даже секретарь парткома имел право плюнуть ей в лицо. Естественно, я не ис-

ключение, некоторые дети готовят еду для своих матерей, платят за них в кафе, но пятнадцать лет каторги вряд ли бы кто вынес. Вообще удивительно, что она продержалась так долго. В ее возрасте сердечная недостаточность у каждого второго, косит людей, как испанка в начале века, думал я. Я увидел пожилую женщину в Музейном саду, выгуливающую собачку, она шла, загребая гравий, и походка у нее была точь-в-точь, как у актрисы Веер, но я точно знал, что эта женщина просто похожа на маму и что подобные галлюцинации повторятся еще не один раз. Мама сядет рядом со мной в трамвае или на переднее сиденье в троллейбусе. Да, можно было предположить, чем весь этот балаган закончится, а что мы предполагаем, тем и располагаем. В конце концов, не раскроил же я ей череп топором, думал я. И врач сказал, сердечная недостаточность, думал я. Скорее инсульт, с сердцем у нее было все отлично, думал я.

— Добрый день, — поздоровалась со мной жена Берени.

— Добрый, — сказал я.

— Мои соболезнования, — сказала она.

— Спасибо, — сказал я.

— Заходите? — спросила она и подержала дверь подъезда, а я сказал, спасибо, вошел в подъезд, остановился на лестничном пролете первого этажа и стал открывать почтовый ящик, чтобы не подниматься вместе с ней по лестнице. Я, как обычно, сделал два коротких звонка, так мама узнавала, что это я, но потом до меня дошло — незачем звонить. Сработал условный рефлекс, так иногда мы автоматически выключаем свет, который уже был выключен.

Начался осенний вывоз хлама, и я подумал, что самое время избавиться от "Аптечноговестника" и "Телерадионовостей". У подъездов люди собирали мусор в кучи, чтобы на следующий день Управление коммунального хозяйства вывезло всевозможные и неизбежные отходы жизнедеятельности, которые в течение года забываешь отнести на помойку. В одну кучу были свалены сломанное пианино и консервированная фасоль довоенного производства, водопроводные краны и засранные птичьи клетки, ржавые куски велосипедов и ванны, пожелтевшие от извести, растрепанные женские романы, иллюстрированные журналы и черно-белые телевизоры, шезлонги, пропахшие бабушкой, и семейные альбомы, те, что, предназначены для просмотра вдвоем, с пикантнейшими фотоснимками, сделанными в первую брачную ночь. Наследники центнерами тащили швейные машинки "Зингер", нитки "Ланцхид", поеденные молью пальто из лодена, игрушечные броненосцы-потемкины и алюминиевые столовые наборы, с которых слезла позо-

лота. Воняли выставленные на тротуар бочки с протухшим овощным рагу, смердели судна и ночные горшки, по району разливался запах мочи и гнили. Вот уже на протяжении трех поколений люди, из года в год, собирали всевозможный хлам в кучи перед подъездами, и на следующий день службы коммунального хозяйства его вывозили. Я долго не понимал, как мусор со всей улицы вмещается в один контейнер, но потом один из работников коммунальной службы рассказал мне, есть специальное устройство, знаете ли, которое перемалывает даже стальные предметы. Из ванны оно сделает маленький горшок, представьте себе, а если мы засунем в это устройство дом, он станет меньше гаража, потому что гидравлика не только перемалывает, она еще и сплющивает, превращает в блин, это немцы изобрели, они невозможные чистюли, у них это принято, знаете ли, сказал он и угостил меня сигаретой, которую в свое время американские солдаты где-то обронили, и у нее до сих пор остался заокеанский вкус.

— Лучше, чем "Кошут", — сказал он.

— И правда лучше, — сказал я, затем шофер закричал, заканчиваем, становись на платформу, нам еще в поселок ехать. Работник потушил сорокалетний "Честерфилд", взобрался по лесенке и схватился за ручку. В кабине спереди сидели трое, а он вместе с напарником стоял к ним спиной, возле пасти прессовального агрегата, словно каменное изваяние, только в оранжевой униформе, в другой руке у него болтался полиэтиленовый пакет с мелким хламом, который может пригодиться в хозяйстве.

После похорон я решил отнести на свалку газеты, чтобы освободить комнату для прислуги, когда-нибудь в ней будет детская, думал я. Я отнес поеденные молью платья, постельное белье, пропахшее мятой и миндалем, и махровые полотенца. Затем освободил ящики, сделал из простыни мешок и свалил туда пудреницы, флакончики с духами и витаминные кремы от морщин, которые на самом деле ни хрена не помогали, напрасно она измазала их на сумму, на которую можно было бы совершить кругосветное путешествие. Небытие плотно опутало ее своими нитями, точно паук божью коровку. В довершение я выгреб все продукты из холодильника и поснимал ковры по всей квартире.

— Жаль, красивые ковры, — сказал сосед, живший напротив, который вместе со своим прыщавым отпрыском пытался вытащить на улицу старый холодильник, поскольку из Вены привезли "Занусси".

— Занимайтесь лучше своим хламом, — сказал я и с лестничного пролета услышал, как сосед расписывает сыну — это

семейка ненормальных, кто знает, сколько наш недоделанный писатель продержал труп матери в квартире. Мне было наплевать на их пересуды.

Я решил очистить этот склеп от декораций. Я выбросил кресло, украденное из "Леди Макбет", и кровать Лауры Ленбах, и все равно задыхался. Затем мне попался топорик, которым я когда-то подрубал ствол рождественской елки, чтобы она неколебимо стояла все праздники на подставке. Я вдруг с размаху вонзил топорик в кухонный буфет, точно врагу в череп.

— Господиисусе, что вы делаете? — спросила жена Берени и, оцепенев от страха, застыла в дверях, наверняка зрелище было не из приятных — я со всей дури кромсал кухонный буфет и кричал, сдохни наконец, ты шалава.

— Убирайтесь, — орал я, но она неподвижно стояла и смотрела, словно ее гвоздями прибили к порогу. — Что вы пялитесь? Настучать хотите?

— Нет, нет. Зачем мне стучать? — сказала она, побледнев.

— Не врите! Вы видели меня в подъезде! Вы отлично знаете, меня не было дома!

— Когда? — спросила она.

— Не прикидывайтесь! Я не убивал ее, зарубите себе на носу! Я показывал заключение? Сердечная недостаточность! Ясно?! Меня даже не было дома! Я не мог убить, потому что меня просто не было дома!

— Конечно, вы не могли убить, — сказала она, но тут пришел ее ревнивый муж, с которым она двадцать лет собиралась развестись.

— Как ты смеешь прикасаться к ней, скотина? — набросился на меня Берени, и я видел, он готов вцепиться мне в глотку, но женщина оттащила его.

— Оставь его в покое. Не видишь, он не в себе, — сказала она.

— Все равно я набью ему морду! Как он смеет руки распускать?!

— Прекрати, дурень, он просто взял меня за руку, — сказала она и вытолкала мужа на лестничную клетку.

Я долго ревел, а потом лег спать. Когда я выполз из комнаты, уже темнело. Я хотел пойти к Берени, извиниться, но потом решил, что лучше разгребу завалы хлама. Хорошо хоть выплакался. Мне уже не хотелось ничего крушить, просто хотелось освободиться от лишних вещей. До позднего вечера я таскал оставшийся мусор и при этом следил, как бы не сломать то, что еще можно использовать. Ближе к одиннадцати в маминой комнате остались только пожелтевшие стены да следы от мебели на полу, в кухне осталось несколько мелких небьющихся

предметов, эмалированная кружка, ложки-вилки, тарелки. Можно было еще что-нибудь выбросить, но мои руки уже покрылись волдырями, я уселся на окно и смотрел на людей с фонариками, которые, вооружившись рюкзаками и тележками, в эти часы обходили район и что-то отыскивали в завалах.

Кто-то собирает выключатели от стиральных машин, кто-то охотится за старинными вещами, чтобы на следующий день продавать их на развалах. В свое время я так нашел промокшее собрание сочинений Маркса и развинченную кофеварку. Медно-желтая нотная папка Юдит тоже попала к нам вот из такой кучи. По ночам мы обходили район примерно как эти помоечники.

— Возьми этот ночной горшок, — сказала она.

— Майолика, — сказал я.

— Конечно, только немного воняет мочой, — сказала она.

— Точно такой задействован в "Скупом".

— Тогда дожидайся, пока его спишут, театральный, по крайней мере, не так зассан, — сказала она, и я выбросил горшок обратно в кучу, через пять минут она вытащила помятую нотную папку и сказала, что она ей пригодится. Если подумать, ну что тут могло пригодиться, мы никогда ни на чем конкретном не умели специализироваться, как те, кто, скажем, собирает только детские игрушки, или только бельe, или только металлолом. Однажды я даже видел, как любитель использованных вещей объезжал район на машине, и верхний багажник у него был забит погнутыми сушилками для белья.

Если спрессовать как следует, весь этот бутафорский реквизит поместится в один чемодан, думал я и смотрел, как внизу мужчина пытается разобрать телевизор.

— Не разбирайте, он работает, — крикнул я из окна, но он не ответил, только уставился на меня.

— Он правда работает, это я его выбросил. Там где-то даже есть пульт дистанционного управления.

— Отвали, — сказал он и с помощью газовой трубы отломал экран и перешел к другой куче.

Я налил себе остатки мятного чая из маминого чайника и стал наблюдать, как три цыганки ссорятся из-за платьев, еще вполне приличных. Одни люди тащили домой постельное белье, другие ковер, третьих интересовали исключительно кухонные полки, и каждый нашел себе что-нибудь. Супруги Берени вернулись домой около полуночи, я высунулся из окна и подслушал их разговор. Ты не притащишь в квартиру мебель, пропахшую трупным запахом, сказал муж. На что жена фыркнула: если бы ты ходил в театр, ты бы знал, это была звезда мирового уровня, наконец они потащили по лестнице шкаф с

дверцами под мрамор, принадлежавший не то Ирине, не то Маше, чтобы приспособить его под шкаф для обуви. Одни мраморные дверцы чего стоят, так что могу и не извиняться, думал я. Я сидел на окне и смотрел на мародеров. Иногда я отключался покемарить, но заснуть не мог — я хотел дождаться утра и посмотреть, как машина с пеликаньим клювом заглатывает остатки.

Проснуться на ничейной территории — это все равно что пробудиться в пустыне с зыбучими песками или в болотной трясине, которая не затягивает, но выталкивает человека все выше и выше, но облегчения это ему не приносит. Квартира была голой, как барак, даже хуже, но мне было безразлично. Одеяло облепило меня, теплое, как тина, и сперва я подумал, что это просто от пота, но потом почувствовал удушающе-мышиный запах. Только не со мной. Позор какой, обмочить штаны в тридцать пять лет, думал я. Улица тоже была вся мокрая, платаны в Музейном саду стали грифельно-серыми, хотя чего еще ожидать осенью. За окном смеркалось, получается, я спал примерно двадцать восемь часов. Сейчас же пойду туда, надо, надо, думал я. Одеяло я бросил в ванну, а с матрасом долго не знал, что делать. Потом я полил его водой, вытащил из кровати и повесил на радиатор. Да, сейчас же пойду туда, надо, думал я. Я видел окружающую действительность в подлинном свете. Я бы даже сказал: сейчас я впервые увидел все так ясно, как давно должен был увидеть. Я боялся этого нового для меня ощущения и в то же время был уверен, что поступлю правильно, как в детстве, когда я послал маминого любовника на хрен. Мне дадут пять лет, максимум восемь. Другие-то выдерживали на зоне, думал я. Возможно, зачтут чистосердечное признание, думал я. Должны учесть, я ведь сам приду с повинной, думал я. Но я не обмочусь по новой, думал я, и как раз надевал чистые брюки, когда в дверь позвонили. Минуту я колебался в прихожей, затем вновь прозвучал звонок, и я решил, что Эстер тоже должна узнать. Нет смысла увиливать, рано или поздно она узнает. Пять лет не шутка, Эстер не просто любовница, она самый близкий мне человек, думал я, и, когда я наконец открыл дверь, увидел приходского священника.

— У меня были дела в Пеште. Решил навестить вас, — сказал он. Сперва я не узнал его. Точнее, узнал, но было такое ощущение, будто я видел его много лет назад, скажем, в зале ожидания на вокзале, хотя прошло примерно полторы недели.

— Откуда вы узнали мой адрес? — спросил я раздраженно.

— От вас. Я помешал?

— Нет. То есть да. Не сейчас. Я навожу порядок в квартире, — сказал я. Мы озадаченно стояли в дверях.

— Я здесь до вечера. Если хотите, приду позже.

— Лучше сейчас. Только недолго, я опаздываю на встречу, — сказал я и отошел, чтобы он смог войти.

— Я думал, вы наводите порядок.

— Конечно. Только спешно. Но вы садитесь, — сказал я и затолкал его в свою комнату, потому что она еще имела хоть какой-то вид. Он в своей рясе переступил через кучи мусора, остатки мебели и осколки тарелок, и, пока я убирал одежду с кресла, я заметил, что его взгляд на мгновение остановился на матрасе, повешенном на радиатор.

— Случайно пролилась вода из ведра, — сказал я, жалея, что впустил его.

— Со мной тоже случается, — сказал он, и мне ужасно захотелось спросить его, почему он мочится в постель.

— К сожалению, мне нечем угостить вас. У меня сейчас даже супа из пакетика нет.

— Ничего страшного. Я на минутку заскочил, спросить, как вы.

— Хорошо.

— Не стесняйтесь, скажите, если я мешаю. Мне есть чем заняться в ожидании поезда.

— Скажу. А что, вездеход взорвался?

— Нет, но, скорее всего, я еще долго не сяду за руль. В пятницу я вез коробки с гуманитарной помощью, один ребенок прыгнул в грязную лужу, прямо под колеса. Вы сами видели, как они бегают вокруг машины.

— Он умер? — спросил я.

— Слава богу, несчастный отделался переломом таза. Оперировали здесь, в больнице Яноша. Поэтому я приехал в Пешт.

— Но вы же чуть не убили его, — сказал я и увидел панический страх на его лице.

— Да, я чуть не убил его, — сказал он.

— Не сердитесь. Я понимаю, ситуация не из приятных.

— Да уж, не из приятных.

— Думаю, не утешает даже тот факт, что вы везли коробки с гуманитарной помощью. Я сам видел, как они лезут под машину.

— Да, не слишком утешает.

— От себя не убежишь, — сказал я.

— Совершенно верно, — сказал он.

— Знаете, однажды я разговаривал с бывшим машинистом электровоза. Он уволился и стал выращивать вешенки, после того как женщина с двумя детьми бросились к нему под локомотив.

— Вы думаете, я теперь должен выращивать вешенки?

— Нет конечно. Я сказал это только к тому, что подобные ситуации легче переносить, когда ты знаешь, что Господь к тебе благоволит.

— Думаю, тут вы заблуждаетесь. Легче уж в Сибирь. Насколько я знаю, Бог еще никого не освобождал от угрызений совести.

— Конечно, вы абсолютно правы, — сказал я. — Постараюсь отвыкнуть и больше не путать исповедь и рынок.

— Рано или поздно вы поймете, что между исповедью и сочинительством не такая уж большая разница.

— Сочинительство это тоже рынок. Ну не важно, проехали, — сказал я, чтобы хоть как-то закончить разговор. По счастью, на подоконнике я заметил чайник, в котором оставался мамин мятный чай, будто наш чайник был тем самым благословенным рогом изобилия. — Хотите чаю? Он немного постоял, но пить можно, — сказал я и добавил, что вот сахару, увы, нет, и, прежде чем он успел ответить, я налил ему в жестяную красную кружку.

— Спасибо, — сказал он и вытащил из-под рясы пакетик сахару. — В поезде давали к кофе, но его я пью горький. Просто я привык привозить детям. Наверное, с вашей точки зрения это ханжество, но поверьте, сахару они обрадуются больше, чем тисненым изображениям святых.

— Это не ханжество. Подождите, я поищу ложечку. Возможно, еще осталась, — сказал я и пошел на кухню, чтобы отыскать ложечку среди столовых приборов, сваленных кучей в углу. Я пытался убедить себя, что этот человек пришел сюда не случайно. Случайно никто не снимает с полки "Исповедь". Да, если кому и можно рассказать обо всем этом кошмаре, то это отцу Лазару, приехавшему из глухой провинции. Человеку, который дает покалеченным цыганским детям сахар в пакетиках вместо изображений святых. Я долго не мог найти ложечку и, пока я ковырялся с мельхиоровыми вилками и плохо вымытыми тарелками, пытался выстроить причинно-следственную цепь событий. Сначала на голландском текстильном заводе ломается швейный станок, выпускают пятьсот бракованных свитеров, затем отец Лазар принимает во владение бывший особняк Вееров, прежде принадлежавший дружинникам, наконец, маленький Габриел попадает под вездеход, но выживает, и отец Лазар едет в Будапешт. Он приходит навестить меня, звонит в дверь, я думаю, что это Эстер, и открываю. Тут я понял, что все это бред. И еще я понял, что верю в Бога — не в шулера, который играет чужими судьбами и рушит их, точно карточные домики, но в Бога, которому уже пять тысяч лет насрать на все происходящее.

— Вам помочь? — спросил священник, и лишь тогда я заметил, что он стоит у меня за спиной с кружкой в руке.

— Не надо, я уже нашел. Только сполосну, — сказал я. — Лучше вернемся туда, здесь негде сесть.

— Странно, что вы живете в такой пуританской обстановке. Честно говоря, я представлял себе вашу квартиру совершенно по-другому.

— Так сложилось, — сказал я.

— Это недавно случилось? — спросил он.

— Нет. То есть да. Вчера она вывезла вещи. С тех пор тут бардак.

— Тогда мне, наверное, лучше уйти.

— Как хотите, — сказал я. — Я даже рад, что вы пришли. Хотелось бы соврать, что я ждал вас, но это неправда. Я и не предполагал, что когда-нибудь увижу вас снова.

— Понимаю, — сказал он.

— Не исключено, что однажды я сам приехал бы навестить вас. Нам не дано предугадать, когда мы придем за помощью к священнику. Или когда начнем разводить вешенки.

— Понимаю, — сказал он.

— Для меня что священники, что врачи. Если человеку плохо, все остальное не важно.

— Вижу, вы всегда были гордым человеком. Пока все в порядке.

— Знаете, я не из гордости. И кстати, калмопирин лучше исповеди ровно потому, что сбивает температуру без всякой веры.

— Тогда не исповедуйтесь, — сказал он.

— Хорошо, — сказал я. — У вас не найдется сигареты? Вы знаете, я на днях развелся и...

— К сожалению, сигареты нет.

— Ну не важно. Если честно, я сам выгнал ее. И я выбросил все, от крема для кожи вокруг глаз до огнетушителя.

— Понимаю, — сказал он.

— Мы тихо ненавидели друг друга. Я знаю, что церковь об этом думает, но жизнь далека от идеалов. Вместе мы причиняли друг другу одни страдания.

— Понимаю, — сказал он.

— Наверняка вы сами страдаете, когда проводите много времени вместе с Богом.

— Столько мы вместе не были, — сказал он.

— Не важно, но вы ведь понимаете, о чем я, правда?

— Конечно, понимаю, — сказал он. — Вы ненавидели друг друга.

— Сложно любить паразита.

— Понимаю, — сказал он.

— Того, кто спрашивает, гдетыбылсынок, даже если я просто ходил пописать.

— Понимаю, — сказал он.

— Не важно, уже не важно. У меня нет жены. Хотя нет, есть, только не на бумаге. Мы уже довольно давно не живем вместе. Я спутался с профессиональной курвой, а она с любителем-астрономом. Хотя, может, и нелюбителем.

— Понимаю, — сказал он.

— Начал я.

— Понимаю, — сказал он.

— При этом я всегда жил с матерью.

— Понимаю, — сказал он.

— На днях она скончалась.

— Сожалею, — сказал он.

— Тут не о чем сожалеть, я говорил, мы ненавидели друг друга.

— Иногда это тесно связывает.

— Да, — сказал я.

— Понимаю, — сказал он.

— В любом случае ей так будет лучше. Наверное, мне тоже. По крайней мере, вчера я выгреб отсюда кучу дерьма.

— Понимаю, — сказал он.

— Что вы заладили с вашим понимаю! Вы кто? Попугай? Вы за этим сюда пришли? Что вы хотите из меня вытащить?

— Я ничего не хочу из вас вытаскивать. До сих пор я даже не знал, что вы жили с матерью, — сказал он и откинулся на спинку стула, словно решил остаться здесь навсегда. — И я просил вас, скажите мне, если я мешаю.

— Мешаете! Это не исповедальный стульчик! Это мой стул!

— Знаю, — сказал он.

— Нас тошнило друг от друга, и точка. Были на то причины! Разве так не бывает?

— А вы так красиво пишете о своей матери, — сказал он.

— Оставьте, это все бред! Во всей этой хрени нет ни одной правдивой строчки! Ложь! Ложь, получившая госпремию! Вы в любое дерьмо будете верить?

— Вам я поверил. Не сердитесь, но думаю, сейчас вы врете, хотя помнится, я не спрашивал ни о чем. Я просто сказал несколько раз, что понимаю. Как попугай. Вы правы, наверное, что-то я не понимаю. Возможно, вы ненавидели ее, возможно, были причины, возможно, вы выбросили даже ее полотенца, но от этого еще никто не мочился в постель.

Мне казалось, я сгорю. Не от ярости, а со стыда. Или скорее от страха.

— Не сердитесь, — сказал я.

— Не буду. Почему вы думаете, я до сих пор сдерживался?

— Вам лучше уйти, — сказал я.

— Я немного проветрю, — сказал он, затем открыл окно и взял зонтик. — Я принесу сигарет и что-нибудь перекусить. Думаю, вы уже давно не ели. Глоток пива иногда помогает.

— Лучше принесите вина, — сказал я.

Когда я остался один в комнате, пропахшей мочой, мне вдруг стало страшно, как и тогда, когда мне показалось, что Эва Йордан хочет отравить меня. Полный бред. Я не умею общаться со священниками, думал я. Нельзя мне было его впускать. Что он знает о Боге? Есть Гражданский кодекс. Я буду требовать, чтобы провели эксгумацию и установили причину смерти, но я совершенно не нуждаюсь в успокоении души. Мне дадут пять лет, я отсижу. Другие же выдерживали. Мне зачтут чистосердечное признание. В конце концов, ведь я не раскроил ей голову топором. В крайнем случае, я могу сбежать из тюряги. Врач сам сказал, сердечная недостаточность. Если я туда не пойду, никто не узнает. Но я пойду. А может, уже не нужно. Да, вполне вероятно, соседи вчера донесли. Нечего было набрасываться на жену Берени. Нельзя было терять самообладание. Они кого угодно могли отправить сюда вынюхивать. Вот хоть этого священника. Почему нет? С этим прохиндеем нужен глаз да глаз, потому что он умный. Слишком умный. Подлый партийный сексот, которого обучили психологии и внедрили в церковные ряды. Только это неправда. Все вокруг неправда. Я пропал. Он пошел за вином ровно для того, чтобы потом разговорить меня. Не тут-то было. В общем, я правильно сделал, что впустил его. По крайней мере, я теперь знаю, с кем имею дело. Как он вычислил матрас. С одного взгляда вычислил, фашист. И еще хватило наглости сказать мне об этом. Ну, от чего может обоссаться взрослый мужчина? В глаза он мне не посмел сказать отчего. Я и не думал отрицать. Я просто не пришел домой. Точка. Я взрослый человек, у меня вполне может быть семья. Или работа. Я мог задержаться на работе. Бывает такая работа, человек неделями отсутствует. Я давным-давно должен был уйти из дома. Даже до Эстер. Еще когда Юдит уехала. Продержаться пять лет или восемь. Просто продержаться — и на свободу. В любом случае оно того стоит. Даже если человека упрячут за решетку, жизнь продолжается. Тупому и то понятно. Для этого не надо быть суперпсихологом. Но я не буду разговаривать со священниками. Ни врачей, ни священников я больше в жизни не увижу. Это врачи мне подкинули сраного звездочета. Доктор Хер Собачий, который отлично понимает, что я не сдам свою мать в клинику, но с любимой женщиной, будьте добры, прекратите половую связь. Нормальный человек такого не скажет, только

импотент, обнюхавшийся димедролом. Это он наговорил ей всякой ахинеи, чтобы она поехала домой. Конечно, по возможности одна, потому что так лучше. Да ни хрена, бля, не лучше. Я сам отлично знаю, в чем проблема, но ни священников, ни врачей не желаю больше видеть. И я запрещаю ее вскрывать. Я даже Господу Богу сломаю руку, если он попытается прикоснуться к маме, думал я, затем я наконец нашел пальто.

Спрятавшись за промокшими кустами в Музейном саду, я наблюдал, как он возвращается с авоськой. Минут десять он звонил в дверь на этаже, и, когда он вышел из подъезда, он был скорее раздражен, чем разочарован. Он пару минут постоял на тротуаре, посмотрел на часы, затем на раскрытое окно и наконец ушел. Я долго стоял под проливным дождем, словно под холодным душем, но был уверен — так лучше для всех. Нет ничего паршивей, чем плакаться священникам, точно я кающаяся шлюшка. Понятное дело, он хотел как лучше. Это моя проблема. Мне не нужны отцы-исповедники, простите великодушно. Возможно, в другой раз, подумал я и вернулся в квартиру, поскольку не знал, куда еще можно пойти в это время.

На дверной ручке висел целлофановый пакет, в котором лежали сигареты, вино, двести грамм вареной колбасы и два пакетика "Магги". В щель между дверью и косяком он засунул записку, что еще зайдет вечером и что, если сейчас я по какой-то причине не хочу с ним разговаривать, он всегда будет рад меня видеть.

Пусть нас обвенчает он, думал я, пока кипятил воду для супапюре из сельдерея. Хотя не уверен, что нам нужны эти церемонии, думал я. Алтарь не буфетный столик, думал я. Перед алтарем стоят те, кто действительно во что-то верит, думал я. Кто не морщится от ладана, кто чувствует, что ему это нужно, думал я. Затем я порезал в суп колбасы и налил себе немного вина.

Обед пришелся очень кстати. Я даже выкурил сигарету, затем подмел в квартире. Я несколько раз выносил мусор, оставшийся хлам отнес в комнату для прислуги. Матрас высох, квартира стала выглядеть весьма сносно, и, кстати, я понял, что люблю убираться.

Он позвонил в дверь около семи вечера, как и обещал, но я не открыл, потому что тогда мне пришлось бы все объяснять. Точнее, я хотел крикнуть ему вслед из окна, но потом решил, что не стоит. Если он оглянется, он все поймет, думал я, но он не оглянулся.

Я решил написать ему потом открытку и поблагодарить за еду. По правде, до него я не встречался со священниками, которых бы не воротило от Священного писания. Для которых любовь была не пустым заученным словом. Вы замечательный свя-

щенник, отец. Ваш суп-пюре из сельдерея помогает больше, чем красное вино ваших коллег. Неудивительно, что из коронационной церкви вас сослали в захолустье. Поверьте, отец, вездеход господина епископа насмерть задавил бы этого несчастного ребенка. Даже если не насмерть, господин епископ поедет навещать больного — к вящему стыду — только на вездеходе. В том, что он поедет, я не сомневаюсь. И устроит такую мессу возле капельницы, что даже у телеоператора глаза наполнятся слезами. Возможно, вы со мной не согласитесь, отец, возможно, мой горький опыт подводит меня, но простите, я привык обжигаться. Конечно, образ Бога у меня второсортный, но он мне достался от священников второго сорта, думал я. Это все очень индивидуально и очень грустно, думал я. Но, может быть, со временем что-то изменится, думал я. Теперь мы знаем, что даже чистота в комнате вещь непостоянная, думал я. Вы правы, отец, я чрезмерно самолюбив, но, когда я не нуждаюсь в сочувствии, я лучше буду просто кивать головой. Вот так. И я верю, что однажды вместо мочи по моим ногам потечет, скажем, пот Эстер.

Я набрался храбрости и отправился в окружную полицию, но, дойдя до вахтера, передумал. Мне пришло в голову, что будет лучше, если я сперва поговорю с врачом, который установил причину смерти. Я помнил, что засунул протокол в один из ящиков вместе с другими бумагами, касающимися похорон. К счастью, бумаги я не выбрасывал. Мамины письма, адресованные в нигденаходящиеся гостиницы, я запихал в ящик еще до прихода кладбищенских работников, забиравших труп. Пришло время узнать очередную правду, я достал из кошелька лезвие и по очереди вскрыл все сто двадцать четыре конверта. И в каждом находил чистые открытки, за пятнадцать лет она не написала ни строчки ни Юдит, ни мне. Это значит, что она с самого начала разгадала эту жалкую игру. Эстер была права, думал я, и тот факт, что мама на сто процентов была уверена, с кем она переписывается, не слишком меня удивил. Получается, она все знала, и обо всем помнила. Потом я подумал, что, если я продолжу-таки писать прозу, эти открытки мне пригодятся, поскольку бумага кончилась.

Вахтер спросил, к кому я, но имени я не вспомнил, и мне пришлось искать имя в протоколе. Я пешком поднялся на четвертый этаж. Отчасти потому, что у лифта толпилось много народу, отчасти потому, что никогда не спешит тот, кто знает: поспешишь — людей насмешишь. На одном пролете я остановился и, смотрясь в отражение в стекле, проверил, нормально ли сидит пиджак, до конца ли я застегнул рубашку, и тому подоб-

ное, затем я послюнил палец и протер глаза, поскольку не хотел выглядеть как псих. Спокойствие, думал я, надо было хорошо поесть утром, потому что голодный человек не так сконцентрирован. Перед триста двенадцатой я старался думать только о том, что даже здесь дверные ручки из алюминия. Я постучал.

— Войдите, — крикнула женщина. Я представился и сказал, мне нужен доктор Иштван Фрегел, она ответила, господина доктора сейчас нет, если у вас что-то срочное, вы можете подождать в коридоре, но вам лучше вернуться часам к двенадцати.

— Тогда, пожалуй, завтра, — сказал я.

— Передать ему что-нибудь? — спросила она.

— Нет, это личное, — сказал я и выдохнул, значит, завтра, или сегодня во второй половине дня, что ж, вернусь после. Казнь откладывалась, я уже направился в сторону лестницы, как вдруг двери лифта открылись, и я чуть не врезался в субъекта, констатирующего смерть.

— Вы меня ищете? — спросил он. Казалось, он не слишком рад меня видеть, но я точно знал, что если сейчас сбегу, то больше не вернусь никогда в жизни.

— Да, — сказал я. Мое сознание прояснилось, как вчера утром, когда я почувствовал, что одеяло облепило меня, словно теплая трясина. Я спокойно вошел в кабинет, как входят на почту оплатить счет, и в нескольких по возможности ясных предложениях объяснил ему, что это я убил свою мать.

— И что вы от меня хотите? — спросил он.

— Не понял. То есть как это что я хочу? Измените протокол. Вы сами знаете, что́ туда надо написать.

— И вы все то же самое расскажете в полиции?

— Естественно, — сказал я.

— Я выпишу вам лекарство, хотя это дело специалиста. У вас переутомление.

— Я совершенно не нуждаюсь в лекарствах. Вы не поняли, что я сказал?

— Почему же, понял. Вы обвиняете себя в смерти матери. И наверняка небезосновательно.

— Я не обвиняю себя! Вам что, не ясно?! Или вы боитесь, что на вас откроют дисциплинарное дело из-за того, что вы положили деньги в карман и отменили вскрытие?! Я хотел, чтобы она умерла! Я точно знал, что она умрет! Это называется убийством!

— Будьте любезны, держите себя в руках. Нет такого кодекса, по которому вас бы признали убийцей. Возможно, вы подлец, но фактически вы не совершали никакого убийства, как бы вам того ни хотелось. Либо вы гениально его замаскировали. Вас поганой метлой выгонят из любого полицейского уча-

стка в этой стране, поняли? Вас даже в психиатрическую больницу не положат, если вы только не устроите истерику похлеще этой, — сказал он и вытащил пачку рецептов, чтобы выписать успокоительное. Я сгорал со стыда, какой же я кретин, совсем потерял голову. На это я не рассчитывал, к неттакогокодекса я не был готов. Человек думает, что если он убьет свою мать, то для этого есть отдельный параграф.

— Я не нуждаюсь в лекарствах, — сказал я. Меня трясло, но я взял себя в руки.

— Я все равно выпишу. Не хотите, не покупайте.

— В общем, вы считаете, что я болен?

— Нет, просто переутомление. Кстати, я вам верю. И поэтому буду искренне рад, если вы здесь больше не появитесь. Да, вы правы, я с удовольствием кладу в карман пятитысячные, но я терпеть не могу подлецов. Даже с психологическими травмами. Принимайте лекарство, и все пройдет. Вы не один такой.

— Понимаю, — сказал я.

— Вы вроде бы писатель, если я правильно помню.

— Да, — сказал я.

— Напишите хорошую книгу. Проживите свою жизнь заново. Тогда вы успокоитесь и заработаете денег.

— Да, — сказал я.

— Ну вперед, дерзайте. Немного душевных потрясений придадут кураж в работе. Я выписал такое лекарство, что вы даже сможете иногда выпивать.

— Ясно, — сказал я, взял рецепты и встал.

Первые два дня прошли паршиво. Я твердо решил, что останусь жить отшельником в этой квартире. Я даже накупил кучу всего и в довершение успел поругаться с кассиршей в гастрономе. Она сказала, это не оптовый, поставьте немедленно все домашнее печенье обратно на полку, а я сказал, извольте меня обслужить, потому что это при фашистах было, не больше килограмма, а сейчас другое время. Захочу, могу скупить хоть весь гастроном, с морозильниками и неоновой рекламой. Меня раздражало, что она позволяет себе разговаривать со мной в таком тоне только потому, что я ей неприятен.

— Если вы не пробьете, я унесу, не заплатив, — сказал я.

— Только попробуйте, размажу вас, как кусок дерьма, — сказала она.

— Сожалею, это не так просто. И будьте добры, дайте мне шестьдесят пачек сигарет, — сказал я, люди в очереди нетерпеливо переминались с ноги на ногу, но все понимали, что прав я, в конце концов, я на свои деньги покупаю столько печенья и мятного чая, сколько хочу. Какая-то пожилая женщина сказала

девушке, выполняйте свою работу, а то вас вышвырнут из магазина, и вообще с такими манерами вам место на рынке Лехел. В итоге я смог заплатить, но девушка пробила все пачки печенья, коробочки мятного чая и пакетики с супами каждый в отдельности, чтобы я продолжал задерживать очередь, и затем бросила мне сдачу одними монетами.

— Пересчитайте, — сказала она.

— Спасибо, вместо этого дайте мне лучше блок спичек и десять пластиковых пакетов, — сказал я и переложил жратву в пакеты. Я вышел из магазина и побрел домой. По дороге меня колотило от ярости, какое право у нее было так разговаривать со мной? Что она знает о моей жизни? Она не имеет права обращаться со мной, как с последней мразью.

Словом, я твердо решил, что буду жить отшельником в этой квартире. Вполне, в общем-то, естественное решение, но уже на третий или на четвертый день выяснилось, что взаперти жить не так-то просто. Даже когда я был слепым, Юдит выводила меня погулять на лестничную клетку. Вполне может статься, что я уже больше не смогу видеть вещи в истинном свете, но это еще не делает меня сумасшедшим. Да, иногда я вижу вещи немного лучше, чем другие, но это еще не значит, что я должен превратиться в отшельника. Словом, я понял, что затея с добровольным домашним арестом — сплошной спектакль.

Первые два дня прошли паршиво. После второго разговора с доктором Фрегелом стало очевидно, что станция Спокойствие находится немного дальше, чем Маре Транкуилитатис, но добраться туда немного проще. Время — понятие относительное, особенно если человек чем-то занят. Я бы даже сказал, когда пишешь, давосское времяисчисление становится важнее гринвичского, оно так и остается важнее, вне зависимости от того, спустились ли мы по окончании работы с Волшебной горы в большой мир или не спустились.

Я всегда был слабым человеком, нет во мне ни упорства, ни приверженности религии. Но, по крайней мере, думал я, у меня есть неясные и туманные сны о какой-то там красоте и гармонии. Казалось, это само по себе немало, но я ошибался. Где-то я читал, что есть люди, которые строят лабиринты, а есть те, кто в них блуждает. И возможно, единственное, что меня отличает от остальных, так это то, что я способен выполнять оба задания. Судить, стоят ли мои лабиринты потраченных нервов, либо это просто старательно выполненная безделица, уже не мое дело. Задумываться после драки, как я докатился до такой мрачной перспективы, это не мое дело, пусть другие задумываются, а я в сторонке постою.

Сначала я хотел написать Эстер длинное письмо — как минимум о том, что случилось с мамой. Правда, видели они друг друга всего два раза в жизни, и этого им хватило, но я считал, что она должна знать. Словом, много раз я начинал писать Эстер, но после обращения рвал написанное в клочья, что, впрочем, неудивительно. Предыдущие полтора десятка лет я писал письма двух видов: одни начинались на "Дорогая Юдит", но большинство — "Уважаемая мама". Словом, у меня есть все причины полагать, что мои рассказы всегда были лучше и чище моих же писем. К сожалению, отец Лазар любезно сообщил мне, что сочинительство и исповедь весьма и весьма похожи. Рискну сказать, что тут он ошибается, так же как мама, которая заявила, ты даже не представляешь, сынок, сколько всего может простить себе человек в случае необходимости.

Все это не так уж сложно, литература похожа на зеркальное стекло в окнах новых офисных зданий. Весьма удачное сравнение, хотя ему и недостает сакральной церковной тишины.

Тот, кто сидит внутри, отлично видит улицу. Видит, как дождь прибил пыль на парапете, и ему не скучно, хотя каждый день он видит одно и то же. Видит, как водитель автобуса снова у кого-то перед носом захлопывает дверь, и не понимает, зачем ему это. Видит господина В., он и сегодня остановился на минуту перед входом, чтобы перевести часы назад, поскольку господин В., скажем прямо, имеет обыкновение опаздывать, и ему в голову не приходит ничего умнее, как соврать, что у него на часах ровно восемь, в то время как уже восемь десять. Естественно человек, который сидит внутри, понимает, если бы господин В., к примеру, работал шофером, никто бы не захлопнул дверь у него перед носом, но для нашей истории это совершенно не важно. В любом случае, тот, кто сидит внутри, отлично все видит.

Раньше мы сидели внутри, а теперь представим, что мы и есть тот господин В., который, переводя часы, зачем-то взглянул на зеркальное стекло. В основном он видит самого себя, как он стоит на тротуаре и возится с колесиком на часах. Каждое утро одно и то же все пятнадцать лет. Он видит, что шарф у него съехал набок, поскольку он опять несся как полоумный. Понимает, что на улице дождь, и опять разбрызгивает лужи седьмой автобус, хотя, возможно, этого-то он как раз не замечает. Он только видит, что взгляд его застыл, потому что начальник сейчас опять заведет старую песню — восемь или восемь десять. И опять господин В. решит, что лучше вообще не будет ложиться спать, но больше этого не повторится, потому что нет ничего хуже, чем опаздывать.

А потом до него внезапно доходит, что на самом деле он стоит перед окном, откуда уже много лет за ним наблюдает имен-

но тот, кому он врет. И если мы немного знаем человеческую натуру, несложно предположить, что с кем произойдет. Тот, кто сидит за стеклом, чувствует какое-то смущение и не может не понимать, что ужас в глазах другого сменяется ненавистью. От этого понимания один шаг до прощения. И все же тот факт, что в какое-то мгновение они смотрят друг другу в глаза, нисколько не помогает им понять друг друга. Одно дело — находиться внутри, и совершенно другое — наблюдать снаружи.

А теперь представим, что мы стоим по обе стороны зеркального стекла. Мы можем легко себе это представить, со стороны наблюдать всегда проще, смотреть в глаза, наоборот, сложнее. Ну и что это дает? А то, что все это очень похоже на сочинительство. Исповедоваться и отпускать грехи вполне можно без церковной рясы.

В комиссионном я купил себе карманный радиоприемник "Сокол". Раньше я покупал его ради музыки, поскольку привык, что у мамы всю ночь трещит телевизор, кроме того, под музыку гораздо лучше засыпать. Затем я стал слушать французские, русские и португальские новости, но скоро они стали меня раздражать. По обрывкам слов или только по интонации начинаешь догадываться, о чем речь, хотя на самом деле даже не знаешь, новости ли это или радиоспектакль. То есть сначала ты случайно улавливаешь одно, другое слово и беспричинно начинаешь вслушиваться, но в тебе неотвратимо поднимается чувство, что самое важное ты упустил. И тогда я перешел на арабские новости, там не было ни немецких слов, ни латинских, ни славянских, только монотонный ритм совершенно непонятного языка. Ночью, если приглушить радио, они убаюкивают гораздо лучше, чем музыка или европейские новости. Словно Господь Бог разговаривает с нами — когда мужским голосом, когда женским.

Есть история, которую я в любом случае должен вам рассказать. Мама сотоварищи выступали на улице Марко, а я напросился — можно с вами, — потому что хотел посмотреть, как выглядит тюрьма. Было четвертоеапреля или двадцатоеавгуста, не помню точно. Одет я был в велюровое пальтишко. Юдит сказала, да успокойся ты, это такое же противное место, как зоопарк, и осталась дома заниматься, а я представлял себе что-то вроде театра, где даже зрители в маскарадных костюмах и вынуждены пожизненно смотреть на пустую сцену.

Выступление проходило в каком-то зале — актовом, кажется. Стихи, рабочие песни, сценки воспитательного характера, стрекоза и муравей. Господин актер Диош исполнял роль стрекозы, потому что он неплохо пел, на любительском уров-

не, но для тюрьмы вполне годилось. К тому же — что самое ужасное — выкладываться было совсем необязательно. Если тебе говорят, что ты обязательно должен что-то сделать, за этим последует либо вознаграждение, либо, в случае отказа, — наказание. А если что-то делать необязательно, случиться может все что угодно. Словом, актеры решили отрабатывать проверенную схему, возможно, тогда на следующий год не придется играть Горького.

Я рассчитывал скорее на настоящую пьесу. На высоте дай бог пяти метров горели неоновые лампы, которые из соображений безопасности нельзя было погасить, и запах в зале был, точно в школьной столовке. Под гербом намалевали какой-то девиз, кажется, что-то на тему истины. Заключенные сидели на деревянных скамейках без спинок, тихие и смирные, правда, по обе стороны вдоль стен стояли охранники. Словом, это мало было похоже на выступление в провинции, там публика собирается до начала представления, все грызут семечки и во время спектакля свистят, если отрицательный герой перегнет палку. Но, по крайней мере, возле дверей стоят не часовые, а тети билетерши, и их гораздо меньше.

Я сидел на первом ряду с самого края. В зале было прохладно, а пальто я не надел, почему я думаю, что это было четвертое апреля. Я не надел его еще и потому, что оно было сшито из материала ровно такого же цвета, как тюремные робы, а мне хотелось сохранять дистанцию. Рядом со мной сидел мужчина атлетического телосложения, но выделялся он только телосложением, форма на нем была та же, что на остальных, и это словно обесценивало его. Наверно, триста дьяконов в одной церкви столь же ужасно выглядят, как триста заключенных в одном актовом зале, или триста дембелей на Восточном вокзале. Словом, этот мужчина напрасно был атлетического телосложения, и напрасно его взгляд был гораздо человечнее, чем у надзирателя, стоявшего рядом с нами, говорить об этом не имело никакого смысла. На свободе он спокойно мог быть и рабочим-металлургом, и физруком, и талантливым поэтом — здесь его считали винтиком, нулем, безликим зэком.

На руке у него была синяя наколка — женщина с большой грудью и с рыбьим хвостом. Я с любопытством смотрел на нее, мешало только, что картинка нарисована вниз головой, и лица не видно, потому что, когда мужчина сгибал руку, рукав телогрейки сползал аккурат русалке на шею. Я поздоровался и попросил, чтобы он показал мне и лицо женщины, но он поправил рукав телогрейки и сказал, это не для детей, малыш.

— Меня зовут Андор Веер, — сказал я и прибавил, что это моя мама только что читала Аттилуйожефа.

— Тысяча двадцать четыре, — сказал он, улыбнулся и добавил свое нормальное имя, но его я уже не помню.

Я спросил, почему он в тюрьме.

— Это не для маленьких детей, — сказал он, — но не бойся, я еще никогда никого просто так не обижал.

Я спросил, сколько он еще будет заключенным, на что он спросил, какое самое большое число я могу себе представить.

Я сказал, бесконечность.

Он сказал, ее никто не может себе представить.

Я сказал, что могу.

Он сказал, хорошо, тогда мне еще долго осталось, и спросил, сколько мне лет.

Я сказал, шесть с половиной.

Тогда пойдем другим путем, сказал он, представь, что ты прожил четыре своих жизни. Ты будешь взрослым мужчиной, и у тебя будет такая же красивая жена, как сейчас твоя мамочка, вот тогда я и выйду на свободу.

— Моя мама и тогда будет такая же красивая? — сказал я.

— Ну конечно, малыш, — сказал он и погладил меня по голове.

Я попытался представить себе, что будет, когда я проживу четыре жизни, но у меня ничего не получилось. Я только мог представить, как проживаю одну и ту же жизнь четыре раза, и две жизни не похожи на предыдущие.

— Это так много, — сказал я растерянно.

— Прорвемся, — сказал он, и мы стали смотреть представление, потому что надзиратель стал шикать на нас, чтобы мы замолчали.

Сцены не было, к полу изолентой прилепили бумажную полосу, за ней актеры играли, да по обе стороны повесили на веревке темные шторы вместо кулис. Началась сценка, где мама изображает работницу на заводе, а господин актер Бойтар играет тракториста. Они обсуждают, что делать с директором, который крадет с завода шарикоподшипники. Диалог был примерно следующего содержания. Мама видела, как директор кладет себе в карман подшипник, но доносить не хочет, в конце концов не у нее же крадут. Тракторист объясняет ей, что она неправа, а вдруг подшипник понадобится для его трактора, да еще во время жатвы, когда прошлогодняя пшеница на исходе, тогда из-за того, что нет подшипника, не смогут убрать хлеб. В финале мама осознает, что кража затронула лично и ее интересы, и не только ее, но и всего венгерского общества.

— Из свежей пшеницы не намелешь муки, потому что она через день сгниет. Запомни, малыш, вдруг пригодится в жиз-

ни, — прошептал мужчина чуть слышно, чтобы остальные не услышали.

— Эти тексты не актеры сочиняют, — сказал я, мне было немного стыдно, что мама говорит со сцены такие глупости.

— Конечно, — сказал он и спросил, есть ли у меня брат или сестра.

— Есть, только она не любит тюрьму. Поэтому она осталась дома заниматься. Она скрипачка, — сказал я.

— А ты кто? — спросил он.

— Пока не знаю, я много чего люблю. Скорей всего я буду художником, — сказал я и потом спросил, есть ли у него дети, на что он сказал, что у него есть сын, почти такого же возраста, как я, и что он любит плавать.

— А вы вместе плаваете? — спросил я.

Да, это он его научил, каждое лето они ездили на Тису.

— Значит, ваш сын может увидеть русалку, — сказал я.

— Ты опасней прокурора, — сказал он и спросил, может, я хочу, чтобы он посадил меня на колени, и я сказал, что хочу.

Дальше случилось что-то невообразимое. Только он посадил меня на колени, тут же словно из-под земли выросли два надзирателя, закрутили мужчине руки за спину и вывели из зала, а я стал кричать, отпустите его немедленно, он ничего не сделал, оставьте моего папу в покое, а зэки ржали. Затем мама утащила меня за кулисы и влепила пощечину, не столько за то, что я кричал, сколько за то, что назвал заключенного папой.

На самом деле финал этой истории был еще ужасней. Когда надзиратели закрутили мужчине руки за спину и вытолкали из зала, я не посмел ничего сказать. И спустя много лет я все высчитывал, когда освободится тысяча двадцать четвертый, и дрожал от страха при мысли, что однажды встречу его.

Однажды вечером я искал в ящике стола чернила, но осталась одна шариковая ручка, к слову сказать, я ненавижу шариковые ручки. В итоге я нашел блокнот на спирали. Сначала я подумал, что это от Юдит осталось, потому что почерк был с наклоном вправо, а я всегда писал левой рукой. Я много чего писал левой рукой, в основном описывал сны или записывал стихи, и все такое. Думаю, лет в четырнадцать-пятнадцать чувство стыда ощущаешь особенно остро. Если ты совокуплялся с актрисой Иветт Биро в гардеробе ресторана "Карпатия" и та имитировала оргазм, это еще куда ни шло, но, когда ты начинаешь посвящать актрисе Веер сонеты с глагольными рифмами, ты судорожно начинаешь искать, куда бы спрятать несчастные стишки. Такая своеобразная игра в прятки с вечностью. Постепенно выясняется, что среднестатической вечности около сорока пяти лет от

роду, иногда вечность хлопает, иногда встает и выходит из зала, но обычно сидит дома и на сон грядущий любит немного почитать. Со временем даже можно вычислить, сколько человек составляют эту самую вечность: в моем случае в Венгрии в настоящее время около пяти тысяч, что в общем не так уж плохо, не говоря уже о моих французских читателях. Словом, стоит нам задуматься о вечности, как она тут же начинает распадаться на составные элементы. Вечность создает Йолика, которая говорит, об этом можете написать, потому что это красиво, и сборщик налогов, который говорит, вот об этом обязательно напишите, потому что появились документальные свидетельства. Вечности сопричастны сухие мамины вопросы, чтоэтозачушьсынок, и полуночный стук пишущей машинки Эстер, похожей на пианино, в котором струны сделаны из дерева. Вернемся к тетради. Я нашел в ней одну историю, на полстранички, о помпейских жителях. Точнее, о раскопках: когда находят пустоты от человеческих тел, их заливают гипсом, а лица наших современников замирают от восторга, потому что в глубине остывшей лавы они находят самое себя. Затем Везувий извергается, и все начинается сначала, я записал эту историю, когда мне было пятнадцать, подростки обычно любят романтичные пассажи.

Недели через две появилась Эстер. Нет, скорее через три. Три недели. В тот же день, как приехала в Пешт. Она спросила, что случилось с мамой, а я старался рассказывать обо всем максимально сдержанно. Я соврал только, что жил не в ее квартире, поскольку не хотел ее впутывать во все это. Я даже придумал девушку по имени Адел Бардош, с которой познакомился в поезде, вот у нее, но она сказала, бесполезно, не ври хотя бы сейчас, когда она вошла в комнату, сразу поняла, что я там спал.

Я спросил, почему она так решила, на что она ответила, что много лет не хотела мне говорить, но я никогда не умел отличать по цвету лицо покрывала от изнанки. Потом она прибавила, что эта Адел была моей первой любовью в детском саду, она, рыдая, ела песок, когда ее мама решила, что переведет ее в элитный детский садик при министерстве.

Я сказал, что она ошибается и что ключ мог быть у кого-то другого, кто тоже не умеет отличать по цвету лицо покрывала от изнанки, на что она сказала, успокойся, кроме тебя, ключа нет ни у кого.

Какое-то время мы молчали, затем я увидел, что она до сих пор не сняла пальто, и спросил, будет ли она раздеваться.

— Я заварю чаю, — сказал я, она сказала, хорошо, и мы ждали у плиты, пока вскипит вода.

Я спросил, что она думает обо мне.

Она сказала, то, что она обо мне думает, не имеет никакого отношения к тому, что она ко мне чувствует.

Я схватил ручку чайника носовым платком, она принесла чашки и сахар. Я думал, ведь у нее уже был аборт, и психиатрическая больница, и чего только не было, и вот теперь она впервые в моей комнате. Поначалу она не могла найти для себя место. В итоге она села в кресло, а я на кровать, где и сидел раньше.

— Ну и как? — спросил я, хотя на самом деле хотел спросить, одна она ездила, или взяла с собой астронома.

— Давай не будем об этом, — сказала она.

— Конечно, — сказал я, и мы замолчали. Я пытался смотреть ей в лицо, как в тот первый раз, и думал, что, если бы сегодня утром встретил ее на мосту Свободы, я спокойно бы рассказал этой женщине обо всем. И лучше бы мне не знать, почему волосы у нее только до плеч и отчего морщинки вокруг глаз.

— Я возвращаюсь домой, — сказала она.

— Подожди немного, — сказал я.

— Я решила вернуться домой.

— Когда? — спросил я.

— Пока не знаю. Займет минимум полгода. Может, больше.

— Ладно, — сказал я. Затем она рассказала, что мужчина, который в свое время купил их дом, умер три года назад, она разговаривала с наследниками, если продать квартиру на улице Нап, можно выкупить дом.

— Понимаю, — сказал я и подумал, что продавать скорее нужно эту квартиру, тогда улица Нап останется на случай, если мы вернемся в Пешт, но понял, что это бессмысленно.

— Шестьсот километров это не так много. Одна ночь — и ты там.

— Конечно, — сказал я.

— Думаю, я сама буду довольно часто приезжать.

— Знаю, — сказал я.

— В этом городе я как в аду.

— Знаю, — сказал я.

— Возможно, там тоже будет как в аду, но там я, по крайней мере, дома.

— Знаю, — сказал я.

— Поверь, лучше мы об этом не сейчас поговорим.

— Ну да. Мы всегда говорили обо всем, но слишком поздно, — сказал я.

— Тогда не плачь.

— Я не плачу, просто дым в глаза попал, — сказал я и, пока она подходила ко мне и целовала меня в лоб, привычный страх сковал мне горло. Я был даже рад, что она думает, будто я плачу оттого, что она уезжает.

— Я могу здесь переночевать?

— Конечно, — сказал я, но, когда ее язык забрался между моих губ и прополз под аркой нёба, я испугался, что страсть моя вот-вот зашевелится. Один вскрик и несколько движений и взорвется к чертям этот бетонный склеп, в котором мне до сих пор было так хорошо и где мне были неведомы страх, доводы рассудка и лекарства доктора Фрегела.

— Нет, — сказал я.

— Молчи, — сказала она и расстегнула на мне рубашку, но, пока я добирался до ее коленей, напрасны оказались мои попытки думать о реквизитораздавливающей машине коммунальных хозяйственников. Бутафорский будильник не остановился, матрас пошел пятнами, но она сказала, ничего страшного. Я считал книги на полках: проза — тысяча две от "а" до "эм". Перебор. Те, что были написаны руками в резиновых перчатках, тоже надо было выбросить, думал я. Затем она выключила бра и накрыла нас одеялом.

— Поедешь со мной? — спросила она.

— Нет, — сказал я, и мы снова замолчали, только теперь в темноте.

— Тогда я останусь в Пеште.

— Не беспокойся. Ты говорила, что я выживу даже на дне морском.

— Я ошибалась, — сказала она.

— Да, — сказал я и обнял ее, но ее лицо было мокрым от слез, хотя она не плакала, по крайней мере не слышно было.

— Сколько ты будешь врать мне? — спросила она.

— Три недели. Может, месяц. Теперь я постою на мосту Свободы.

— Ты не имеешь на это права.

— Это единственное, на что у меня есть право, — сказал я.

— Не ты убил свою мать. Это твоя мать убила тебя. И, возможно, она убила и Юдит.

— Может быть, — сказал я, и до утра мы не разговаривали.

Когда я проснулся, она варила кофе. Голая, в моем пиджаке, наброшенном на плечи, она стояла возле окна и смотрела на дождь и на платаны в Музейном саду. Я сказал, не сердись, даже если бы у меня было право, ты же знаешь меня, с трусостью нелегко совладать. На самом деле, я только последние недели стал таким, были на то причины, к тому же ты хочешь уехать домой, словом, это была последняя проверка на прочность пеньковой веревки. Но ни на вершине ледника, ни на дне морском я не хочу жить, я ведь нормальный человек. Я детей хочу, конечно, никак не здесь, в этом старинном склепе, мы продадим эту кварти-

ру, и на вырученные деньги купим домик твоего дедушки, и еще кое-что останется, у форинта сейчас хороший курс. И тогда улица Нап будет на случай, если мы иногда будем приезжать в Пешт, мне ведь в любом случае придется ездить сюда в издательство. Дай мне три недели, месяц максимум, пока я закончу эту книгу. К счастью, работа хорошо продвигается, что меня очень удивляет, иной раз человек месяцами мучается из-за одного эпитета, а сейчас как лавина сорвалась. Правда, потом, скорее всего, много придется исправлять, но, если мне удастся сохранить темп, тогда в конце октября ты можешь начать печатать. Только теперь я сам буду искать издательство, видишь, как все сложилось, это была скверная шутка, ну да ладно. Словом, дай мне еще две недели одиночества, чтобы наконец увидеть в истинном свете все, что давно уже нужно было увидеть, но только не приходи эти две недели, даже по понедельникам. А потом я дам объявление о продаже квартиры в "Экспрессгазету", потому что риэлторы в большинстве своем жулики, лучше будет, если ты сама напишешь наследникам, и, как только придут отцовские деньги, мы сможем внести задаток...

— Ты закончил? — спросила она.

— Да, — сказал я.

Она повесила мой пиджак на спинку стула, а я уселся на стол и смотрел, как она одевается. Ее соски затвердели и стали лиловыми, а все тело дрожало, как прежде, когда она ложилась в ванну с холодной водой. В ее взгляде не было ни жалости, ни ненависти, ни даже равнодушия. Просто ничего. Как у того, кто минуту назад родился, только в придачу Бог наградил его тридцатью тремя годами изначальной жизни. Сперва она надела чулки и туфли, а затем блузку.

— Мне остаться? — спросила она.

— Нет. Ты никогда себя не простишь.

— Совершенно не важно, кого из нас я никогда не прощу, — сказала она и натянула юбку. — Только сидеть дома и пытаться что-либо понять, просто невыносимо.

— Однажды поймешь.

— Как тебе будет лучше.

— Так лучше.

— Знаю, — сказала она, затем я помог ей надеть пальто, она поцеловала меня в лоб и спокойно вышла, точно отправилась за хлебом.

Через несколько дней прекратился дождь, и я спустился на полчаса в Музейный сад. Возле колонки я нашел искалеченного голубя, какая-то собака постаралась. Сидя дома, я пытался понять,

почему все так сложилось в моей жизни. Перед моими глазами проносилось: на похоронах господина актера Уйхейи я в сердцах сказал Юдит, что, если она больше не может врать, пусть пойдет домой и перережет себе смычком вены на запястье. Потом я вспомнил, как из-за замечания Юдит по поводу заметки, которую напечатали на первой полосе, мама сто раз проверяла дымоход. Внезапно я увидел, как молодой доберман господина, кажется, Шобеля, ринулся поохотиться на голубей в Музейный сад, хотя это запрещено. Мне только и остается тасовать эпитеты, думал я. Уже несколько дней застой, напрасно я ищу финал тюремной истории, один ничуть не лучше другого. И тогда я решил, спущусь-ка я на полчаса, пока дворник не нашел голубиный трупик, к тому же у меня в кармане даже есть целлофановый пакет. Словом, я пытался осмыслить свою жизнь, но потом понял, что это такая же бессмыслица, как мамина отговорка в давнишнем спектакле, что она не любит хлеб исключительно потому, что начальник цеха украл с завода шарикоподшипник, чтобы сделать самокат своему ребенку. Жизнь бессмысленна, не оттого что она не зависит от Бога, который бы распоряжался нашими судьбами, Бога нет. Жизнь бессмысленна ровно потому, что она зависит от самого человека, который иногда видит все по возможности ясно, а иногда пятнадцать минут кряду стоит на тротуаре и отупело переводит стрелки часов. Зря старается, за пятнадцать лет он окончательно раздолбал устройство, и стрелку уже никак не водворишь на место.

Затем пришел дворник с крючковатой палкой и черным целлофановым пакетом и собрал сигаретные пачки, обертки от шоколадок и прочий мусор, валявшийся вокруг скамеек. Возле голубиных перьев он остановился, все-таки органическое удобрение, но в итоге успешно перебросил в мешок лучшую часть голубя, и я подумал, что у меня действительно весьма инфантильное представление о Боге, в которое дворник с целлофановым пакетом вполне вписывается. У Провидения необязательно два белых крыла за спиной, оно вполне себе может ходить в кроссовках "Адидас" и в болонье. И, запихивая в мешок голубиные останки, Провидение спокойно может выругаться и поплевать три раза через левое плечо. Затем я подумал, что, если уж он голубя взял, газетную бумагу и подавно возьмет.

Если я правильно подсчитал, сегодня исполнилось тридцать шесть лет с того дня, как Андор Дарваш, Ребекка Веер и Эва Йордан уселись на заднее сиденье служебной "волги", чтобы неблагоприятные обстоятельства не помешали их роману. Йордан подарила мне фотографию, сделанную в охотничьем домике, это было примерно в те дни, когда сокурсники моего отца,

изучающие историю Венгрии, разливали в пивные бутылки из-под Кёбаньского "коктейли Молотова". Фотография размером с лист почтовой бумаги, с узорчато-обрезанными краями, не шедевр, но хорошо скомпонована, даже не пожелтела. За столом, сколоченным из досок, сидят трое, перед ними стаканы и графин, на три четверти наполненный вином, за ними сумрак другой комнаты. Мой отец в свитере, мама склонила голову ему на плечо, губы полуоткрыты. Слева Эва облокачивается на стол, подбородок подпирает рукой, между двух пальцев сигарета, правая рука лежит на маме, но ее не очень видно из-за кувшина. Все трое смотрят в объектив "Зоркого" и ждут, пока отэкспонируется автоспуск. Взгляды свободные и открытые. Они не улыбаются и не рвутся в никуда. И если я все правильно подсчитал, когда в конце ноября они вернулись обратно в Будапешт, на заднем сиденье ехало уже пятеро.

Сначала я планировал написать на обороте фотографии несколько строк Эстер, но в голову ничего не пришло. Я просто надписал адрес и долго смотрел из окна, когда закончится возложение венков перед Радиокомитетом, потому что ближайший почтовый ящик там.

Естественно, я боюсь. Но пока она окончательно не растает в каменной печи, во мне еще будет оставаться что-то человеческое. Если бы я сидел где-то далеко, скажем, во дворе домика на берегу озера в каком-нибудь захолустье, я бы и тогда написал, что только одно наполняет меня восхищением: звездное небо над головой. А этого слишком мало.

Дэниел С. Либман

У кошки в брюхе

Рассказ

Перевод с английского Антона Ильинского

В тот самый день, когда мистер Кристофер отменил подписку на все свои газеты и журналы, он начистил полкило крупных креветок. Это был его первый подобный опыт, и он извел почти целый рулон бумажных полотенец, оттирая пальцы от склизких черных ошметков. Затем мистер Кристофер взял головку чеддера и натер сыр в тарелку. Теркой он раньше никогда не пользовался и сейчас случайно нашел ее в ящике для столового серебра. Потом из овсяной муки он замесил тесто для пирога с изюмом, позвонил в службу эскорта и заказал девушку. “Мне нужна Карлотта; она ведь латиноамериканка, верно?”

Тем же утром, чуть раньше, он позвонил в “Трибюн”. “Аннулируйте мою подписку. Газета мне больше не нужна; не надо ее приносить. Колонки с полезными советами мусолят одно и то же: алкоголизм, курение, супружескую неверность — хотя иногда там встречаются пикантные истории, и это мне нравится. Сатирические полосы слишком уж заумные, да и юмор так себе. Колумнисту с третьей страницы вообще пора обратиться к психиатру — у него явно не все в порядке с голо-

© 1999 by Daniel S. Libman
© Антон Ильинский. Перевод, 2011

вой. А ваш телекритик пишет исключительно о каналах, которыми вы владеете. Но что мне не нравится больше всего и почему я, собственно, аннулирую подписку — вы слишком часто выходите: ежедневно, а какой от этого прок? Мне уже не так много осталось, а сколько времени я потратил, годами копаясь в вашей газете, читая и листая ее, пачкая пальцы краской, каждую неделю вынося с третьего этажа мусорные пакеты, набитые спортивными разделами и рубриками с кулинарными рецептами, в которые я вообще никогда не заглядывал?"

Мистера Кристофера задело, с каким безразличием сотрудник "Трибюн" отнесся к его заявлению об отмене подписки. После стольких лет преданности газете, думал он, там должны как-то побороться за него, проявить хоть сколько-нибудь уважения: "Но мистер Кристофер, только подумайте: вы хотите просто так выбросить целых шестьдесят лет?" Впрочем, ничего они бы этим не добились. Он уже все решил.

Мистер Кристофер полтора года как жил вдовцом, на пенсии, и весил на треть меньше, чем в сорок лет. У него были зубные протезы, паричок, который, правда, он уже не носил и который одиноко висел в холле на деревце в кадке, искусственная нога и брат, живший на пару штатов восточнее; брата он не любил, равно как и его болтливую всезнайку-жену.

Идея пришла к нему накануне вечером, когда он сидел за столом перед тарелкой с холодным сэндвичем и соленым огурцом и глядел на кипу газет; они ему уже до смерти надоели.

Мистер Кристофер отменил подписку и на журналы: "Ист кост арбайтер", "Харбингерс", "Нью стейтсмен", даже на "Конвиниенс стор мерчандайзер", который ему по старой памяти бесплатно приносили с бывшей работы.

Он связывал бечевкой номера "Трибюн" за последнюю неделю, когда взгляд его вдруг упал на кулинарный раздел. "Блюда для особо торжественных случаев" — гласил заголовок. Я вам устрою торжественный случай, — подумал мистер Кристофер, — по поводу этого поганого шестидесятилетнего юбилея, мистер Трибюн.

Мистер Кристофер первый раз в жизни решил открыть кулинарный раздел и приготовить эти особые блюда. Он составил план действий: купить свежие фрукты, килограмм креветок; придется ехать на автобусе в специальный продуктовый магазин... Он даже просмотрел советы, как устроить незабываемый вечер: красивая посуда, музыка и лучшие друзья.

Когда она позвонила, мистер Кристофер как раз нарезал кубиками белую мускатную дыню для фруктового салата. Он вышел из кухни, подошел к домофону и удивился: какой

странный звук. Никто не звонил ему уже много... недель? месяцев? лет? Он наклонился к переговорному устройству, выкрашенному, как и стены в квартире, в грязно-белый цвет, и нажал на кнопку.

Говорить: Да?

Слушать: Вы меня вызывали?

Говорить: Кто это?

Слушать: Это Моник. Вы меня вызывали?

Говорить: Нет, я вызывал Карлотту.

Слушать: Я Карлотта, откройте дверь.

Говорить: Кто вы?

Слушать: Карлотта. Хочешь меня, милый?

Он нажал кнопку "Дверь" и услышал, как на первом этаже запищал, открываясь, замок. Девушка была уже в доме; его сердце заколотилось быстрее. За одну-две минуты она преодолеет три лестничных пролета, затем остановится в нерешительности: в какую сторону повернуть; на это уйдет еще несколько секунд. Он жил в квартире "3a", она же сначала подойдет к "3b", так как лестница упирается прямо в нее, и тут ей придется выбирать, причем она может пойти направо и оказаться перед квартирой "3c" — в общем, у него есть еще несколько минут, чтобы передумать, чтобы отменить всю эту затею. Мистер Кристофер закрыл дверь на цепочку.

Но он зашел уже слишком далеко. На службу эскорта он наткнулся опять же в "Трибюн", на той странице, куда прежде никогда не заглядывал — там размещались объявления о знакомствах. В самом низу предлагался список услуг для взрослых с описанием женщин, их размеров, роста и веса; и он прекрасно понимал, о чем речь, — не вчера родился.

Мистер Кристофер услышал шаги, а затем стук в дверь. Быстро она добралась. Он нервно ощупал карман, куда положил деньги, — приличная сумма, столько наличных у него давненько при себе не бывало. Потом оценивающе оглядел себя — свой живот и домашние тапочки; заметил, что конец ремня болтается. Он заправил его в петлю вельветовых брюк, а стук в дверь тем временем становился все громче и настойчивей.

— Да, да, — поспешно проговорил он. — Сейчас.

— Это я, — ответила она, будто была его давней знакомой. Он вдруг почувствовал к ней благодарность за то, что она не прибавила: "Та шлюха, которую ты заказывал" или что-нибудь в том же роде, что могло вызвать ненужные подозрения у соседей. Он быстро убрал цепочку и открыл дверь.

Она была на голову выше его, с белоснежной кожей и длинными полными ногами, чуть прикрытыми крошечной

юбочкой, живот и плечи оголены. Мистер Кристофер никак не ожидал увидеть такое обилие плоти, поэтому даже поперхнулся, прежде чем произнести хоть слово.

— Нет, — сказал он. — Ты не Карлотта. Та маленькая и изящная.

— Карлотта меня прислала. Я ее подруга, Моник.

Она прошла мимо него в квартиру, уверенно направилась в гостиную, оставляя за собой сильный запах духов, и мистер Кристофер проводил ее взглядом. Моник бросила маленькую сумочку на кресло с таким видом, будто пришла сюда далеко не первый раз.

Когда-то в этом доме были всего три большие квартиры, потом их перестроили и превратили в девять не очень уютных. Прежнюю просторную гостиную разгородили стеной, выделив спальню, и теперь гостиная у мистера Кристофера была длинная и узкая. Тот факт, что остальные помещения на этаже когда-то были частью его нынешней квартиры, вызывал у мистера Кристофера любопытство — ему очень хотелось посмотреть, как они выглядят. В тех редких случаях, когда соседи оставляли дверь открытой — собираясь выйти из дома или проветривая летом жилье, — а мистер Кристофер случайно проходил мимо, он на мгновение задерживался и вытягивал шею, пытаясь заглянуть внутрь. Ему всегда хотелось знать, какой была та, большая квартира, и его немного раздражало, что две трети ее занимали чужие люди.

— Неплохо пахнет, — заметила она.

— Это лук и зеленый перец, я нафарширую ими свиные отбивные, наше главное блюдо.

— Собираешь вечеринку? — спросила она, медленно повернувшись и в первый раз взглянув на изысканно накрытый стол. Обычно мистер Кристофер ел на диване, ставя на него тарелку и кладя рядом журнал, но сегодня он достал свою лучшую посуду, серебряные приборы и даже водрузил на середину стола две свечи.

— Нет-нет, это все для нас, — ответил он, подходя к магнитофону.

— Я уже ела.

— Нет-нет. Я сказал по телефону, что собираюсь устроить ужин и... что девушка мне нужна для ужина, а не только для всего остального.

В динамике заиграл кларнет Бенни Гудмана[1].

1. Бенни Гудман (1909—1986) — американский джазовый кларнетист. (*Прим. перев.*)

— Мне никто ничего не говорил. И времени у меня не так много.

— Ты нужна мне, по крайней мере, на три часа. Я ему все сказал: все объяснил. Не могу ведь я приготовить ужин за час, не говоря уже о том, что его надо съесть. Нас ждет салат, суп, закуски и пирог, который вообще еще не испекся.

— У меня есть час с того момента, как я вышла из машины, а это было пару минут назад. Если через час я не вернусь к Микки...

— Что за Микки?

— Посмотри в окно. Туда, через улицу.

Жалюзи были закрыты, поэтому он зашаркал к окну и отогнул одну из пластин.

Там, где стоянка была запрещена, опершись о капот машины и широко расставив ноги, стоял здоровенный мужик и читал газету. Автомобиль, хотя тоже был внушительных размеров, основательно просел под его весом.

— Что он здесь делает? — спросил мистер Кристофер.

— Пока ничего. Но предупреждаю: если я не спущусь через... пятьдесят три минуты, он вломится сюда. И тебе не поздоровится. Говорить с ним бесполезно, драться тем более — ты с ним не справишься. Он поднимется, вышибет дверь и набьет тебе морду.

Мистер Кристофер отпустил жалюзи и взглянул в сторону кухни.

— Хорошо, — сказал он. — Сначала мы займемся тем, зачем ты пришла, за это время пирог успеет испечься, а крем загустеть, я полью им пудинг, и у нас будет десерт. Доделать ужин и потом его съесть — нужно сорок пять минут. Значит, на все прочее остается пятнадцать. Мы успеем за пятнадцать минут, даже не за пятнадцать, а за двенадцать или одиннадцать, как ты сказала? Успеем так быстро?

— Обычно я сначала танцую, потом делаю массаж, могу поиграть с твоими причиндалами, чтобы ты возбудился. Но если хочешь пропустить все это, приступим сразу к делу... В конце концов — деньги твои.

— Я не думал о танцах и массаже, но твои слова звучат заманчиво. У меня это в первый раз, Моник, так что командуй.

— В первый раз? В твоем-то возрасте?

— С девушкой по вызову. Ладно, мы теряем время. Мне надо дожарить лук. Давай лучше на кухне.

Кухня когда-то была прихожей, соединявшей квартиру мистера Кристофера с двумя другими квартирами на этаже. Она была узкой и совершенно нелепо заканчивалась гипсолитовой стеной. За полметра до стены паркет сменялся лино-

леумом, отчего казалось, будто здесь должна быть дверь в ванную или чулан. Вдоль одной из стен кухни располагался разделочный стол, который сейчас был усеян кожурой от фруктов, панцирями креветок и другими пищевыми отходами. У противоположной стены стояла раковина, небольшой холодильник и плита с двумя горелками, на которых уже кипели кастрюли. Между плитой и холодильником помещался еще один маленький столик.

Мистер Кристофер открыл кулинарный раздел, стряхнул со страницы сырные обрезки и нашел пальцем нужный абзац. Вдохнул запах духов Моник и понял, что она стоит прямо за ним.

— Так, очистить и измельчить... Теперь добавлю зеленый перец и тмин, и можно будет ставить на огонь... Потом удалю жир с отбивной и сделаю ножом небольшие отверстия...

Помешивая жарящийся лук, он слегка повернул голову, чтобы получше разглядеть ее обнаженное плечо.

Она, особо не церемонясь, обвила его руками, расстегнула ремень, и штаны упали вниз. На волосатых ногах выделялись толстые синие вены, резко контрастировавшие с белыми трусами. Она спустила трусы до колен, потянулась и взяла в руку его вялый член. Рука ее была такой холодной, что он подпрыгнул, еле удержавшись, чтобы не вскрикнуть. Не двигаясь с места, мистер Кристофер нагнулся к столу и стал сгребать ломтики нарезанной дыни в большую синюю миску.

— Я отсюда не дотянусь, — раздался снизу ее голос. — Давай откроем одну из дверок шкафчика, чтобы я могла там примоститься, пока ты работаешь.

— Подожди, — ответил он. — Я сейчас повернусь. Может, ты... — он взял черные ножницы и начал неторопливо срезать кончики больших артишоков. — Может, ты тоже разденешься, хотя бы сверху? Иначе я буду смущаться и не получу удовольствия.

Моник стянула через голову свой топик, и, когда он повернулся, она стояла перед ним на коленях, уперевшись руками в бедра. Топик лежал рядом, и мистер Кристофер осторожно покосился на грудь девушки. Это была самая большая грудь, какую он когда-либо видел, и он почувствовал гордость, будто осознав, что деньги потрачены не зря. Ее овальные соски напряглись, словно стараясь удержаться на массивных грудях.

Моник посмотрела ему в глаза и обхватила пальцами его мошонку. Мистер Кристофер неожиданно ощутил себя в дурацком положении и прокашлялся:

— Мои м-м, яички... Они слишком большие, по крайней мере, по сравнению с моим...

Она сделала знак рукой, чтобы он замолчал, и это прибавило мистеру Кристоферу уверенности. Конечно, уж она-то повидала на своем веку немало детородных органов. Моник наклонилась и взяла его член в рот.

Часы-кошка на стене качали маятником-хвостом туда-сюда, а кошачьи глаза, словно пинг-понговые шарики, скакали слева направо, отмеряя секунды. Циферблат, располагавшийся на туловище кошки, показывал мистеру Кристоферу, что у него осталось всего шесть минут до завершения этой части вечера, если он хочет успеть приготовить ужин. Тут кипящее масло со сковородки, на которой жарился лук, брызнуло ему на шею.

Сосредоточиться было сложно, и мистер Кристофер, не сходя с места, взял деревянную ложку и помешал лук. Почувствовав, что ноги у него задрожали, отложил ложку и оперся руками о стол.

Время утекало сквозь пальцы, сейчас оно бежало гораздо быстрее обычного; кошка двигала глазами и хвостом в нарастающем темпе, словно повинуясь какой-то неведомой силе. Но он не мог не признать, что ему было приятно, — девушка знала свое дело. Ноги дрожали, и мистер Кристофер даже боялся, что может упасть. Он крепко уперся носками тапочек в пол и еще сильнее вцепился в стол руками. Его бедра непроизвольно старались приблизиться к ее жаркому лицу. Он почувствовал, как ее грудь упирается ему в ноги, издал нечленораздельный хрип и не стал сдерживаться.

— Хорошо, — сказал он. — Можешь выплюнуть в раковину.

Она опять знаком велела ему молчать и надела топик.

— Не испорть аппетит, — сказал он, застегивая пуговицу на брюках, а затем и ремень.

— Я же сказала, что уже ела.

— Послушай, — начал он. — У меня есть еще тридцать три минуты. Иди садись за стол.

Она ушла, а он сгреб остатки нарезанной дыни в синюю миску и перемешал их руками. На секунду он почувствовал себя уставшим и опустошенным. Прислонился к столу и понял: единственное, что ему сейчас хочется, — это спать; подтянуть повыше одеяло, взять журнал и расслабиться. Однако вода в одной из кастрюль закипела, к тому же он подумал, что журналы больше приходить не будут, хотя и не мог точно вспомнить почему. Мистер Кристофер бросил артишок в кипящую воду и проследил, как тот, чуть-чуть поплавав на поверхности, затонул.

Когда он вошел в комнату, Моник уже сидела за столом. Он взял спички и зажег свечи.

— Я смотрю, ты изо всех сил стараешься? — спросила она.

Мистер Кристофер хотел улыбнуться, но почувствовал на себе кошачий взгляд часов. Суп был уже готов, поэтому он поспешил на кухню, понимая, как жалко выглядит со своей несгибающейся ногой, когда торопится. Половником разлил суп, убедился, что в каждой тарелке плавает одинаковое количество креветок и ананасных долек.

— Суп из лемонграсса, — объявил мистер Кристофер, медленно входя в комнату с тарелками. Он поставил их на стол и сел напротив нее.

— Что это за запах? — спросила она, подняв на него глаза.

— Это лемонграсс, — ответил мистер Кристофер. — Он очень ароматный, надеюсь, тебе понравится.

— Молитву не надо прочесть?

Мистер Кристофер помешивал свой суп.

— Нет времени, — ответил он и зачерпнул полную ложку. — М-м-м, — промычал одобрительно, вытирая губы салфеткой. — Ладно, ты ешь, а я закончу с фруктами.

Спустя три минуты мистер Кристофер вернулся с четырьмя маленькими мисочками. Он тяжело дышал, на лбу блестели капельки пота.

Моник оторвалась от супа и восхищенно произнесла:

— Знаешь, очень здорово. На вкус гораздо лучше, чем пахнет.

— Я рад.

— Знаешь, ананас даже вкуснее креветок. Надо же — ананас в супе! — сказала она и покачала головой.

— Это фруктовый салат, а это — с сыром и горошком, — он поставил оба салата перед ней и взял ее тарелку из-под супа. Она ухватилась за тарелку, будто не желая отдавать; мистеру Кристоферу это польстило, но времени насладиться приятным ощущением не было.

— Господи, вино, — вспомнил он, заковылял было на кухню, но, сделав несколько шагов, вернулся обратно — забрать тарелки из-под супа. Магнитофон молчал, он подошел к нему и перевернул кассету.

Снова заиграла музыка, и мистер Кристофер налил два бокала вина. Песня ему по-настоящему нравилась — это было "У кошки в брюхе" Бенни Гудмана. Ему вдруг стало неловко, оттого что он, заслушавшись, налил женщине неполный бокал. И он поспешил спросить:

— Ну, как тебе салат?

— Ничего, — ответила она. — Суп был экзотический, а салат такой... обычный. Странное меню.

— В газете написано, что салат лучше подавать в стеклянной посуде. Тогда видны все слои: на дне майонез, потом горошек, затем опять майонез и чеддер, который я сам натер. Жаль, у меня нет стеклянной миски.

— Может, присядешь на секунду? — спросила она.

Он поднял жалюзи и выглянул на улицу. Микки уже отложил газету и облокотился на машину, повернувшись лицом к дому мистера Кристофера. Он был в смокинге с бабочкой и походил на вышибалу в банкетном зале или водителя лимузина, арендованного для выпускного вечера.

— Да, на секунду присяду, — ответил мистер Кристофер, тяжело опускаясь на стул. — И отдохну. Я собирался поболтать с тобой немного. — Он вытер лоб салфеткой, но все равно чувствовал себя взмокшим. — Итак, — начал он, — сколько у тебя еще сегодня вызовов?

— Обычно я стараюсь обслужить пять-шесть клиентов за ночь, — ответила она. — По меньшей мере, четырех. Когда удается обслужить шестерых — считай, ночь удалась. Восемь — самое большее.

— Когда я торговал, было то же самое: старался обслужить как можно больше людей. Видишь, у нас с тобой много общего, — мистер Кристофер покачал головой. — Но восемь раз за ночь... Это слишком. Хотя заработок, наверное, неплохой, да?

— Да, неплохой, — ответила она, — и не так уж сложно. А ты сколько раз за ночь обычно это делаешь?

— Обычно ни разу, — сказал он.

— Но какой у тебя рекорд?

Он насупился.

— Да ладно, мне же интересно. Сколько раз самое большее ты делал это за ночь?

— Может, когда-то случалось два раза. Пожалуй, два. Но я плохо помню. Обычно я уставал, а ночью ведь еще надо выспаться. Именно этим мы и отличаемся друг от друга, потому так интересно поговорить с человеком, которого не знаешь, чтобы обменяться впечатлениями...

Эти фразы, которые он приготовил заранее и даже пару раз репетировал, теперь показались ему неестественными и смешными; хотя она кивала, соглашаясь с ним. Кого он пытался обмануть? Чтобы скрыть неловкость, мистер Кристофер взглянул на часы.

— Ладно, — сказал он. — Пора подавать основное блюдо. Поторопимся.

Он забрал грязную посуду и через несколько минут вернулся с большой тарелкой.

— Сейчас съедим десерт, но не забудь оставить место для отбивной. Они еще не прожарились, но, если мы будем ждать, не хватит времени на сладкое. Поэтому поменяем очередность.

Она положила руку на свой оголенный живот.

— Да мне все равно, есть-то не хочется. Я же говорила, что поела. По-моему, в меня больше не влезет.

Мистер Кристофер принес четыре круглых порции пудинга, они колыхались, как желе, и были похожи на большие глаза. Он надеялся, она попросит добавку, но понимал, что этого не произойдет, и сказал:

— Думаю, самое время для тоста.

Она взяла свой бокал, все еще полный.

— За прекрасный вечер, — сказал он. — За прекрасную женщину, прекрасный ужин и прекрасно проведенное время.

Мистер Кристофер чуть приподнял бокал, как бы чокаясь с ней на расстоянии, Моник сделала то же самое, и они выпили.

— Отлично, — заключил он. — А теперь десерт.

Он посмотрел на часы и увидел, что осталось девять минут. Выглянув в окно, с удивлением обнаружил, что Микки нетерпеливо расхаживает взад-вперед. Его здоровенные руки и ноги напоминали большие сардельки. Микки взглянул на часы, а потом наверх, на окна третьего этажа.

— Пришел час отбивной, — пробормотал мистер Кристофер.

— А у нас осталось время? Тебе что, хочется познакомиться с Микки? Лучше я уйду чуть раньше, чем он разозлится и вломится в твою дверь.

— У нас осталось еще восемь минут, — холодно ответил мистер Кристофер и пошел на кухню.

Вернувшись через несколько мгновений, он принес блюдо с розово-серыми кусками мяса. В разрезах по бокам отбивных виднелись кукуруза и лук, сочившийся оттуда сок был похож на канализационную жижу. Мистер Кристофер насадил один из кусков на вилку и попытался переложить его в тарелку, но каждый раз мясо соскальзывало с вилки и падало обратно. Наконец, он просто столкнул одну порцию ей на тарелку, другую — себе и поставил блюдо на пол.

— Приятного аппетита, дорогая.

— Ты уверен, что мясо готово? — спросила она, тыча в отбивную ножом. — Мясо долго готовится, особенно свинина, а я, по-моему, видела его на кухне еще сырым.

— Верно, — ответил мистер Кристофер и отрезал кусочек. Внутри тот был отчаянно-розового цвета, и Моник отвернулась, когда он отправил его в рот. — Но я включил духовку на полную мощность, и мясо там лежало с тех пор, как мы сели за стол. М-м-м... В любом случае, больше времени у меня не было.

Губы его блестели. Он отрезал еще кусочек и стал дожидаться, пока она начнет есть.

— Пахнет хорошо, — она встала. — Но я поела перед тем, как пришла. Плюс еще твой пудинг и твой суп. Больше не могу. Спасибо за вечер. С тебя сто сорок долларов, не считая чаевых.

— Попробуй мясо. Пирог еще не испекся — ну и ладно, ликер... тоже черт с ним; а чесночный соус для закуски из артишоков я даже не начал готовить. Но ты, главное, попробуй отбивную. Я нафаршировал ее кукурузой и жареным луком. Как для особо торжественных случаев.

Он взял еще один кусок и проглотил его, как мог быстро, чтобы показать ей, как это вкусно.

— Где мои деньги? — отрезала она и протянула ладонь.

— А где то время, что ты мне еще должна? — пробурчал он в тарелку. — Я всего лишь хотел, чтобы ты пришла, чтобы мы поужинали и приятно провели время. Сегодня у меня особенный день, и, по-моему, я прошу не так уж много.

— Слушай, старик. Мясо ты не прожарил; я блевану от одного запаха этой отбивной, и меня уже тошнит и от твоего ароматного супа, и от твоего салата, в котором один только майонез.

Он заставил себя отправить в рот еще кусочек. Когда мясо коснулось языка, мистер Кристофер почувствовал рвотный позыв и понял, что есть больше не сможет. Он взял салфетку и выплюнул свинину. Подавив тошноту и вытерев губы, сказал:

— Деньги в кармане брюк. Семь двадцатидолларовых банкнот.

Уперся локтями в стол и закрыл лицо руками.

— Дай мне деньги, — потребовала она.

— Поздно, — ответил он. — Посмотри в окно.

Дверь дрогнула и тут же с треском распахнулась. Моник обняла мистера Кристофера за плечи.

— Все в порядке, Микки! — закричала она. — Со мной все в порядке!

Мистер Кристофер зажмурился, когда огромная ручища схватила его за плечо и подняла со стула. Открыв глаза, он

увидел оскал Микки — ровный ряд треугольных крысиных зубов.

— Видишь дверь, приятель? — прорычал тот. — Гони бабки, или я размозжу об нее твою башку.

— Деньги в кармане, сэр, — сказал мистер Кристофер, падая обратно на стул. — Деньги в кармане.

Он встал и сделал шаг назад.

— Вот, — и положил пачку сложенных купюр на стол. — Кстати, подождите. Подождите секунду, — он поднял палец, прося Микки и Моник не уходить, и заковылял на кухню. Кастрюля с артишоками кипела, и мистер Кристофер выключил конфорку. Под разделочным столом лежала кипа старых газет, дожидавшаяся мусорного ведра.

— Я знаю, время — деньги, — прокричал мистер Кристофер. — Простите, что отнял у вас драгоценные минуты. Простите... — Улыбаясь, он надел рукавицу-прихватку и взял с плиты сковородку с отбивными. — Шесть клиентов — это много, я понимаю, вам пора... Поверьте, я знаю, что такое спешка. Может быть, так вам не придется думать, чем бы перекусить... — Он завернул в газету три самых сочных куска мяса. Затем щипцами вынул из воды артишок и засунул его в большой полиэтиленовый пакет. Затем свалил остатки фруктового салата в другой пакет, а горошек с сыром — в третий. — Я рад, что ты зашла, Моник, и вы, Микки! Я ценю, что вы потратили на меня время... — мистер Кристофер достал из мусорного ведра коричневый мешок для покупок и положил в него намокший газетный сверток и все пакеты.

Суп был горячий, но он нашел в шкафу квадратную пластиковую мисочку, вылил его туда, закрыл крышкой и тоже сунул в мешок. Пудинг был слишком нежным, поэтому мистер Кристофер взял картонку из-под яиц и заполнил ячейки комковатым коричневым заварным кремом.

— Я помню, в День благодарения, — закричал мистер Кристофер, суетясь на кухне, — и в другие праздники, на Рождество и День независимости — четвертого июля обычно делают барбекю, — хозяева всегда в конце вечера отдавали гостям оставшуюся еду...

У него не было пластмассовых вилок и ножей, но огорчаться из-за этого времени уже не осталось. Наверняка, гости к нему придут еще не скоро, если вообще придут, поэтому он бросил в мешок свои серебряные приборы: две салатных вилки, две обычных, по две разных ложки — десертные и суповые, два ножа для мяса и два для масла. Затем вынул из духовки пирог с изюмом, кулаком в варежке ударил снизу по противню, и сдоба тяжело рухнула в мешок.

— Хорошо провести время и к тому же с пользой — это уйти из гостей с провизией, которой хватит на пару дней... — он загнул два раза верхний край мешка и, упершись одной рукой в бедро, вошел в гостиную.

Комната была пуста. Мистер Кристофер прижал теплый пакет к груди и взглянул на дверь. Она держалась лишь на верхней петле и грозила вот-вот оторваться. Сквозь дверной проем он увидел пустой коридор и в конце его — закрытую дверь соседей.

Йван Голль

Стихи

Вступление Клэр Голль

Перевод с немецкого и послесловие Вальдемара Вебера

"Сейчас, глядя в лицо смерти, мне кажется, что в стихотворениях 'Сон-травы' я впервые приблизился к тайне слова.

Со мной происходит то же, что с мастером японской цветной гравюры на дереве, Кацусикой Хокусаем, который в возрасте 90 лет на смертном одре, вздохнув, произнес: 'Если бы мне были отпущены еще только десять, или пусть еще только пять лет жизни, тогда бы я как художник добился совершенства!'

Уже раньше Хокусай писал: 'До того, как мне исполнилось 50 лет, я сделал бесчисленное количество рисунков, но был ими недоволен. Лишь в возрасте 73 лет я постиг строение и истинную природу птиц, рыб, насекомых и растений, что позволяет мне надеяться, что к своему 80-летию я во многом преуспею, к 90 годам смогу проникнуть в самую суть вещей, а в 100 лет наверняка достигну высшего совершенства. Это написал я, Хокусай, по прозвищу Гвакийо Ройин, помешанный на рисовании, в возрасте 75 лет'.

Кто не знает картины Хокусая 'Опьяненный поэт', на которой тот в упоении от стихов пускает страницы по ветру?

© Limes Verlag, Wiesbaden 1951. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Wallstein Verlag, Göttingen. (All rights reserved by Wallstein Verlag)
© 1996 Argon Verlag GmbH, Berlin. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Wallstein Verlag, Göttingen. (All rights reserved by Wallstein Verlag)
© Вальдемар Вебер. Перевод, послесловие, 2011

Этот опьяненный поэт — я, Иван Голль, у порога которого стоит смерть".

Эти несколько предложений — фрагменты из короткого потерянного или уничтоженного Иваном Голлем предисловия к "Сон-траве", которое он за 16 дней до своей смерти прочел вместе со стихами Альфреду Дёблину и его жене, Марселю Михайловичу[1] и мне, сидевшим в американском госпитале в Париже у его смертного одра.

В своем лотарингском родительском доме Иван Голль никогда не слышал немецкой речи. В гимназии в Мерце и после, когда незадолго до Первой мировой войны защищал диссертацию в Страсбургском университете, никогда не слышал французской. И так случилось, что, выросший в атмосфере двух языков, он писал попеременно то по-немецки, то по-французски. Конечно, побуждал его к написанию большинства книг его первый родной язык и на целых пятнадцать лет он оставил немецкие стихи, но, когда в 1948 году, спасаясь от своей трагической болезни, лейкемии, он лег в Страсбурге в больницу, которая по прошествии пяти месяцев поразительным образом опять вернула его на время к жизни, язык его юности вновь овладел им, и была написана первая часть стихотворений "Сон-травы".

Лежа в зале с девятнадцатью другими обреченными, видя перед собой за окном старинный романский фронтон страсбургской больницы и ее маленькую грациозную церковь, больной поэт вдыхал запах той странной травы, того непостижимого таинственного сон-цветка, цветшего когда-то на германской почве его студенческой юности.

Смерти, так близко подошедшей к нему, он прокричал все те слова страха перед ее великой мистерией, вместившие в себя и его экстатическую скорбь, и его ужас перед демонизмом распада, его отчаяние перед лицом безумия земного мира и предчувствие того, что ждет нас в мире ином, и в конце концов все те слова покорности и мудрости, которые другие больные в палате способны были выразить только глухими криками и вздохами или бормотанием на диалекте. Он был их лирическим представителем перед Той, что держит в руке символическую косу.

Когда через девять месяцев Иван Голль был помещен в американский госпиталь в Париже, когда он понял, что теперь окончательно во власти смерти, он за два месяца исписал все, какие только мог раздобыть, клочки бумаги, все конверты писем, рецепты врачей и поля газетных страниц маленькими птичками своего красивого почерка. Да, последние стихи "Сон-травы" выглядели как фантастические рисунки из иного мира.

Порой он писал то или другое стихотворение начисто на листе дорогой изящной бумаги и говорил, передавая его мне с серьезной невинной улыбкой: "Обещай мне не опубликовывать ничего другого, кроме этих стихотворений. Все, что я до этого написал, должно быть уничтожено".

1. Марсель Михайлович (1898–1985) — румынско-французский композитор. (*Здесь и далее – прим. перев.*).

Эта строгость в отношении своего творчества, которая всю его жизнь заставляла его, полного сомнений, рвать написанное и, проникнутого новой надеждой, переписывать заново, характеризует его благоговение перед искусством так же, как одна его просьба отражает его смиренность по отношению к жизни: ведь попросил же он меня за несколько недель до смерти: "Как только немножко наберусь сил, забери меня из этой слишком богатой больницы. Я хочу умереть среди бедных, в парижской больнице".

Конечно, я все это ему обещала ради его улыбки, которую он всегда носил как маску на страждущих чертах. Даже в период страшнейших, неделями длившихся страданий этот гордый мужественный деликатный человек никогда не давал застать себя в позе мученика. Исполненный сострадания к ближним, он не принимал сострадания к себе. И только за несколько часов до смерти, когда он на несколько мгновений потерял сознание, он прокричал "St-e-e-e-r-r-ben! Läßt mich allein mit meinem Tod!.. Mourir! Laissez-moi seul avec ma Mort!" ("Умереть! Оставьте меня одного с моей смертью!") Прокричал он эти слова символическим образом на двух языках, его большие трагически распахнутые глаза согласились, что побеждены. Сразу после этого, придя в сознание, он опять улыбался сестрам и мне, так как не подозревал, что — против собственной воли — выдал себя и позволил нам заглянуть в эту свою тайну.

Ведь кроме тяжелой физической борьбы со страшным телесным распадом, его душа вела еще более тяжелую борьбу, сопротивляясь прощанию со спутницей жизни, оставляя ее одинокой и незащищенной. Во второй части "Сон-травы", в этих нежных стихах умирающего человека, постоянно ощущается забота мужчины, желающего оставить своей возлюбленной неистощимый запас чувства.

Обладая оставшимися у него девятьюстами тысячами красных кровяных телец, он провидчески разыскал в скрытых от взора садах ту самую сон-траву и сложил из нее неувядающий прощальный букет.

Но Ивану Голлю, может быть, и не удалось бы закончить "Сон-траву", если бы немецкие и австрийские, французские и норвежские и прежде всего американские молодые поэты не поделились бы с ним своей кровью. Они приходили группами, чтобы предложить умирающему самый благородный из всех даров.

Конечно, "Сон-трава" выросла из сердца Ивана Голля, но сердце его было в состоянии биться, пока красный сон-цветок, которого питала сердечная кровь шестнадцати поэтов, полностью не раскрылся.

Клэр Голль

Блуждание

По паркам гипса
По топям брома
На жалких своих ходулях
Бродят умирающие
Трясут костями

Языки огня еще зыбятся
В их юго-восточном мозгу
Мерзнет цветок родовитый на развалинах сердца
Кто из них слышит пение птиц в висках
Или как по усталым ногам ящерица снует?

Как им торопливо живущим и медленно умирающим
Как им еще удается взбираться
По веревочной лестнице обманчивых сновидений

Наступает январь этой горней ночи
Белый эфир как корона
На дрожащих ее волосах

Сон-трава

Алазам[1]
Невыплаканная слеза
В лощине моего черепа

Из нее в поколеньях
Росла сон-трава
Желтая как ночь
Бледная как убийство

Ни на что не похожий цветок
Не замеченный пчелами

1. Чудодейственное растение.

Рука каштана

Мою пугливую руку схватила рука каштана
Восьмипалая вся в зеленых мозолях
Семь дней как на свет рожденная
Но уже постигшая птичьи страхи —
Пожала мою пятидесятилетнюю руку
Мою белую мягкую мою мясистую руку
Не раз убивавшую не раз удушавшую
Ростки улыбок розы шиповника
Что нужно вдруг этой
Суд вершащей руке
От моей руки?
И моя рука рука человека
Одервенев упала

Часы

Женщины несущие воду
Дщери с высоко подоткнутыми подолами
Спускаются медленно вниз по улице мертвых
Кувшины в которых плещется время
Покачиваются на головах
Урожай несобранных капель
Дозревающих по пути
Водопады моря туманы
Дельты рек испарения слезы
Все таинственней капли все скуднее часы
Женщины с ношей теней
Уже мимо прошли уже скрылись из глаз
Вечность

Дождевой дворец

Я построил тебе дождевой дворец
Из алебастра и горного хрусталя
Чтобы ты становилась все краше
И преображалась в тысячах зеркалах

Водяная пальма питает нас мутным соком
Из высоких кувшинов мы пьем серебряное вино

О музыка перламутра!
О дождем в первобытном лесу опьяненная стрекоза!

Средь лиан точно в клетке тоскуешь ты обо мне
Из синих кубков твоих очей
Кровь ливня пьют чаровницы
Поющие цапли — твои сторожа

Из окон дождя мы видим как время
Дождевыми знаменами веет над морем
И вместе с войском чужих ураганов
Гибнет в старых болотах

Дождевыми алмазами одеваю тебя —
Махараджа негласный в царстве дождя
Чьи достоинства чья справедливость
По прошествии лет дождевых
Лягут на чаши весов

Ты же мне вяжешь тайком в зале жемчужном
Плат дождевой пропитанный слезами
и запахом конопли
Плащаницу чтобы укрыть нас обоих
Вечно теплую и не знающую износу

Соляное озеро

Луна, точно зимний зверь, слизывает соль твоих рук,
Фиолетовая кипень твоих волос
Подобна сиреневому кусту,
где ухает маленький опытный филин.

И вот он пред нами, возведенный для нас с тобою,
Вожделенный город мечты,
в котором все улицы черны и белы.
Ты шагаешь средь яркого снега надежды,
Я же в оковах темного благоразумья.

Дома в отличье от неба покрашены мелом,
И у них свинцовые двери;
Лишь наверху под фронтонами желтые свечи растут,
Словно гвозди для несметных гробов.

Но вскоре мы попадаем за город к соляному озеру,
Где нас выслеживают полярные
длинноклювые птицы,
С которыми я всю ночь воюю одними руками,
Прежде чем теплый пух не становится нашим ложем.

Древо праха

Древо праха растет
Леса из праха повсюду где мы с тобою прошли
О эта рука праха! Не прикасайся к ней!

Вокруг нас вздымаются башни забвения
Башни чьи стены вовнутрь опадают
Но пока еще освещенные твоим оранжевым светом!
Птица праха взлетает

В камне храню легенду нашей любви
Золото наших грез я закопал в пустыне
Лес праха темней с каждым часом
О эта роза праха — не прикасайся к ней!

От переводчика

В истории литературы немало имен, окутанных флером загадочности. Причиной этому — не только незаурядная литературная судьба, но и исключительная своеобычность автора. Следствие этого — неспособность литературных критиков оценить явление, не вписывающееся ни в какие литературные тенденции.

Иван Голль (1891—1950) писал на двух языках, немецком и французском. Родившийся во франкоязычной еврейской семье, получивший школьное и университетское образование в Лотарингии и Эльзасе, бывших в те годы в составе Германии, он начал свою литературную деятельность во время Первой мировой войны и сразу выдвинулся в число ведущих немецких экспрессионистов. Знаменитая антология Курта Пинтуса "Сумерки человечества" (1919), главный литературный памятник экспрессионизма, включала семь стихотворений И. Голля. Написано большинство из них в Швейцарии, где Голль поселился в начале войны, потрясенный враждебным отношением друг к другу двух родных ему наций. Из Швейцарии он посылает свои пацифистские депеши в стихах и прозе народам Европы. В них отразились смятение и потрясенность многих представителей европейской интеллигенции творящимися вокруг безумствами. Образы поэзии Голля в этот период предельно напряжены, экстатичны. Требования поэта в его манифестах решительны и безапелляционны.

Марк Шагал.
Портрет Ивана Голля. 1925

В годы, проведенные в Швейцарии, Голль сближается с дадаистами. Не будучи членом их группы, не причисляя себя к дадаистам, он тем не менее испытывает на себе их сильное влияние, что сыграет в конце концов свою роль в его приверженности к новому направлению в Европе, к сюрреализму, одним из зачинателей которого он становится. Роль Голля в этом отношении еще недостаточно изучена. В 1924 году вместе с Полем Элюаром он начинает издавать в Париже журнал "Сюрреализм", который объединяет вокруг себя многих знаменитых художников, конкурируя с одноименным журналом Андре Бретона. Живя во Франции, Голль не теряет связи с Германией, пишет на немецком романы, статьи для прессы, информируя немцев о событиях французской культуры, он тесно связан с немецкой театральной жизнью, публикует в Берлине тексты своих пьес, заботится об их постановке.

Постепенно Голль отказывается от прежнего экспрессионистского пафоса, вырабатывает свой стиль "сдержанного сюрреализма". Голль пишет попеременно по-немецки и по-французски, переводит свои немецкие стихи на французский, а французские — на немецкий, рассматривая их не как переводы, а как языковые варианты одного и того же стихотворения. Рождаются двуязычные книги — диалоги, собеседником поэта в которых выступает его жена, поэтесса Клэр Голль, книги и циклы "Стихи о любви" (1925), "Стихи ревности" (1926), "Стихи о жизни и смерти" (1927), "Седьмая роза" (1928) и вновь "Стихи о любви" (1930), а также изданные посмертно "Десять тысяч рассветов" (1954), "Любовный дуэт" (1959), "Антироза" (1967).

Поэт открывает для себя мир восточной поэзии, новой и древней. Так в 1932—1934 годах рождается книга "Малайские песни". Стихи в ней написаны как бы от имени малайской девушки. В них с одной стороны первозданная простота, с другой — богатейшая чувственная фантазия. Вечная тема любви звучит здесь как бы вне времени и пространства, ведь атмосфера малайских джунглей у Голля абсолютно условна. Этого эффекта, когда физически ощущаешь вневременность стихотворения, Голль добивается почти во всей своей последующей лирике, он без конца варьирует тему любви, и создается впечатление, что источник, питающий их, неистощим. Каждое стихотворение воспринимается как частица космически огромного чувственного мира художника. Тема любви

Осип Цадкин.
Портрет Ивана Голля. 1939

перерастает себя, вторгаясь во все сферы чувств человека, во все его "вечные" проблемы.

Вершиной французской составляющей творчества поэта стали книги цикла "Jean sans terre" (1936, 1938, 1939, 1950) — "Иоанн Безземельный". Во Франции И. Голля ценят именно за эти написанные классическим стихом баллады. Имя английского короля, жившего и правившего в конце XII — начале XIII веков, как и сама историческая реальность, использованы Голлем не случайно. Судьба короля, потерявшего в войне с французами все свои наследственные владения, неудачливого и гонимого временем, показалась Голлю похожей на его собственную судьбу. Он заимствует у этой исторической личности и имя. Jean, Johann, Hans, Yvan, Ivan, Iwan — эти вариации его собственного псевдонима проходят через все творчество писателя, через всю его поэзию, прозу и эссеистику. Баллады "Иоанна Безземельного" посвящены теме бездомности человека, в них проглядывают и автобиографические моменты. Голль успел переложить на немецкий лишь несколько баллад, работу по их переводу завершили Клэр Голль и немецкий поэты.

И. Голль родился на территории Германской империи и вначале был германским подданным. После Версальского диктата Лотарингия и Эльзас вошли в состав Франции, и он из германского гражданина превратился во французского. В 1939 году Иван и Клэр Голль эмигрировали в Америку, где Голль издавал эмигрантский журнал, привлекая к сотрудничеству многих знаменитых эмигрантов, в том числе Сен-Жон Перса.

После войны поэт вернулся в Европу. Его возвращению предшествовало стихотворение "Песня непобедимых", написанное им в 1942 году на трех языках — на английском, немецком и французском; первая строфа стихотворения говорила от имени целого поколения:

Черное молоко беды
Молоко мрака
Мы пьем тебя
По дороге на заклание

В последнее десятилетие своего творчества И. Голль возвращается к немецкому языку, на котором начинал писать. Два цикла, две книги "Сонтрава" (1948—1950) и "Найла" (1947—1950) — вершина стиля, наметившегося в сюрреалистический период 20-х годов. Поэт, которому через считаные месяцы предстояло навсегда шагнуть за черту земной жизни, бросает вызов максимальным возможностям поэтической речи, пытается заглянуть в непознаваемое, сказать несказанное. Почти безумная попытка шагнуть за пределы самого слова. Эти книги завершили его путь — путь от экспрессионистического пафоса к монтажному стилю сюрреализма и в конце концов к внутренне напряженным, но внешне сдержанным заклинаниям любви, от опьянения словами к строгости формы, от идеологической и авангардистской ангажированности к артистизму.

Евгений Беркович

Томас Манн в свете нашего опыта

Часть первая. Смятение умов

1. "Сага о Прингсхаймах"

"Исторический роман сочинял я понемногу, пробираясь, как в туман, от пролога к эпилогу". Эти строки Булата Окуджавы я часто повторял про себя, когда писал — нет, конечно, не роман, а документальное повествование о судьбе математика Альфреда Прингсхайма. Его имя сегодня вряд ли на слуху даже у профессионалов-математиков, а обычному читателю оно, скорее всего, неизвестно. Разве что знаток литературы вспомнит, что на дочери Альфреда Прингсхайма — Кате — был женат один из великих писателей XX века Томас Манн.

Между тем в конце XIX и начале XX веков академика Баварской академии наук и профессора Мюнхенского университета Альфреда Прингсхайма знали и ценили не только его коллеги-математики, но многие музыканты, художники, коллекционеры произведений искусства... Его талант блистал множеством граней.

Прингсхайм добился неплохих результатов в математике и заслужил признание коллег: в 1906 году его избрали президентом созданного в 1890 году Немецкого математического общества. До Прингсхайма этот пост занимали такие корифеи науки, как Георг Кантор, Феликс Клейн, Давид Гильберт, Пауль Гордан, Макс Нётер...

Но наука не была единственным призванием Прингсхайма. С юных лет он увлекся музыкой и серьезно задумывался о возможности стать профессиональным музыкантом. И хотя математика в конце концов победила, занятия музыкой он не оставлял в течение всей своей долгой жизни.

И музыкой не ограничивались увлечения этого живого, острого на язык любимца студентов и женщин, азартного спорщика, заботливого семьянина, отца пятерых талантливых детей,

© Евгений Беркович, 2011

гостеприимного хозяина одного из самых известных музыкально-литературных салонов Мюнхена, щедрого мецената и ценителя прекрасного. Альфред вырос в семье преуспевающего предпринимателя в окружении роскошных произведений живописи и скульптуры. Неудивительно, что он стал авторитетнейшим знатоком искусства, экспертом Баварского национального музея и собирателем уникальных художественных коллекций. Специалистам были хорошо известны его собрания старинных математических книг, картин, бронзовых и золотых изделий... Но главным его сокровищем стала коллекция древней итальянской майолики, не имевшая равных в мире.

Эти три страсти — математика, музыка и коллекционирование — наполняли жизнь Альфреда до краев. Но он находил время регулярно устраивать музыкальные и литературные вечера, на которые собиралось до двух сотен гостей, цвет немецкой культуры, науки, словесности. Адрес дворца Прингсхайма на улице Арси, 12 знал весь образованный Мюнхен.

Именно на одном из таких вечеров в 1903 году произошла встреча молодого, но уже прославившегося своим первым романом "Будденброки" писателя Томаса Манна с единственной дочерью Альфреда Прингсхайма Катей. Эта встреча круто изменила жизнь молодых людей. Катя оставила университет, где до того успешно изучала математику и физику, и целиком посвятила себя семье, воспитанию детей и помощи в практических делах Волшебнику (как называли Томаса Манна его близкие). Она стала как бы управляющей семейного предприятия и, пока была жива, почти семьдесят пять лет вела его твердым курсом к успеху, минуя опасные рифы неспокойного житейского моря. Самому же писателю брак с Катей позволил сохранить в глазах читателей образ добропорядочного отца семейства, столь необходимый тогда для любого человека, претендовавшего стать "властителем дум" в немецком обществе. Осуждаемый тогдашними нравами соблазн гомоэротики, которому с младых лет до старости был подвержен Томас Манн, оказался, по крайней мере внешне, преодолен.

Альфред Прингсхайм прожил долгую жизнь, ему посчастливилось отпраздновать в кругу близких людей девяностолетие. Он словно нитью собственной судьбы связал четыре различные эпохи в истории Германии. Родился в богатой еврейской семье и получил образование еще в той стране, что была раздроблена на множество отдельных княжеств и королевств, докторскую диссертацию защитил через год после объединения Германии, ставшей Вторым рейхом, дослужился до званий профессора, академика и тайного советника. На почетную пенсию, получив так называемый статус эмеритуса, вышел уже в Веймарской республике, но продолжал руководить Математическим кружком в Мюнхене и писать научные труды по математике и ее

истории. Закат жизни профессора выпал на черные годы Третьего рейха, когда никакие заслуги перед родиной, никакие государственные награды и академические степени не перевешивали его еврейского происхождения, главной и не смываемой ничем "вины" в глазах новых правителей Германии.

Как и сотни тысяч немецких евреев, Альфред Прингсхайм не покинул родину сразу после прихода нацистов к власти. Он надеялся, что государство, пламенным патриотом которого он был всю жизнь, защитит его от произвола и насилия. Ведь это государство высоко ценило его заслуги, щедро одаряя званиями и наградами. Сейчас нам известно, какая страшная судьба была уготована немецким евреям после установления гитлеровского режима, а тогда заблуждение Прингсхайма разделяли тысячи его соплеменников.

Когда же иллюзии рассеялись, было уже поздно. Уехать евреям из Германии оказалось невозможно. Но случилось чудо. А как еще назвать неожиданную помощь семье Прингсхайм со стороны эсэсовского офицера и Винифред Вагнер — близкой к фюреру невестки композитора Вагнера? Помощь, пришедшую буквально в последний миг: Альфреду с женой Хедвиг удалось вырваться из нацистского кошмара в нейтральную Швейцарию 31 октября 1939 года, а на следующий день граница между гитлеровской Германией и Швейцарией закрылась для евреев навсегда. Последние свои годы Альфред и Хедвиг прожили свободными людьми в свободной стране, их миновала участь миллионов, сгоревших в огне Катастрофы.

2. *Многогранная история*

Жизнеописание Прингсхайма складывалось в немалую книгу. И по мере того как развивалось повествование, оно обретало новые грани, а основное русло изложения ветвилось на рукава неожиданных тем и непредвиденных сюжетов.

Поучительна, например, история отца Альфреда, талантливого предпринимателя Рудольфа Прингсхайма, который начал работать простым экспедитором на гужевом транспорте, а стал одним из самых богатых людей Берлина. Дворец Рудольфа Прингсхайма в центре столицы на улице Вильгельма вошел в список архитектурных достопримечательностей города.

Конечно, Рудольфу никогда бы не стать богачом и знатным прусским гражданином без так называемой еврейской эмансипации, то есть процесса обретения евреями Европы, прежде всего Германии, равных прав с основным населением. Дед Альфреда Прингсхайма жил еще в то время, когда в немецких городах существовали еврейские гетто. Например, евреям Франкфурта-на-Майне не разрешалось проживать вне специ-

ально выделенных "еврейских кварталов". По воскресеньям и другим христианским праздникам жителям франкфуртского гетто было запрещено выходить за его пределы. Это ограничение было отменено в 1798 году. Во многих городах Германии, например, в Магдебурге, евреям вообще не разрешалось появляться в пределах городских стен без сопровождения местного жителя. Что уж говорить про другие права евреев, например, право на образование или занятие государственной службой!

И вот внук абсолютно бесправного мелкого торговца из богом забытой Верхней Силезии (Восточная Пруссия) становится профессором Мюнхенского университета, входит в академическую элиту Германии, оказывается одним из самых богатых людей Баварии, высокопоставленным государственным служащим в ранге тайного советника. Изменения общественного положения настолько разительные, что "век эмансипации", начавшийся с Декларации прав человека и гражданина, принятой Национальным учредительным собранием Франции 26 августа 1789 года в качестве важнейшего документа Великой французской революции, и закончившийся в Германии принятием конституции Второго рейха в 1871 году, не кажется уже столь длинным.

Семья Прингсхайм — яркий пример этого стремительного восхождения евреев из гетто в профессоры, из бесправного, нищенского существования на обочине общества — на вершину социальной пирамиды. Показательно, что к концу XIX века каждый пятый профессор математики в немецких университетах был евреем, в то время как доля еврейского населения в стране не превышала полутора-двух процентов[1].

Но обретение равных прав — это только одна грань повествования, а рядом появляется новая, ведь нет света без тени, и одна тема тянет за собой другую. Век эмансипации породил движение сопротивления, движение за отмену политических прав евреев, за "очищение" немецкого общества от "вредоносной расы". Само движение было столь необычным, что пришлось придумать ему специальное название. Новое слово появилось на свет в 1879 году, через три года после того, как Альфред Прингсхайм защитил вторую докторскую диссертацию и начал преподавать в Мюнхенском университете. В год, когда родилось новое слово, Альфред сочетался браком с красавицей-актрисой Хедвиг Дом; союз оказался счастливым и долговечным — он продолжался более шестидесяти лет. И все эти годы явление, обозначенное новым словом, висело, как грозовая туча, над судьбами Прингсхаймов и всех людей, имевших еврейские кор-

1. Bergmann Birgit, Epple Moritz. Jüdische Mathematiker in der deutschsprächigen akademischen Kultur. — Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2009.

ни. Эта туча в 30-х годах XX века на двенадцать лет совсем заслонила солнце, и разразилась Катастрофа европейского еврейства, для которой не было аналогов в истории Нового времени.

Читатель, конечно, догадался, что новое явление, которое родилось и окрепло в течение века эмансипации, называется антисемитизм. Само слово придумал в 1879 году Вильгельм Марр[1], не очень удачливый журналист и не очень успешный политик, однако понятие, несмотря на очевидную логическую неточность, прижилось и стало популярным. Сейчас его толкуют чрезвычайно широко, понимая под ним любое недоброжелательное отношение к евреям, будь то христианский антииудаизм или бытовая ксенофобия. Иногда говорят даже об античном антисемитизме, полностью размывая изначальный смысл термина, придуманного как раз для обозначения нового явления, не существовавшего до эпохи эмансипации.

Антисемитизм в Германии в конце XIX – начале XX веков затрагивал все слои общества. Задолго до зарождения национал-социалистического движения и до появления на политической арене Адольфа Гитлера в городах Германии существовали отели и рестораны, куда вход евреям был запрещен. Да что отели! Существовали курортные города, наиболее известен из них Боркум, куда евреев не пускали отдыхать! В других странах, например, в Австрии и в США, таких мест было еще больше[2].

Как грибы после дождя рождались в то время антисемитские партии и движения, требовавшие отказа от эмансипации и запрета евреям занимать государственные должности. За эти партии на выборах голосовали сотни тысяч избирателей. В 1893 году в рейхстаге Германии "политические антисемиты" имели целых шестнадцать мест[3].

В академических кругах антисемитизм проявлялся даже острее, чем среди малообразованного населения. Лозунг историка Генриха фон Трайчке "Евреи – наше несчастье", взятый потом на вооружение нацистами при Гитлере, родился одновременно со словом антисемитизм в 1879 году.

Невозможно правильно оценить карьеру профессора Прингсхайма, понять все трудности, которые ему пришлось преодолеть, если не представлять себе размах антисемитизма в немецком обществе. А с этой гранью рассказа связана еще одна – вагнеровская.

1. См. Евгений Беркович. Первый антисемит / Заметки по еврейской истории, 2007, № 17.
2. Frank Bajohr. Unser Hotel ist judenfrei. Bäder-Antisemitismus im 19. und 20 Jahrhundert. – Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 2003.
3. См., например, Scheil Stefan. Die Entwicklung des politischen Antisemitismus in Deutschland zwischen 1881 und 1912. – Berlin: Dunker & Humbolt GmbH, 1999.

Одним из идеологов расистского антисемитизма многие считают композитора Рихарда Вагнера, написавшего ядовитый трактат "Еврейство в музыке". С этим мнением, правда, плохо сочетается безграничная любовь к вагнеровской музыке тех самых людей, которых изобличал композитор. Прингсхайм перекладывал для фортепиано и часто сам исполнял произведения своего кумира. Он был одним из первых, кто пожертвовал средства для строительства "Фестшпильхауза"[1] в Байройте, где и по сей день исполняются вагнеровские оперы. Прингсхайм был лично знаком с композитором и до самой смерти как величайшее сокровище хранил адресованные ему письма байройтского гения.

Говорят, что вагнеровский антисемитизм оказал существенное влияние на мировоззрение Гитлера. Но как объяснить запрет на исполнение последней вагнеровской музыкальной драмы "Парсифаль", введенный в Германии с сентября 1939 года?

Без детального анализа "вагнеровского антисемитизма" нам не понять немыслимую популярность композитора у немецких евреев, да и само спасение четы Прингсхаймов в октябре 1939 года благодаря участию Винифред Вагнер останется необъяснимым. Так что вагнеровская грань повествования так же необходима, как следующая — математическая.

Судьба и творчество Альфреда Прингсхайма теснейшим образом связаны с историей математики вообще и историей Немецкого математического общества, в частности. Говоря об этой стороне жизни ученого, нужно обязательно подчеркнуть особую роль, которую играли университетские профессора в общественной жизни страны. Если в XIX и XX веках "поэт в России — больше, чем поэт", то в Германии "профессор — больше, чем профессор". Тем неожиданнее и страшнее оказалось сотням профессоров немецких университетов услышать весной 1933 года немыслимую ранее фразу: "Вы уволены, господин профессор!" Эта новость коснулась и Альфреда Прингсхайма, хотя он был в статусе эмеритуса — почетного профессора.

Об одном "герое" будущей книги мне хотелось бы сказать отдельно. Это упоминаемый уже дом, вилла или дворец Прингсхаймов в Мюнхене — его по-разному называли современники. Здание уникально и своей архитектурой, и внутренним убранством. Художественный фриз, так поразивший Томаса Манна при первом посещении Прингсхаймов, выполнен знаменитым художником Гансом Тома. В этом доме, одном из первых в Баварии, появились электричество и телефон.

Адрес дворца Прингсхайма — улица Арси, 12 — вошел в историю. На этом месте после сноса дома нацисты возвели "Дом

1. Оперный театр в Байройте (заложен в 1872-м, открыт в 1876 г.), где ежегодно проводится всемирно известный Вагнеровский фестиваль.

фюрера" — штаб-квартиру национал-социалистической партии. В то время как Берлин оставался столицей Германии, Мюнхен прочно занимал место "главного города движения". Печально известные "Мюнхенские соглашения", открывшие Гитлеру путь к захвату новых земель, были подписаны в "Доме фюрера", то есть по тому самому адресу — улица Арси, 12, — по которому раньше собирался в салоне Прингсхаймов весь образованный Мюнхен.

3. "*Убежденный филосемит*"

Так грань за гранью, тема за темой, страница за страницей неторопливо двигался к концу рассказ о жизни Альфреда Прингсхайма. Повествование обрело уже такой размер, что я вначале в шутку, а потом уже серьезно стал называть его "Сагой о Прингсхаймах" — так много действующих лиц и событий появилось на его страницах. Работа явно шла к концу, уже один маститый литератор написал к книге предисловие. Оставалось добавить к "Саге" одну-две главы о Томасе Манне, рассказать о не очень простых отношениях писателя с родителями жены, а также обсудить его позицию в так называемом еврейском вопросе и отметить противостояние писателя-антифашиста нацистским властям.

В этом месте читатель вправе поинтересоваться, а зачем вообще включать в книгу эти главы о Томасе Манне? Что нового можно сказать об отношении к еврейству автора "Иосифа и его братьев"? Или о позиции признанного антифашиста в отношении к гитлеровскому режиму?

Я понимаю правомерность таких вопросов, потому что сам до недавнего времени был уверен, что двух мнений тут быть не может: Томас Манн безоговорочно симпатизировал евреям и без колебаний сразу встал в ряды борцов с "коричневой чумой" XX века. Действительность оказалась куда сложнее, и об этом нужно сказать чуть подробнее.

Об авторе "Будденброков" и "Доктора Фаустуса" написаны сотни книг, тысячи статей, защищены десятки диссертаций как в Германии, так и в других странах, в том числе и в России. Казалось бы, ни один аспект творчества писателя, ни одна подробность его жизни не остались неизученными и непрокомментированными. Позиция Манна — непримиримого антифашиста — в отечественном литературоведении не подвергается сомнению. Не в последнюю очередь именно благодаря активной политической борьбе писателя с гитлеризмом, а впоследствии и с американским маккартизмом советский читатель смог достаточно полно познакомиться с творчеством Томаса Манна: в 1959—1961 годах в Государственном издательстве художественной ли-

тературы вышел в свет его десятитомник[1], а вслед за ним – двухтомник "Иосифа и его братьев"[2]. Такое полное издание одного из классиков литературы XX века было для тогдашнего СССР не просто необычным, но из ряда вон выходящим явлением.

Признаюсь, что для меня, да и для многих людей моего поколения, Томас Манн означает больше, чем великий писатель, нобелевский лауреат по литературе, истинный волшебник слова. Его роман об Иосифе дал нам первое представление о корнях иудаизма, библейские истории многие из нас узнали в волшебном пересказе Томаса Манна. Для нескольких поколений людей, не имевших представления о религиозной традиции своих предков, история Иосифа, его отца и братьев, столь виртуозно изложенная Томасом Манном, стала настоящим открытием, первой тропинкой, ведущей человека к его духовным корням.

Для читателя тетралогии об Иосифе совершенно очевидно, что ее автор очень сочувственно относится к евреям. Не случайно еще при жизни Томаса Манна некоторые критики и литературоведы регулярно намекали на его якобы еврейское происхождение, и писателю приходилось эти намеки постоянно опровергать. Свое отношение к еврейству Томас Манн не раз выражал вполне определенно. В 1907 году Манн написал эссе "Решение еврейского вопроса", название которого после Холокоста звучит устрашающе, но в то время, когда оно писалось, читатели воспринимали "еврейский вопрос" совсем в другом смысле, чем нацисты, а именно как проблему ассимиляции, интеграции и включения евреев в культурную и общественную жизнь страны. В этом эссе Томас Манн заявил: "Я убежденный и без тени сомнений филосемит".

Можно ли не верить такому заявлению автора, особенно если принять во внимание всю его последующую жизнь? Женат на еврейке, первый и самый важный в его литературной жизни издатель – Самуэль Фишер – еврей, первый литературный критик, предсказавший ему великую писательскую славу – Самуэль Люблинский – еврей, ближайшие друзья – Бруно Вальтер, Бруно Франк, Альфред Нойман и другие – тоже евреи...

4. "*Кровь Вельзунгов*"

Правда, у внимательного читателя художественных произведений Томаса Манна закрадывается некоторое сомнение в истинности его самоопределения "убежденный филосемит". Оставим пока в стороне тетралогию "Иосиф и его братья" и

1. Томас Манн. Собрание сочинений в 10-ти тт. – М.: ГИХЛ, 1959–1961.
2. Томас Манн. Иосиф и его братья. В 2-х тт. – М.: ГИХЛ, 1968.

написанный в 1909 году роман "Королевское высочество". Почти во всех других романах и новеллах Манна в числе персонажей присутствуют евреи, и практически все они представлены откровенно негативно.

Особенно яркий пример — приват-доцент Хаим Брейзахер в "Докторе Фаустусе", крайне неприятный самому автору тип еврея, проповедующего антигуманный, откровенно фашистский взгляд на мир. Роман, напомню, вышел в свет в 1947 году, когда мир еще не успел прийти в себя от ужасов мировой войны и Холокоста. Но о еврейской Катастрофе в романе ничего не говорится, зато выразителем нацистской идеологии автор назначил именно еврея.

Отдельного разговора заслуживает так называемая еврейская новелла Томаса Манна — "Кровь Вельзунгов", написанная в конце 1905 года, когда после свадьбы писателя с Катей Прингсхайм прошло менее года. Новелла должна была появиться в январском номере журнала "Нойе Рундшау", но была отозвана автором из редакции и увидела свет только в 1921 году, в мюнхенском издательстве "Фантазус", тираж всего 530 нумерованных экземпляров. Новелла стала доступна широкому читателю только в 1958 году, через три года после смерти автора, когда вошла в собрание сочинений Томаса Манна, изданное в Стокгольме.

Поводом для такого необычного шага писателя, запретившего публикацию уже принятой журналом работы, послужили широко распространившиеся по Мюнхену слухи об антисемитском характере этой новеллы, в главном герое которой — чиновнике фон Бекерате, собиравшемся жениться на дочери богатого еврейского коллекционера произведений искусства, — публика увидела самого Манна в пору его сватовства к Кате Прингсхайм. То, что действие из Мюнхена перенесено автором в Берлин, мало что меняло: в карикатуре на Прингсхаймов читателю виделась месть писателя за унижения, испытанные им во время долгого ожидания желанного "да" со стороны невесты и ее отца. Конфликт Томаса Манна с Альфредом Прингсхаймом, чуть не закончившийся трагически (поговаривали о пистолете, с которым профессор математики примчался для выяснения отношений с зятем), привел к тому, что публикация новеллы была надолго запрещена.

Надо отдать должное писателю: после скандала, перечитав еще раз свою новеллу, он признался в письме брату от 17 января 1906 года, что основания считать ее антисемитской у читателя были. Поэтому свой отказ от публикации он считает обоснованным.

Русское литературоведение вряд ли поможет читателю разобраться в теме "Томас Манн и евреи", ибо эта проблематика старательно обходится даже в солидных исследованиях. Вот яркий пример.

Одной из лучших биографий писателя на русском языке я считаю книгу Соломона Апта в серии "Жизнь замечательных людей"[1]. Но на ее страницах слова "еврей" практически не встретишь. Читатель этой прекрасной биографии вряд ли составит себе обоснованное представление об истинном отношении писателя к острому "еврейскому вопросу", интересовавшему его на протяжении всей сознательной жизни. Еврейская тема, как видно, была запрещенной для советских литературоведов.

Поразительно, но не намного лучше до недавнего времени обстояло дело и на родине Томаса Манна, где его по праву считают одним из столпов немецкой культуры и где ежегодно выходят десятки книг, проводятся многочисленные семинары, конференции, посвященные жизни и творчеству Волшебника. Первый коллоквиум по теме "Томас Манн и евреи" прошел в Берлине лишь в 2002 году, почти через пятьдесят лет после смерти писателя. До этого любые сомнения в безупречной репутации нобелевского лауреата и в отношении нацистской Германии, и в отношении евреев рассматривались как злейшая крамола и попытка подорвать авторитет человека, считавшегося символом "новой Германии" как в ФРГ, так и в ГДР. Редкий, кстати, случай, когда политические установки двух немецких государств, образованных после Второй мировой войны и принадлежащих к противостоящим военным блокам, совпадали. Общее мнение, господствовавшее в немецкоязычном литературоведении того времени выразил известный издатель, писатель и литературный критик Мартин Флинкер в книге "Политические размышления Томаса Манна в свете сегодняшнего времени": "Связывать имя Томаса Манна с антисемитизмом – значит его совсем не понимать, его совсем не знать и отрицать ценность его работ".

Учитывая немалый объем художественных произведений, оставленных нам классиком немецкой литературы, анализ даже самых ярких еврейских персонажей в романах и новеллах Томаса Манна вряд ли может быть коротким. Первоначально отведенный Волшебнику раздел "Саги о Прингсхаймах" стал стремительно увеличиваться.

5. "*Издание общеантисемитского направления*"

Иногда поступки красноречивей слов. Весьма показателен важный эпизод биографии обоих братьев – Генриха и Томаса Маннов, – связанный с их совместной работой в журнале "Двадцатый век" в 1895–1896 годах. Эта позорная страница биографий обоих писателей тщательно обходится их иссле-

1. Соломон Апт. Томас Манн. М.: Молодая гвардия, 1972. – Серия "Жизнь замечательных людей".

дователями и комментаторами. Сам Томас Манн тоже не любил вспоминать в автобиографических очерках период работы в этом журнале. Что же это за издание и почему работа в нем — позор для порядочного человека?

Журнал "Двадцатый век" имел подзаголовок "Тетради в защиту немецких порядков и немецкого блага". Основанный в 1890 году прибалтийским немцем Эрвином Бауэром, журнал с первого своего номера взял открыто антисемитский курс. Сам основатель и первый редактор журнала прямо называл себя представителем "немецко-социально-антисемитского направления" в германской прессе. Направление журнала точно соответствовало смыслу недавно введенного в оборот слова "антисемитизм": издание настойчиво агитировало за пересмотр результатов политической эмансипации евреев и исключение их из общественной жизни страны. В качестве решения "еврейского вопроса" авторы и редакция журнала не рассматривали ни крещение, ни ассимиляцию евреев. Расовый антисемитизм не признавал таких "простых" решений, какие предлагал традиционный христианский антииудаизм.

Антисемитским считали журнал "Двадцатый век" сами антисемиты. Например, в опубликованном в 1893 году журналом "Немецкие социальные тетради" перечне печатных изданий Германии журнал "Двадцатый век" попал в рубрику "Издания общеантисемитского направления". Тот же орган регулярно публиковал аннотацию статей очередного номера журнала "Двадцатый век" с настоятельным советом читателям основательно с ними ознакомиться. Журнал вошел в составленный известным антисемитом Теодором Фричем[1] "Катехизис антисемитов".

С приходом на пост главного редактора и издателя Генриха Манна направление журнала не изменилось. В своей программной статье новый издатель писал от имени редакции о "здоровом антисемитизме" немецкого народа как реакции на участие евреев, традиционных "врагов германского единства", в двух презренных интернационалах — социалистическом и капиталистическом.

Томас Манн был менее активным полемистом, чем его старший брат, но разделял все идеологические установки издателя и главного редактора журнала. Будущий автор "Будденброков" в статьях, опубликованных в "Двадцатом веке", соглашался, что немецкий дух "объевреен", и подчеркивал, что вопрос, принять ли результаты еврейской эмансипации или отказаться от них, для него еще открыт.

1. Теодор Фрич (1852–1933) — немецкий писатель и издатель антисемитского журнала "Хаммер". Автор многих публикаций, направленных против евреев.

Про работу братьев Манн в журнале "Двадцатый век" известный немецкий социолог Штефан Бройер сказал, что "в такую идеологически напряженную среду не попадают случайно, по незнанию, или потому что нужны деньги, или потому что хочется поэкспериментировать с различными ролями. Тот, кто туда попадает, делает это из принципиальных соображений, по меньшей мере в согласии с тем, что лежит в основе этого издания".

Так что нам не обойтись без внимательного изучения этого периода жизни великого писателя, свидетельствующего, как деликатно выразился Соломон Апт в цитированной биографии, "о чрезвычайно медленном политическом созревании очень рано созревшего художника". А раздел о Томасе Манне в моей "Саге о Прингсхаймах" продолжал неуклонно расти.

6. *Языком антисемитских штампов*

Этот раздел становится еще объемней, как только мы обращаемся к публицистическим работам писателя. В отличие от художественных произведений, публицистика Манна, по крайней мере после "Двадцатого века", полна категоричных утверждений, осуждающих антисемитизм, расовый шовинизм и немецкий национализм. Но странным образом эти замечательные лозунги и призывы соседствуют с откровенно антисемитскими стереотипами из лексикона какой-нибудь нацистской газетки типа "Штюрмер". Возьмем, к примеру, уже упоминавшееся эссе "Решение еврейского вопроса", написанное в 1907 году. Именно там Томас Манн называет себя убежденным филосемитом, а чуть далее подчеркивает, что ему чужд всякий расовый шовинизм. Все это было бы замечательно, если бы через несколько строк писатель не заговорил языком антисемитских штампов. Евреи для него "безусловно деградировавшая и обнищавшая в гетто раса".

Слово "раса" часто встречается в публицистике и письмах Томаса Манна. Истинный сын своего времени, он свято верил в модное тогда "научное" понятие, но не был фанатиком "чистоты расы", наоборот, подчеркивал и высоко ценил то, что в нем смешались кровь немецкая от отца — любекского сенатора Томаса Генриха Манна — и кровь "романская" от матери — наполовину бразильянки Юлии Манн, урожденной да Сильва-Брунс. Всю жизнь писатель ощущал в себе единство и борьбу двух начал: бразильского темперамента и немецкой глубины.

Убеждение, что евреи — особая раса, также сопровождало Томаса Манна всю жизнь. Вернемся к программному эссе "Решение еврейского вопроса". Выразив убеждение, что мечта

сионистов об исходе евреев из Европы стала бы для всех европейцев настоящим несчастьем, он тут же переходит на покровительственный тон:

Сейчас решительно нет никакой необходимости представлять себе еврея обязательно с жирным горбом, кривыми ногами и красными, постоянно жестикулирующими руками, наглым и хитрым поведением, короче, олицетворяющим в себе все грязное и чужое. Напротив, такой тип еврея встречается крайне редко, а среди экономически продвинутого еврейства мы обычно видим молодых людей, в которых чувствуется благополучие, элегантность, привлекательность и культура тела, из-за этих людей мысли немецких девушек или юношей о смешанном браке становятся вполне естественными.

Показательно, что вплоть до Холокоста Томас Манн считал неассимилированных евреев столь же неприличным явлением в обществе, как мужчин, открыто живущих гомосексуальной жизнью.

Летом 1919 года Томас Манн ехал в поезде из Мюнхена в Берлин. В купе первого класса он беседовал с попутчиками, о чем в воскресенье 13 июля оставил запись в своем дневнике:

В первой половине дня я был один с еврейской парой, чья женская половина вобрала в себя все самые отвратительные бабские черты, сутулая, жирная и коротконогая, один вид которой вызывает рвоту, с бледным задумчиво-меланхолическим лицом и тяжелым запахом духов... Евреи постоянно ели, покупали все, что им во время поездки предлагали, хотя и так у них всего было с запасом.

Безотчетная вера в расовые отличия евреев от немцев и других европейцев мешала Томасу Манну преодолеть до конца антисемитские предрассудки. Особенно ярко это проявилось в многолетней полемике писателя с Теодором Лессингом, социологом, философом и литературным критиком, непримиримым противником гитлеровской диктатуры, ставшим одной из первых жертв нацистов. Лессинг обладал даром пророка: он увидел опасность прихода диктатора задолго до того, как Гитлер стал заметной политической фигурой. Лессинг протестовал против выбора президентом Веймарской республики престарелого маршала фон Гинденбурга в далеком 1925 году. Философ словно предчувствовал, что через восемь лет Гинденбург, избранный к тому времени еще на один срок, назначит рейхсканцлером главу национал-социалистической партии[1].

1. См. Теодор Лессинг — пророк и жертва // Евгений Беркович. Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста. — М.: Янус-К, 2003.

Томасу Манну не хватило широты и душевной щедрости признать правоту философа из Ганновера. Слишком велики были личные обиды писателя на остроумного и едкого критика, к тому же хорошо знавшего семейную жизнь Прингсхаймов и Маннов. По-человечески Томаса можно понять: ну как стерпеть обиду, когда Лессинг называет Катю — единственным мужчиной в семье Манн, главу же семьи обзывает "бабой" и "засахаренным марципаном из Любека"!

Манну нужен был только повод, чтобы открыто пойти в бой против Лессинга, и такой повод появился, когда в январе 1910 года сначала в еженедельнике "Сцена", а потом отдельной брошюрой вышла в свет работа ганноверского философа "Самуил подводит баланс"[1]. В ней здорово досталось и критику Самуилу Люблинскому, открывшему Томасу Манну путь в большую литературу, и самому Манну.

Статья Лессинга больно задела не одного Томаса Манна. Многие литераторы и журналисты высказали свое несогласие, среди них Стефан Цвейг, Теодор Хойсс, Вальтер Боем... Но по страстности и агрессивности выступление Томаса Манна в "Литературном эхе" от 1 марта 1910 года выделялось среди всех.

Автор "Будденброков" отдает должное человеческим качествам Самуила Люблинского, его серьезности и интеллигентности. Именно в таких критиках, умных и прозорливых, больше всего нуждается немецкая литература, считает Томас Манн. А дальше писатель с "романским темпераментом" переходит в атаку на Лессинга, используя приемы классических антисемитов:

> Господин Люблинский — никакой не красавец, и он еврей. Но я знаю также и господина Лессинга... и кто... захочет найти в нем образец арийской мужественности, должен будет приложить немало энтузиазма... Кто сам всю жизнь служит ужасным примером отвратительной еврейской расы, демонстрирует не просто глупость, а грязное самоуничижение, если он позволяет себе написать пасквиль, в котором через слово высмеивается "картавость" другого.

И это далеко не единственный пример. Другим "злейшим врагом" писателя (как он пишет в дневнике) и представителем "отвратительной еврейской расы" был литературный и театральный критик Альфред Керр. Многие оценки, данные Керру Манном, не вошли в его публицистические работы, но остались на страницах записных книжек, дневников и писем. Эти записи также требуют изучения, если мы хотим понять

1. Theodor Lessing. Samuel zieht die Bilanz und Tomi melkt die Moralkuh oder Zweier Könige Sturz. Eine Warnung für Deutsche, Satiren zu schreiben. — Hannover: Verlag des "Antirüpel", 1910.

истинное отношение их автора к политике, в частности, к приходу к власти нацистов.

7. *Нерешительный Волшебник*

Томас и Катя Манн прожили в Третьем рейхе меньше двух недель: уже 11 февраля они отправились в давно запланированную поездку по нескольким странам Европы, где писатель должен был читать лекции о своем музыкальном кумире — Рихарде Вагнере. Из этой поездки Манн в гитлеровскую Германию больше не вернулся. Он следил за развитием событий в Германии из безопасного далека — из Швейцарии, Франции, затем из США... — и комментировал происходившее на страницах своего дневника.

Происходившее на родине Томас Манн наблюдал со смешанным чувством. Ему, утонченному интеллектуалу, волшебнику слова, без сомнений, претили грубые нацистские методы расправы с неугодными. В то же время вытеснение евреев из социальной и культурной жизни писатель-гуманист воспринимал неоднозначно.

Весной 1933 года Гитлер получил наконец долгожданную возможность принимать нужные ему законы. После поджога рейхстага в ночь с 27 на 28 февраля и последовавших после этого репрессий против коммунистов, на выборах 5 марта национал-социалистам в союзе с немецкой национальной народной партией Альфреда Гугенберга удалось добиться абсолютного парламентского большинства. Это открыло Гитлеру путь в диктаторы.

Свои преобразования Веймарской республики в Третий рейх Гитлер начал с "чистки" государственных служащих, к которым относились, в частности, профессора университетов и преподаватели гимназий. Закон "О восстановлении профессионального чиновничества" от 7 апреля 1933 года был первым, где появились расистские формулировки, а именно: термин "арийское происхождение". Так в § 3 этого закона говорилось, что "государственные служащие неарийского происхождения должны быть отправлены на пенсию".

В тот же день, что и закон о чиновничестве, был издан еще один закон — о допуске в адвокатуру, лишавший адвокатов-евреев профессиональных лицензий. Буквально через три дня после появления в печати этих законов, 10 апреля 1933 года, Манн отмечает в дневнике:

> Евреи... В том, чтобы прекратились высокомерные и ядовитые картавые наскоки Керра на Ницше, большой беды не вижу; равно как и в удалении евреев из сферы права — скрытное, беспокойное, натужное мышле-

ние. Отвратительная враждебность, подлость, отсутствие немецкого духа в высоком смысле этого слова присутствуют здесь наверняка. Но я начинаю предчувствовать, что этот процесс все-таки — палка о двух концах.

Томас Манн готов признать действия нацистов не лишенными оснований. В записи от 20 апреля 1933 года читаем:

Возмущение против евреев могло бы найти у меня понимание, если бы утрата контроля со стороны еврейского духа не была столь рискованной для духа немецкого и если бы не немецкая глупость, с помощью которой меня стригут под ту же гребенку, что и евреев, и изгоняют вместе с ними.

Поразительные признания! Писатель, еще в 20-е годы предупреждавший об опасности немецкого национализма, теперь готов, на известных условиях, принять гитлеровский режим. Антиеврейские акции нацистов могли бы, оказывается, найти у него понимание. Как тут не вспомнить, что в те же 20-е революцию в России Томас Манн тоже называл "иудобольшевизмом". Правда, в 1933 году писатель видит и положительную сторону в контроле еврейского духа над немецким.

После войны автор, по-видимому, понял двусмысленность своей позиции и исключил этот фрагмент из дневников, опубликованных в книге "Страдания за Германию" и вышедших в свет в США в 1946 году.

В переломные месяцы становления диктатуры сознание писателя явно раздвоено. В дневнике он готов одобрить действия гитлеровского правительства, в письмах к друзьям и коллегам, наоборот, решительно осуждает насилие и жестокость. Альберту Эйнштейну он, в частности, пишет 15 мая 1933 года: "...по моему глубокому убеждению, вся эта 'немецкая революция' как раз и является ложью и злом".

Однако выступить открыто против "лжи и зла" Томас Манн не решается. Он тешит себя надеждой найти с новой властью общий язык. Ему страшно потерять немецкого читателя, его книги все еще издаются в Берлине. И власть не торопится применять к нему жесткие санкции.

Брат и сын Томаса Манна — Генрих и Клаус — уже давно сделали выбор. Оба они тоже сразу эмигрировали во Францию — Генрих в конце февраля, перед самым поджогом рейхстага, в городок Санари-сюр-Мер на Лазурном берегу, а Клаус в середине марта 1933 года в Париж. Политическая позиция Генриха и Клауса ни у кого не вызывала сомнений, и новая власть быстро применила к ним соответствующие меры. Одними из первых они были лишены немецкого гражданства, их книги горели на кострах 10 мая 1933 года во время так называемой акции борьбы с "антинемецким духом".

Книг Томаса Манна среди сжигаемых на кострах не было. Нацисты все еще надеялись увидеть знаменитого писателя в числе своих союзников. Читая его дневники того времени, приходишь к выводу, что эти надежды были не так уж беспочвенны. Вот запись от 15 июля 1934 года о том, что евреи, якобы, сами виноваты в наступлении диктатуры:

> Думал о нелепице того, что те самые евреи, которых в Германии лишают прав и изгоняют, принимают сильнейшее участие в антилиберальном движении и могут в своей значительной части рассматриваться как его зачинатели.

Альберт Эйнштейн с первых дней назначения Гитлера на пост рейхсканцлера заявил о своем разрыве и с Прусской академией наук, и с гитлеровской Германией, отказавшись от немецкого гражданства. Решительный шаг, сделанный твердо и без промедлений, можно объяснить не только мудростью и принципиальностью творца теории относительности, но и тем, что он сам был евреем и остро переживал любые проявления антисемитизма, будь это Россия, Польша или Германия.

У Томаса Манна с его смесью "немецкой и романской кровей" эта чувствительность к несправедливости антиеврейских гонений была существенно ниже, хотя и он не мог не понимать, что его жене, детям, родителям жены в Третьем рейхе уготована судьба жертв. Но поступить, как Эйнштейн, и отказаться от немецкого гражданства в знак протеста против творимых в Германии преступлений, нобелевский лауреат по литературе не мог решиться долгих три года. Даже дети — Клаус и Эрика — возмущались пассивностью отца. Лишь в 1936 году Томас Манн открыто и решительно выступил против нацистского режима и был тут же лишен немецкого гражданства. С этого момента на сцену выходит привычный для нас образ писателя-антифашиста, именно такой Томас Манн стал символом "новой Германии", именно таким мы его знали по его статьям и книгам, переведенным на русский язык.

8. *Две стороны одной медали: свастика и звезда Давида*

Общественные потрясения часто наступают нежданно. Поистине нужно обладать даром пророка, чтобы предвидеть, например, установление диктатуры в Германии в 30-е годы XX века, и принять правильные решения в новой, еще невиданной обстановке.

В такие переломные моменты истории многие интеллектуалы, блиставшие в прежние годы мудростью и знаниями,

вдруг теряют ориентировку. С позиции нашего опыта это выглядит так, будто их разум на время помутился, они перестали различать добро и зло, в друзьях видели врагов и пытались подружиться с непримиримыми врагами. Так что "странное" поведение Томаса Манна в первые годы Третьего рейха — вовсе не исключение из правил.

Поразительных примеров таких "странностей" можно привести множество. Начнем, пожалуй, с того, как евреи Германии относились к Гитлеру и его партии. За три дня до выборов в рейхстаг в марте 1933 года в гамбургской еврейской газете "Израелитишес фамилиенблат" появилась примечательная статья под заголовком "Как мы будем голосовать 5 марта?" В ней, в частности, говорилось:

> Многие евреи, которые одобряют экономическую программу сегодняшних правых, никак не могут к ним присоединиться, так как эти партии совершенно нелогичным образом увязывают свои экономические и политические цели с борьбой против еврейства.

Когда же национал-социалисты победили на выборах, и путь к диктатуре для Гитлера был открыт, некоторые еврейские организации сделали попытку присоединиться к новому порядку. Среди них можно отметить Союз национал-немецких евреев, руководимый Максом Науманом, и "Имперский союз еврейских фронтовиков", возглавляемый Лео Лёвенштайном. Лёвенштайн даже подготовил специальное заявление на имя Гитлера, которое сопроводил своими предложениями, касавшимися евреев Германии. Текст был составлен в национал-социалистическом духе, к нему прилагался экземпляр памятной книги с именами двенадцати тысяч немецких солдат-евреев, павших на фронтах Первой мировой войны.

И хотя нападки властей на евреев с каждой неделей усиливались, позиция еврейских лидеров менялась мало. Они призывали сограждан-соплеменников к спокойствию и терпению, были категорически против еврейской эмиграции из Германии. Даже после бойкота еврейских предприятий, организованного властями 1 апреля 1933 года, известный раввин Йоахим Принц считал неразумным любые выступления против "нового порядка", который имеет целью дать людям "хлеб и работу"[1].

Один из самых знаменитых историков того времени Исмар Эльбоген, выступая перед слушателями, часто повторял: "Нас могут заставить голодать, но не умирать от голода". Это была трагическая ошибка мудрого ученого: через десять лет сотни тысяч евреев будут умирать от голода в гетто и концлагерях.

1. Один из лозунгов нацистской партии на выборах в рейхстаг.

Летом 1933 года профессор истории Кильского университета Феликс Якоби читал студентам лекцию о римском поэте Горации. В начале лекции профессор заявил:

> Как еврей я нахожусь в трудном положении. Но как историк я знаю, что историческое событие нельзя рассматривать только с позиций личной перспективы. Я голосовал за Адольфа Гитлера с 1927 года и счастлив теперь, что в год подъема национального духа могу читать лекцию о поэте императора Августа. Ибо Август — единственный образ в мировой истории, с которым я могу сравнить Гитлера.

Такие эксцентричные случаи были, конечно, не частыми. Но и тех, кто сразу понял, что ждет немецких евреев, и решился на эмиграцию, было тоже немного. Один из них — знаменитый писатель Лион Фейхтвангер, уехавший в поисках безопасного места в Швейцарию и писавший оттуда своему другу и коллеге Арнольду Цвейгу: "Для меня уже слишком поздно пытаться хоть что-то в Германии спасти. Для меня там все пропало".

Некоторые лидеры сионистского движения были готовы идти на союз с нацистами, лишь бы добиться переселения евреев в Палестину. На этом поприще особенно заметен был Георг Карески, руководитель одной маргинальной сионистской организации, не пользовавшийся большим уважением даже в сионистской среде. Карески всячески подчеркивал опасность момента и призывал к крайним мерам, вплоть до сотрудничества с гестапо и министерством пропаганды, лишь бы увести евреев из Германии, подальше от грозящей беды. Возможно, он делал это, желая поднять свой личный авторитет среди единоверцев, но в понимании реальной опасности ему не откажешь. Как раз этого, к сожалению, не хватало еврейским лидерам Германии в первые месяцы и годы Третьего рейха.

Пожалуй, только сионисты пользовались вниманием и поддержкой нацистов. Эта поддержка не ограничивалась словами, она выражалась во вполне реальной материальной помощи.

В то время как для обычной эмиграции действовал установленный еще во времена Веймарской республики налог на вывоз капитала за границу, увеличенный Гитлером до немыслимых размеров, нацистские власти облегчали выезд евреев в Палестину и всячески содействовали деятельности сионистов в Германии.

Согласно так называемому соглашению "Хавара", заключенному 27 августа 1933 года между министерством экономики Третьего рейха и сионистскими представителями Германии и Палестины, еврейским эмигрантам разрешалась прямая пересылка части их имущества. Одновременно облегчался экспорт товаров из Германии на Ближний Восток. В об-

щей сложности с 1933 по 1939 годы по этому соглашению в Палестину было переведено около ста миллионов рейхсмарок, что помогло шестидесяти тысячам немецких евреев, переселившихся в эти годы в Святую землю, продержаться в самое трудное первое время эмиграции.

Понятно, что соглашение "Хавара", как и договоренности между нацистами и сионистами, носили чисто технический характер и не отменяли того факта, что сионисты для Гитлера и его приспешников в любом случае оставались евреями, которых они ненавидели и боялись. Сионисты были для антисемитов частью системы "мировой закулисы", а создаваемое ими государство в Палестине было своеобразным "еврейским Ватиканом", штабом, где зрели детали всемирного заговора. В то же время сионизм помогал решить важнейшую для нацистов на тот период задачу – освободить Германию от евреев, что делало сионистов, пусть на время, "полезными" для дела национал-социализма.

Для нацистской Германии соглашение "Хавара" имело еще то преимущество, что создавало брешь в бойкоте немецких товаров, к которому призывали евреи зарубежных стран. Сионистские организации и руководство ишува (еврейской общины в Палестине) демонстративно не участвовали ни в каких формах протеста против немцев, так как опасались, что это создаст препятствие новым соглашениям.

Отношения сионистов и нацистов и до заключения соглашения "Хавара" носили подчас совершенно экзотический характер. В начале 1933 года барон Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн был приглашен вместе с женой совершить путешествие по Палестине и написать серию путевых заметок в издаваемый Геббельсом журнал "Ангриф" ("Наступление"). Барон фон Мильденштайн через несколько лет будет начальником еврейского реферата (отдела) службы безопасности руководимого Рейнхардом Гейдрихом разведывательного подразделения СС. Одним из подчиненных барона станет Адольф Эйхман.

Барон фон Мильденштайн, сопровождаемый одним из руководителей берлинских сионистов Куртом Тухлером и его женой, посетил во время своего шестимесячного путешествия по Святой Земле несколько еврейских поселений, о чем написал в весьма доброжелательном тоне серию статей под общим названием "Путешествие национал-социалиста в Палестину". Он высоко оценил достижения сионистов и увидел в их деятельности возможное решение "еврейского вопроса" для Германии. Барон писал: "Еврей, который сам возделывает свою почву, становится совсем новым евреем". Геббельс настолько высоко оценил писания барона, что распорядился даже отчеканить памятную медаль с изображением звезды Давида на одной стороне и свастики на другой.

Столь же необычно выглядит меморандум, отправленный 22 июня 1933 года лидерами сионистских организаций Германии непосредственно Гитлеру. Немецкие сионисты признаются в симпатии к новому режиму, установленному в стране нацистами, и утверждают, что сионизм в своих исходных положениях весьма близок (по выражению авторов меморандума, "звучит в унисон") национал-социализму. Это смелое утверждение далее разъясняется:

> Сионизм верит, что возрождение национальной жизни народа, как это происходит в настоящее время в Германии на христианском и национальном фундаменте, произойдет и для еврейского народа. И для еврейского народа решающими факторами существования должны стать происхождение, религия, общая судьба и чувство уникальности. Это требует исключения эгоистического индивидуализма либерального времени и замены его общей и коллективной ответственностью.

Заканчивался этот меморандум просьбой к новым властям Германии: в системе, которую национал-социалисты строят на расовой основе, найти место и для евреев, чтобы они смогли внести свой вклад в процветание родины.

9. "В *свете нашего опыта*"

В 1981 году сын Томаса Манна Голо написал письмо известному литературному критику и страстному почитателю творчества "Волшебника из Любека" Марселю Райх-Раницкому. Голо Манн отвечал на вопрос критика об отце и его отношении к евреям:

> ...он родился в провинции, и так до конца и не избавился от некоторой провинциальности... Знатные люди в маленьком городе... Отсюда и его антисемитизм, от которого он полностью так и не отошел (как и его брат)[1].

Вряд ли кто-либо знал и чувствовал Томаса Манна лучше, чем его сын. Однако "антисемитизм провинциальности" — только часть правды.

Всю жизнь отношение писателя к евреям колебалось между двумя полюсами: от отчуждения ("я, рожденный немцем, не такой, как вы") до слияния ("я такой же изгой, как евреи"). Отбросить одну краску в этой картине так же невозможно,

1. Golo Mann. Reich Ranicki Marcel. Enthusiasten der Literatur. Ein Briefwechsel. Aufsätze und Portraits. — Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2000.

как оторвать в магните северный полюс от южного или вообразить себе земной шар с одним полярным кругом.

Вот с такой неожиданной стороны повернулось описываемое время.

И почти готовая "Сага о Прингсхаймах" остановилась. "Незнакомый Томас Манн" просто не помещался в ней, ломал ее изнутри, явно выходя за пределы предназначенных для него одной-двух глав. И я, как раньше говорили, "положил в стол" незаконченную книгу.

С тех пор прошло несколько лет. Иногда я открывал "Сагу", вертел ее и так, и этак, но серьезный материал о поведении интеллектуалов в критические моменты истории, а также рассказ о малоизвестных сторонах жизни и творчества Томаса Манна никак не укладывались в структуру задуманного.

Спасительная идея пришла неожиданно и оказалась на удивление простой: надо первоначальный замысел "Саги" как бы вывернуть наизнанку. Не историю становления диктатуры – вместе с очерками жизни и творчества Томаса Манна – встраивать в "Сагу", а наоборот, жизнеописание Прингсхаймов поместить в большой групповой портрет: Томас Манн среди других интеллектуалов. Портрет, сделанный, так сказать, в интерьере эпохи, причем тогда, когда мудрым отказывает их мудрость. "Смятение умов" – так можно описать состояние интеллектуальной элиты, когда в обществе наступает кризис.

Стал ли Томас Манн мне менее дорог после того, как все перечисленные факты его биографии и аспекты творчества выведены из тени забвения и полумрака умолчания на ясный свет беспристрастной критики? Нет, ни в коем случае. Напротив, он стал ближе и понятнее: сын своего времени, он нес в себе все его предрассудки и противоречия. Ведь сейчас мы смотрим на него глазами другого поколения, в свете, так сказать, нашего опыта. Кстати, это выражение самого Волшебника, написавшего в 1947 году эссе "Философия Ницше в свете нашего опыта"[1]. Пусть же об этом напоминает название нашей работы – "Томас Манн в свете нашего опыта".

Часть вторая. Смятение чувств

1. "Первый и единственный друг среди людей"

В жизни Томаса Манна людей, которым он говорил "ты", по его собственным словам, можно "пересчитать по пальцам одной руки".

1. Томас Манн. Аристократия духа: Сборник очерков, статей и эссе. – М.: Культурная революция, 2009.

Обращению на "ты" писатель придавал особое значение. Описывая в романе "Иосиф в Египте" состояние влюбленной в Иосифа жены Петепра, автор отмечает, как "пугающе сладостно и увлекательно было для нее уже одно то, что она говорила с ним, говорила "мне" и "тебя", "ты" и "я" — преодолевая те два шага, которые разделяли их тела"[1].

Совсем иное дело, когда на "ты" обращаются друг к другу посторонние люди, которым полагается говорить "вы". Устами доктора Сеттембрини из "Волшебной горы" Томас Манн осуждает такую манеру:

Это отвратительная дикость, игра в первобытность, распущенность, которую я ненавижу, так как она, в сущности, направлена против цивилизации и прогрессивного человечества — нагло и бессовестно[2].

"Тыкание" — месть сатаны. В "Докторе Фаустусе" музыкант Леверкюн, о котором мы еще поговорим ниже, так беседует с чертом:

— Кто называет меня на "ты"? — спрашиваю я сердито.

— Я, — отвечает он. — Я, в знак благосклонности. Ах, это ты потому, что сам со всеми на "вы", даже со своим юмористом, джентльменом, кроме одного только верного друга детства, который называет тебя по имени, а ты его нет? Ничего, потерпи. Такие уж у нас отношения, чтобы быть на "ты"[3].

Поздравляя с семидесятилетием своего давнего друга и бывшего мюнхенского соседа, а теперь товарища по американскому изгнанию, знаменитого дирижера Бруно Вальтера[4], Томас Манн сетует на несовершенство английского языка:

Дорогой друг, это досадно. Только что мы после строгого испытательного срока длиной в 34 года договорились в дальнейшем обращаться друг к другу на "ты", а теперь я должен писать тебе письмо по случаю дня рождения, в котором это прекрасное начинание вообще не проявляется, так как на этом проклятом сверхцивилизованном английском даже к своей собаке обращаются "you".

1. Томас Манн. Иосиф в Египте / Перевод с нем. С. Апта. — Собрание сочинений в 8 тт. Том 4. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009.
2. Томас Манн. Волшебная гора / Перевод с нем. В. Станкевич. — Собрание сочинений в 8 тт. Тома 1, 2. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 2009.
3. Томас Манн. Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом / Перевод с нем. С. Апта и Н. Ман.
4. Бруно Вальтер (1876–1962) — немецкий музыкант, дирижер. В Мюнхене Бруно Вальтер жил в районе Герцогпарка (Mauerkircherstraße, 43). В том же Герцогпарке располагался (Poschingerstraße, 1) дом Томаса Манна, в котором семья писателя проживала с 1914 по 1933 гг.

Не будем придираться к нобелевскому лауреату по литературе за то, что он в этом блестящем пассаже, открывающем поздравительное письмо, ради красного словца или по забывчивости, увеличил на пару лет и без того чудовищно огромный "испытательный срок". К семидесятилетию Бруно Вальтера в августе 1946 года знакомству с ним Томаса Манна никак не могло быть более тридцати двух лет.

При таком отношении к фамильярности не удивительно, что среди знакомых Томаса Манна только немногие удостаивались дружеского "ты". Одним из них был Пауль Эренберг. Пожалуй, ни с кем не был писатель в годы своей молодости так близок, как с этим начинающим художником.

В седьмой записной книжке писателя есть многозначительная запись:

> П. – мой первый и единственный друг среди людей. До сих пор у меня были друзья лишь среди демонов, кобольдов, завзятых колдунов и призраков, глухих к голосу жизни – иными словами, среди литераторов.

Без упоминания Пауля эта фраза практически слово в слово вошла в новеллу "Тонио Крёгер".

В "Очерке моей жизни", опубликованном в 1930 году, писатель пишет о событиях тридцатилетней давности, заменяя фамилию Пауля буквой "Э":

> В ту пору самыми близкими мне друзьями были двое юношей из того кружка молодежи, где вращались мои сестры, – сыновья дрезденского художника, профессора академии художеств Э. В моей привязанности к младшему из них, Паулю – тоже художнику, тогда учившемуся в Мюнхенской академии у знаменитого анималиста Цюгеля и вдобавок превосходно игравшему на скрипке, – казалось, воскресло чувство, которое я некогда питал к тому белокурому, бесславно погибшему школьному товарищу[1], но благодаря большей духовной близости оно было намного радостнее. Карл, старший, музыкант по профессии и композитор, в настоящее время – профессор Кёльнской консерватории. Когда я позировал его брату для портрета, он в своей столь характерной манере изумительно плавно и благозвучно играл нам "Тристана". Я тоже немного пиликал на скрипке, и мы вместе исполняли сочиненные им "трио", катались на велосипедах, во время карнавала вместе посещали "Крестьянские балы" в Швабинге[2] и зачастую превесело ужинали втро-

1. Имеется в виду Армин Мартенс (1876–1906) – школьный товарищ Томаса Манна, ставший одним из прототипов Ганса Гансена в новелле "Тонио Крёгер".
2. Швабинг – район на северо-востоке центральной части Мюнхена, в конце XIX – начале XX веков называвшийся часто "богемным кварталом" из-за большого числа художников, артистов и литераторов, проживавших там.

ем то у меня, то у них. Им я обязан тем, что познал дружбу — и переживание это, если бы не они, вряд ли выпало на мою долю. С легкостью, порожденной высокой культурой, преодолевали они мою меланхоличность и раздражительность, просто-напросто воспринимая их как положительные свойства, неотделимые от способностей, внушавших им уважение. Хорошее было время[1].

Семьи Манн и Эренберг стояли примерно на одной ступени общественной лестницы и были связаны множеством невидимых нитей отдаленного родства и общих знакомых. Встреча молодых людей из этих фамилий, почти ровесников — каждому из них было в то время около двадцати пяти, — должна была рано или поздно состояться и в конце концов состоялась.

Будущий нобелевский лауреат по литературе познакомился с братьями Карлом и Паулем Эренбергами в конце XIX века, в самом начале своего долгого писательского пути. Шла к концу почти трехлетняя работа над первым романом "Будденброки", который через несколько лет принесет автору известность и славу. Но в то время мало кто верил в успех огромного — шестьдесят пять авторских листов — романа.

Письма к брату Генриху дают представление о состоянии автора неопубликованного романа. Второго ноября 1900 года он жалуется: "...заботы, которые доставляют мне 'Будденброки', по-настоящему начинаются, кажется, только теперь, когда роман закончен". В том же месяце 25-го числа: "О 'Будденброках' еще никаких новостей". Через месяц страхи усиливаются — из письма от 17 декабря: "Знать бы мне, что будет с 'Будденброками'! Уверен, что там есть главы, написать которые смог бы сегодня не каждый, и все же боюсь остаться ни с чем".

Новый 1901 год не приносит ясности. В письме брату от 8 января появляются к тому же жалобы на безденежье: "...относительно 'Будденброков' Фишер молчит. Остается 240 м. на четверть года, и пускаться в путь с такими деньгами было бы сумасшествием".

Но уже через месяц появляется надежда, что роман будет напечатан, и Томас Манн в письме от 13 февраля подводит итог трудным месяцам ожидания и тревог:

Когда придет весна, позади будет зима, неслыханно тревожная внутренне. Депрессии действительно скверного характера с совершенно серьезными планами самоубийства сменялись неописуемым, чистым и неожиданным душевным счастьем, переживаниями, которые невозмож-

1. Томас Манн. Очерк моей жизни / Перевод с нем. А. Кулишер // Собрание сочинений в 10 тт. Т. 9. (*Здесь и далее "Очерк моей жизни" цитируется по этому изданию.*)

но рассказать и намек на которые произвел бы, конечно, впечатление хвастовства[1].

О "душевном счастье и переживаниях, о которых невозможно рассказать", мы еще поговорим, а сейчас еще раз отметим, что писателю в то трудное время остро не хватало друзей, которые могли бы его ободрить и поддержать, вывести из депрессии, грозившей довести до самоубийства. К счастью, такой друг нашелся. Им стал Пауль – молодой художник из Дрездена.

2. "*Сборный пункт жизнерадостной молодежи*"

Отцом братьев Карла и Пауля был известный дрезденский живописец Карл Эренберг, и природа не отдыхала на его детях: оба мальчика с детства проявили художественные способности. Карл-сын мечтал стать музыкантом и без колебаний шел к цели: он окончил Дрезденскую консерваторию по классу известного композитора Феликса Дрезеке[2] и в 1898 году переехал в Мюнхен, где получил место капельмейстера в театральном оркестре, а уже через год играл в оркестре Мюнхенской оперы.

Его брат Пауль, напротив, долго не мог выбрать, что станет его основной профессией – музыка или живопись. Колебания "между скрипкой и кистью" окончились все же победой кисти – он раньше, чем Карл, переехал в Мюнхен, где поступил в Академию художеств. Правда, и скрипку он не забросил и был известен как скрипач-виртуоз. К моменту знакомства с Томасом Манном Пауль уже был признанным молодым представителем импрессионисткой школы, сделавшим себе имя портретами, пейзажами и, прежде всего, рисунками лошадей. Он стал членом Мюнхенского общества художников[3] и отделившейся от него Группы Луитпольда[4], объединившей живописцев-новаторов, стремившихся сказать новое слово в искусстве. Пауль Эренберг участвовал в разнообразных художественных выставках, пользовался популярностью у образованной публики и часто уезжал из Мюнхена к очередному заказчику, чтобы на месте выполнить ту или иную работу.

Отметим, что Томас Манн ошибся, назвав в автобиографии Пауля младшим братом. На самом деле, Пауль на два года старше Карла и родился в Дрездене 8 августа 1876 года, тогда как день рождения Карла – 6 апреля 1878 года. Эти данные

1. Перевод С. Апта.
2. Феликс Дрезеке (1835–1913) – немецкий композитор и педагог.
3. Мюнхенское общество художников – старейшее сообщество свободных художников в Баварии, основано королевским указом в 1868 г.
4. Группа Луитпольда – отделившаяся в 1892 г. от Мюнхенского общества художников группа живописцев-новаторов.

подтверждаются свидетельствами о рождении братьев Эренбергов, которые мне удалось найти в Дрезденском городском архиве благодаря любезной помощи сотрудников архива и прежде всего Хайде Фенкл. Любопытно, что ошибку писателя доверчиво повторяют многие его биографы и комментаторы, от Клауса Харппрехта, Альберта фон Ширндинга и Романа Карста до Соломона Апта.

В Дрездене семья Эренберг была дружна с семьей советника юстиции доктора Теодора Дистеля, его жена Дора старалась заменить Карлу и Паулю рано умершую мать. Мальчики проводили в доме Дистеля в пригороде Дрездена Блазе́виц так много времени, что в шутку называли дочерей Дистеля Хильду и Лилли своими "полусестрами". Томас Манн в письмах к Хильде всерьез говорил о молодых Эренбергах "твои братья".

Рожденная в 1880 году Хильда Дистель была подругой сестры Томаса — Юлии (Лулы) Манн. По воспоминаниям Карла Эренберга[1], именно Хильда организовала встречу с Томасом Манном. Приехав в Мюнхен на Рождество 1899 года, чтобы повидать своих "полубратьев", Хильда познакомила их с Лулой, а та пригласила всю компанию к себе домой — в большую семикомнатную квартиру на Герцогштрассе, 3/1, куда ее мать, тоже Юлия, — вдова любекского сенатора — въехала в начале июля 1898 года. В этой квартире с матерью проживали две дочери — Юлия и Карла — и младший сын Виктор. Старшие сыновья сенатора — Генрих и Томас — были к тому времени самостоятельными и лишь иногда наведывались в квартиру на Герцогштрассе: Генрих — реже, а Томас, очень привязанный к матери, — чаще.

В этой квартире, по воспоминаниям Карла, и состоялась в конце 1899 года встреча Томаса с братьями Эренберг.

Знаменитый биограф Томаса Манна и издатель многих его произведений Петер де Мендельсон считает, что музыканта подвела память. Томас Манн познакомился в тот раз только с Паулем, о чем свидетельствует новогоднее поздравление в письме к Хильде Дистель 28 декабря 1899 года:

> Уважаемая и дорогая фройляйн Дистель... коль скоро Вы встретитесь с Вашим братом, господином Паулем Эренбергом, передайте также и ему, пожалуйста, мои новогодние пожелания.

Встреча Томаса с другим братом Эренбергом — Карлом — состоялась только через двенадцать месяцев — под новый 1901 год. Об этом событии, когда было выпито много пунша в

1. Carl Ehrenberg. München um Jahrhundertwende. Aus den autobiografischen Notizen. In: Bayerische Staatbibliothek (Hrsg.): Jugendstil-Musik? — Wiesbaden: Kat. Ausstellung, 1987, 68–75.

честь знакомства, написал Томас Манн той же Хильде Дистель сразу после праздника – 2 января 1901 года.

Квартиру на Герцогштрассе подробно описал в своих воспоминаниях "Нас было пятеро"[1] младший из братьев Манн – Виктор. В большой прихожей стояло огромное чучело бурого сибирского медведя с подносом в руках для визитных карточек. Семейная реликвия, привезенная из любекского дома Маннов, после смерти матери 11 марта 1923 года перешла по наследству к Томасу, и громадный сибирский медведь еще долго украшал прихожую виллы писателя на Пошингерштрассе, как бы охраняя домашний очаг и традиции достопочтенной бюргерской фамилии.

Из прихожей можно было попасть в три помещения: просторный салон, столовую с длинным балконом и уютную гостиную, где члены семьи любили собираться в узком кругу. Большие приемы гостей устраивались в салоне, где стоял рояль "Бехштейн", на котором музицировали практически все Манны. Томас, правда, больше любил играть на скрипке. Вот как описывает салон Карл Эренберг:

> Салон – это сборный пункт жизнерадостной молодежи, интересующейся искусством, где мы провели незабываемые часы; прелесть и привлекательность этого места только усиливались любезностью хозяйки и ее обеих прекрасных дочерей Юлии и Карлы. Старший сын Генрих Манн уже сделал себе имя как писатель, но он заходил редко, так как жил за городом. У Томаса, которого мы называли Томми, к тому времени вышли лишь небольшие работы, сам он трудился тогда над "Будденброками", из которых время от времени читал нам отрывки. Мы иногда его спрашивали: "Ну, кто во всем мире будет интересоваться этой семейной историей?" Но интересуются же!

Томас Манн посвятил Карлу свою новеллу "Тристан", давшую имя второму сборнику новелл писателя. Посвящение гласит: "Карлу Эренбергу, музыканту, за многие звучавшие часы".

Не остался без посвящения и брат Карла – Пауль. В первом издании "Будденброков" ему посвящена девятая часть: "Паулю Эренбергу, храброму художнику, в память о наших мюнхенских музыкально-литературных вечерах".

Отношения Томаса Манна и Пауля Эренберга были много значительнее и серьезнее для писателя, чем может подумать неискушенный читатель этого посвящения. И отрывок из автобиографии, где говорится о "крестьянских балах" в Швабинге или веселых вечеринках втроем, дает очень слабое представление о том напряжении чувств, перепадах настрое-

1. Viktor Mann. Wir waren fünf. Bildnis der Familie Mann. – Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2001.

ния, муках ревности и восторгах понимания, которые сопровождали молодого литератора все три года "мужского романа" с немного ветреным художником и скрипачом-виртуозом.

Их дружба развивалась стремительно, такой скорости сближения с незнакомым ранее человеком Томас Манн не знал после выхода из школьного возраста. Уже через пару месяцев после знакомства молодые люди перешли на "ты".

Полистаем же сохранившиеся записные книжки писателя и просмотрим дошедшие до нас его письма, большинство из которых еще не переведено на русский, и попытаемся восстановить, хотя бы схематично, хронологию этого романа.

3. "Я *люблю* Тебя! О Боже... Я *люблю* Тебя!"

Первая запись с именем "Пауль Эренберг" появилась в третьей "Записной книжке" за 1899 год с адресом силезского городка (скорее деревни) Витухово, где, по-видимому, какое-то время проводил художник[1]. Через несколько страниц указан день рождения Пауля – 8 августа.

Весной отношения Томаса и Пауля становятся уже вполне близкими, о чем свидетельствует фотография, которую Томас подарил другу 6 марта 1900 года со стихами известного лирика Йозефа фон Эйхендорфа[2] о верности двух людей, дополняющих друг друга, и "радостной работе муз". К этому добавлено посвящение: "Моему дорогому Паулю Эренбергу для дружеских воспоминаний до встречи! Томас Манн".

Самое раннее из больших дошедших до нас писем Томаса Манна к Паулю Эренбергу датировано 29 июня 1900 года. На нескольких страницах Томас весело рассказывает приятелю, по-видимому, все лето проведшему в Витухово, о том, как медицинская комиссия признала его годным к воинской службе и что он должен отслужить год, начиная с 1 октября. Об этом эпизоде своей биографии Томас Манн напишет потом в "Очерке моей жизни":

> Я, по-видимому, переживал расцвет юных сил, создавший у дежурного врача ложное представление о моей пригодности к военной службе. Меня призвали, я был зачислен в лейб-пехоту и заказал себе щеголеватый мундир.

Вторая часть письма от 29 июня 1900 года посвящена новостям культурной жизни Мюнхена. Собственно о чувствах Манна говорит один фрагмент, в котором Томас описывает

1. Ныне это центр сельского округа в польской волости Квилч.
2. Йозеф Карл Бенедикт барон фон Эйхендорф (1788–1857) – поэт и писатель-романтик.

картину с выставки в "Стеклянном дворце". Картина называлась "Сердце" и принадлежала кисти берлинского художника Мартина Бранденбурга[1]. Объективно говоря, она представляла собой обычный китч, но буквально потрясла влюбленного литератора. Манн подробно описывает сюжет картины:

> В некотором удивительно выразительно нарисованном лесу стоит, прислонившись к стволу, юная девушка и держит в руке сердце, с которым она грациозно и довольно бесцеремонно кокетничает; а перед ней на коленях стоит молодой человек, в руке у него нож, а в груди огромная резаная рана, взгляд фанатичен, в экстазе и страдании направлен вверх. Картина произвела на меня огромное впечатление, притом что с художественной точки зрения она не стоила и пяти пфеннигов.

Чувствуется, что Томас Манн ощущал в себе эту самую "резаную рану" в груди, оттого и произвела на него "огромное впечатление" эта картина-пустышка.

Общение с братьями Эренберг расширяло круг интересов Томаса Манна, в частности, он стал лучше понимать и чувствовать музыку. Музыкальные темы и образы музыкантов стали все чаще появляться в его произведениях. Друзья не пропускали ни одной новой постановки в театрах и в опере, ни один концерт в Мюнхене. Ходили на представления, как правило, втроем или вдвоем, если кого-либо из Эренбергов не было в городе. Если отсутствовали оба брата, Томас брал в спутники либо сестру Карлу, либо друга Граутофа[2] — он не любил "ходить в свет" в одиночестве.

Если Пауля не было с ним в опере или на концерте, Томас подробно рассказывал ему о своих впечатлениях, давал оценки услышанному и увиденному. В этих оценках чувствуется еще не очень опытный любитель, иногда наивность его мнений вызывает улыбку. Например, в письме Паулю Эренбергу от 18 июля 1901 года Томас хвалит дирижера Цумпе за темперамент, оговариваясь, что "в некоторых случаях (Тристан) мне симпатичнее германская неповоротливость Фишера (Цумпе явно еврей)".

Не оценивая музыкальной проницательности молодого писателя, можно сказать, что в отношении еврейства Цумпе он явно ошибся: Герман Цумпе, ставший в 1900 году придворным капельмейстером, а с 1903 года — генеральным музыкальным директором оперы в Мюнхене, евреем не был. Томас Манн еще не имел опыта общения с евреями. Его знакомство с ними было скорее умозрительным, чем живым.

1. Мартин Бранденбург (1870–1919) — немецкий художник-импрессионист, автор картин с фантастическими и сказочными сюжетами.
2. Отто Граутоф (1876–1937) — немецкий историк искусства, публицист, переводчик, школьный товарищ Томаса Манна.

Забавно, что любекскому пастору, который в романе Манна назвал семью Будденброков "загнивающей", автор дал фамилию Прингсхайм, не подозревая, что через пять лет возьмет в жены Катю из еврейского дома Прингсхаймов.

Но вернемся в 1900 год. С октября до декабря никаких встреч Томаса и Пауля быть не могло, так как призванный на военную службу литератор честно пытался исполнить свой гражданский долг, готовя себя к обороне отечества. Как вспоминал сам автор, из этого ничего не вышло:

> Всего несколько недель прожил я в чадной духоте казармы, и во мне созрело мрачное, как выяснилось, непреклонное решение освободиться во что бы то ни стало. Грубые окрики, бессмысленная трата времени и показная молодцеватость несказанно меня тяготили.

Не было бы счастья, да несчастье помогло: при отработке строевого шага Томас заработал себе воспаление сухожилий голеностопного сустава и провел две недели в полковом лазарете. Как только незадачливый вояка вернулся в строй, воспаление возобновилось. Это его и спасло. Не последнюю роль, как пишет Манн в "Очерке моей жизни", сыграло то обстоятельство, что врач матери Томаса был знаком со старшим полковым врачом, от которого зависело освобождениие:

> "Впредь до дальнейших распоряжений" мне дали отпуск; а к новому году — уволили вчистую. Я — с какой радостью! — подписал отказ от возмещения ущерба за причиненное мне увечье....С этого момента я уже не соприкасался больше с военной службой.

В декабре встречи молодых людей возобновились.

У начинающего литератора в Мюнхене практически не было задушевных друзей, с которыми он мог быть откровенным до конца. Многим он делился со старшим братом, но и ему не рассказывал всего о своих душевных переживаниях. Со своим школьным товарищем Отто Граутофом Томас был более откровенен. Письмо ему от 19 декабря 1900 года показывает, как нежно относился Манн к своему новому другу Паулю Эренбергу, недавно вернувшемуся в Мюнхен из Витухово:

> Разумеется, вчера вечером я был с Паулем Эренбергом, который без большого труда уговорил меня пойти послушать "Маргариту" Гуно[1]. Это были действительно прекрасные часы. Я сидел на своем кресле рядом с этим открытым, безмятежным, наивным, немного само-

1. Опера Гуно "Фауст" на немецкой сцене шла под названием "Маргарита".

влюбленным, но неизменно искренним товарищем, и слушал без слишком большого волнения или утомительного соучастия эту нежную, сладкую, невинную и мирную музыку.

Зимой 1900—1901 года чувства стали заметно глубже. В уже упомянутом письме брату от 13 февраля 1901 года Томас пишет о "неописуемом, чистом и неожиданном душевном счастье, переживаниях, о которых нельзя рассказать и намек на которые походил бы, конечно, на хвастовство. Но одно они мне, впрочем, показали, эти очень нелитературные, очень простые и живые переживания, — что во мне все-таки есть еще что-то честное, теплое и доброе, а не только "ирония", что еще не все во мне высушено, искажено и изъедено проклятой литературой".

Томас Манн не рассказывает брату всех подробностей. Школьному товарищу Томас доверял больше. В письме Отто Граутофу от 22 февраля 1901 года он признается:

> У меня было большое желание... исповедоваться перед ним [Генрихом] обо всем моем романе. Но сейчас у меня совсем нет времени для этого и, кроме того, я боюсь этой письменной исповеди и обобщения, так как у меня уже есть опыт того, что подобные сообщения ничего не облегчают, а только все углубляют и преувеличивают.

Эти опасения "все углубить и преувеличить" переполненный чувствами Томас повторил и в письме старшему брату от 7 марта 1901 года:

> От более подробной исповеди воздержусь, потому что писание и копание только все углубляют и преувеличивают. А тут ничего преувеличивать нельзя. Дело идет не о любовной истории, во всяком случае, не о ней в обычном смысле, а о дружбе, дружбе — о диво! — понятой, взаимной, вознагражденной, которая, признаюсь без рисовки, в иные часы, особенно в часы подавленности и одиночества, принимает слишком, пожалуй, болезненный характер; Граутоф утверждает даже, что я влюблен, как гимназист-старшеклассник, но это его понимание. Мой нервный склад и философское направление ума невероятно все усложнили; тут сотня сторон, и простейших, и в духовном смысле авантюрнейших. Но главное — это глубоко радостное удивление перед отзывчивостью, которой уже не чаял в этой жизни. Довольно об этом. Устно я, может быть, поведаю когда-нибудь больше.

В цитированном письме Граутофу от 22 февраля 1901 года есть еще такие строчки: "С другой стороны, у меня есть, естественно, жгучее желание все вместе еще раз прокрутить, чтобы себе самому объяснить". Что хотел "себе самому объяснить" Томас Манн, мы не знаем. Единственным прямым свидетельством

непростых отношений Томаса и Пауля зимой 1900—1901 года является дошедшее до нас письмо Манна Эренбергу от 19 января 1901 года, в котором впечатлительный писатель просил прощения за то, что неожиданно сбежал с одной общей вечеринки:

Я выдал столько глупой и отвратительной ерунды (о Толстом, Лютере, христианстве и тому подобном), что в конце концов убежал от самого себя и поспешно спрятался под одеяло. Мне стало мучительно стыдно.

Истинные мотивы столь неожиданного побега Томас Манн описал в психологическом этюде "Голодающие", увидевшем свет в 1903 году. Герой рассказа Детлеф тоже оставляет свою возлюбленную Лилли на блестящем балу какому-то "маленькому художнику" и покидает зал:

Он хорошо знал этот уход, этот безмолвный, гордый и отчаянный побег из зала, сада, из какого-то другого места веселой вечеринки, совершаемый с тайной надеждой хоть на короткое мгновение вызвать у этого светлого существа, по которому тоскуют, ощущение мрака, раздумий, сострадания...

Весной 1901 года начались те самые "крестьянские балы" и совместные велосипедные прогулки, о которых писал Томас Манн в "Очерке моей жизни". О них же думал писатель через девятнадцать лет, в 1949 году, когда с некоторым опозданием узнал о смерти Пауля Эренберга. В письме его брату Карлу от 22 ноября Томас вспоминал об их дружбе втроем, о "прекрасных, доверительных и восхитительных часах, которые мы друг с другом проводили, — эти воспоминания никогда не перестанут вызывать счастливые эмоции, которые согревают и освещают мою жизнь. С вами я мог беспечно веселиться. Помнишь, как мы рано утром на велосипедах ездили к "Аумайстеру"[1] (твой велосипед мы звали "корова", потому что у него было всегда грязное брюхо) и после кофе кидали камни в пустые пивные бутылки?"

С братьями Эренберг Томасу Манну некогда было скучать, они вечно придумывали какие-то развлечения и проказы. Пауль был особенно мил и открыт, разговорчив и общителен. Ему легко удавалось вытащить своего задумчивого, склонного к рефлексии и мечтательности друга из привычного для него одиночества и заставить окунуться в бурлящую праздничную жизнь. В ней, как в хороводе, сменяя друг друга, кружились выставки и концерты, пешие вылазки за город и прогулки на велосипедах,

1. "Аумайстер" — мюнхенский кабачок в северной части Английского сада.

балы и пивнушки, кафе и рестораны, посещение гостей и домашнее музицирование.

Томас Манн был на верху блаженства. Именно весной 1901 года в его седьмой записной книжке появилось двухчастное (на страницах 49 и 52), посвященное Паулю стихотворение, в котором главной является строка: "Я люблю Тебя! О Боже... Я люблю Тебя!"

Буквально через несколько месяцев после такой кульминации чувств в отношениях Томаса и Пауля наступает некоторое охлаждение. Летом 1901 года друзья расстаются на относительно долгое время. Томас Манн уезжает в конце апреля в Италию, посещает Флоренцию и Венецию. Во Флоренции он впервые в жизни прервал серию своих "мужских романов" и увлекся миниатюрной англичанкой Мэри Смит, которая отдыхала там с сестрой Эдит. Симпатия оказалась взаимной, и дело как будто шло к браку. Писателю в июне должно было исполниться двадцать шесть лет, и пора уже было задуматься об устройстве своей семейной жизни. Воспитанному в патриархальных традициях сыну любекского сенатора было ясно, что стать уважаемым писателем, к чему он стремился, в немецком обществе невозможно, не имея нормальной семьи. В "Очерке моей жизни" он так описывает свое флорентийское приключение:

> В семейном пансионе во Флоренции я подружился с двумя соседками по столу, англичанками, родными сестрами; старшая из них, брюнетка, была мне симпатична, младшую, блондинку, я находил очаровательной. Мэри, или Молли, ответила на мое чувство, мы нежно полюбили друг друга, и между нами шла речь о том, чтобы закрепить нашу взаимную склонность браком. В конечном счете меня остановила мысль, не рано ли мне жениться, возникли и некоторые опасения из-за того, что девушка другой национальности. Мне думается, юную британку тревожили те же сомнения, и обоюдное наше увлечение ничем не кончилось.

Увы, "нежная любовь", о которой спустя тридцать лет ностальгически вспоминал Томас Манн, оказалась удивительно недолгой. Во Флоренцию писатель прибыл из Мюнхена 26 апреля, и меньше, чем через две недели, 7 мая 1901 года пишет брату Генриху о своем разочаровании:

> Мисс Мэри, у которой позавчера был день рождения и которой я подарил корзиночку засахаренных фруктов, доставила мне много радости. Но теперь, думаю, я становлюсь для нее слишком меланхоличным. She is so very clever[1], а я так глуп, что всегда люблю тех, кто clever, хотя долго соответствовать им не могу.

1. Она такая умница (*англ.*).

Биографам Томаса Манна не удалось определить, кем была эта таинственная блондинка из Англии, словно сошедшая с картины Боттичелли, как описал ее сам писатель в письме Паулю Эренбергу от 26 мая 1901 года, сразу по возвращении из Италии в Мюнхен:

То, что было с маленькой англичанкой, которая выглядела, как на картине Боттичелли, только много веселее, сначала казалось беззаботным флиртом, но приобрело впоследствии поразительно серьезный характер – и (о чудо!) с обеих сторон. Прощание было чуть-чуть театральным, хотя это, собственно, общепринято говорить в таком тоне при подобных обстоятельствах; я рассчитываю на твое врожденное хладнокровие. Вообще, может быть, в этом вопросе последнее слово еще не сказано. Но только попробуй об этом рот раскрыть!"

Неизвестно, откуда приехали во Флоренцию Мэри Смит с сестрой Эдит, что привело их в столицу итальянской Тосканы, и вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем. Разве что на чердаке какого-нибудь старинного английского особняка обнаружат пожелтевшие письма Томаса Манна к "мисс Мэри".

Как ни скоротечна была флорентийская встреча Томаса Манна и Мэри Смит, она оставила глубокий след в его памяти. Запрет Паулю Эренбергу говорить на эту тему показывает, как трепетно относился молодой писатель к первой женщине, пробудившей в нем чувства и мысли о браке. Естественно спросить, зачем же вообще Томас рассказал Паулю о своем итальянском приключении? Ответ прост: его чувства к молодому художнику еще не остыли, и ему хотелось вызвать у друга элементарную ревность. Так естественно желание подогреть чувства партнера, показав ему, что твоим сердцем могут овладеть и другие люди.

Встреча с Мэри Смит оказалась для Томаса хорошей жизненной школой перед знакомством с главной женщиной в его судьбе – Катей Прингсхайм. Это знакомство состоится летом 1903 года, но до того должен был подойти к концу его затянувшийся "мужской роман" с Паулем Эренбергом.

4. "*Центральное сердечное переживание*"

После упомянутого письма Томаса Манна Паулю Эренбергу от 26 мая 1901 года переписка между друзьями на несколько месяцев замирает. Манн с братом вновь уехали в Южный Тироль, который тогда принадлежал Австрии (сейчас это территория Италии). В письме к Паулю от 18 июля 1901 года из курорта Миттербад (неподалеку от Мерано) Томас многословно извиняется за долгое молчание.

Уже после возвращения с курорта он пишет 6 ноября из Мюнхена своему надежному другу Отто Граутофу, которому доверяет самые сокровенные сердечные тайны:

> Для меня возобновляющийся "сезон" примечателен в особенности встречей с Паулем Эренбергом, которая на днях произошла во время обеда у знакомых. И вчера вечером уже у нас я снова слушал его скрипку. Он прежний... И я тоже прежний: такой же слабый, легко увлекающийся, ненадежный и недостаточно серьезный, чтобы уразуметь, что я ухватил руку жизни, коль скоро она ее мне, смеясь, протягивает. Каждый год, в то время, когда природа застывает, жизнь врывается в летнее запустение и холод моей души и льет потоки чувства и тепла сквозь все мои жилки. И я этому не препятствую.

К радости новой встречи примешивается досада на то, что он у модного художника и скрипача-виртуоза далеко не единственный приятель. Томас Манн явно ревнует своего немного легкомысленного и непостоянного друга, у которого весь день расписан по часам: бесконечные встречи с различными людьми. В седьмой записной книжке Манн отмечает: "Настенный календарь П.<ауля> с пометками о его светских обязанностях. Он читает его, смотрит также на имена".

В романе "Доктор Фаустус" Пауль Эренберг стал прототипом скрипача Руди Швердтфегера. "Вообще, он рожден для флирта, а не для любви или дружбы. И наша дружба – это флирт, и я уверен, что без флирта она была бы для него куда менее привлекательна" – писал Томас Манн о своем друге в седьмой записной книжке, откуда эта запись почти дословно перешла в роман.

Как обычно бывает, флиртовал один, а второй глубоко страдал от непостоянства любимого. Но и страдая, Томас Манн оставался прежде всего литератором. Любое свое жизненное переживание он переплавлял в художественную форму. В уже упомянутом письме Отто Граутофу от 6 ноября 1901 года, Томас признавался: "Я в достаточной мере художник. Все, что со мною происходит, я способен использовать".

Чувства человека, на глазах у которого его друг заигрывает с другими, Томас Манн описал в новелле "Счастье". Новелла вышла в свет в январском номере журнала "Нойе рундшау" за 1904 год, но наброски к ней можно найти на той же странице седьмой записной книжки, где упомянут "настенный календарь П.". Буквально сразу за этой записью идет заготовка для нового произведения: "Незначительное недомогание с его стороны позволяет ей построить целый мир из мечтаний, в которых она ухаживает за своим страдающим питомцем".

В новелле эти слова принадлежат баронессе Анне, чей муж – гусар Гарри, – почти не таясь, ухаживает за молодень-

кой певичкой и даже дарит ей свое обручальное кольцо. Кстати, это не единственный случай в творчестве Манна, когда он свои чувства и переживания приписывает женским образам.

В литературе автору легче добиться справедливости, чем в жизни. В рассказе Манна соблазняемая бароном певичка неожиданно принимает сторону Анны и возвращает ей кольцо неверного супруга. В мюнхенской реальности все сложнее и запутаннее, и счастливого конца не видно. В отношениях Томаса и Пауля зимой 1902 года явно наступает кризис.

Карнавальные дни в том году заканчивались во вторник, 11 февраля, поэтому весь январь Мюнхен веселится, как умеют веселиться жизнерадостные баварцы. В карнавальной стихии "дитя муз"[1] Пауль Эренберг чувствовал себя как рыба в воде. Он буквально разрывался между праздничными развлечениями, не пропуская ни "крестьянские балы" в Швабинге, ни концерты и спектакли в столичных театрах. Томас Манн чувствует себя обиженным — у его друга не оставалось времени для общения. От тоски не спасал даже успех у критиков романа "Будденброки" — в различных газетах и журналах появлялись рецензии, как правило, доброжелательные, хотя до материального успеха было еще далеко: первое издание огромного романа в двух томах оказалось слишком дорогим для массового читателя, книги раскупали неохотно. Но молодой писатель и не рассчитывал на большие гонорары — счастьем было уже то, что его произведение высоко оценили отдельные критики и коллеги-литераторы. Например, австрийский поэт Рихард фон Шаукаль[2] сравнил "Будденброков" с лучшими русскими, французскими и скандинавскими романами. Эту восторженную рецензию, напечатанную в венской газете "Винер Абендпост", Томас Манн вложил в письмо к своему легкомысленному другу, написанное 28 января 1902 года.

Откровенное и грустное письмо, и если бы не знать, что оно подлинное, то можно было бы подумать, что это фрагмент какой-то сентиментальной новеллы:

> Где тот, кто мне, человеку не очень любезному, капризному, мучающему себя, недоверчивому, мнительному, но чувствительному и необычно страстно ищущему симпатии, скажет "да"? Непоколебимо? Без того, чтобы своей явной холодностью, явными отказами напугать и оставить в растерянности? Без того, например, чтобы подобной холодностью и подобными отказами, из удобства или равнодушия, показать, что "я должен был сначала к нему опять привыкнуть", вместо того чтобы из расположенности и доверия твердо оставаться близким мне другом? Где этот человек?!? — Глубокое молчание.

1. "Сыновьями муз" назвал Томас Манн братьев Эренберг в упомянутом письме Хильде Дистель от 2 января 1901 года.
2. Рихард фон Шаукаль (1874–1942) — австрийский поэт, прозаик.

Эти строки наполнены такой тоской и смятением, что создается впечатление, будто их написала женщина. Впрочем, сам Манн устами своего альтер эго, Тонио Крёгера, отмечал сходство поэта и женщины: "И вообще, разве художник — мужчина? Спросите об этом лучше женщину".

Так выглядит эта фраза в каноническом русском переводе Наталии Ман. В оригинале Томас Манн использует вместо нейтрального слова "die Frau" — "женщина" более резкое выражение: "das Weib" — "баба". Фраза настолько напоминает патриархально-грубоватый стиль Ницше, что писателя даже спрашивали, не цитата ли это из работ философа. В письме французскому исследователю творчества Ницше Луису Ляйбриху от 24 февраля 1949 года Томас Манн отвечает: "Стиль Ницше, но не из него".

Пауль Эренберг не остался безразличным к отчаянию друга, он примчался к нему, как только получил письмо, полное боли. В записной книжке Томаса Манна есть пометка: "П.<Пауль> пришел после обеда 30 января". Больше ничего о встрече не сказано, но о том, как она проходила, можно судить по аналогичной сцене из "Доктора Фаустуса": герой романа Адриан Леверкюн написал своему другу, скрипачу Руди, такое же отчаянное письмо, как Томас Паулю. Роман писался в 1946 году, но заготовка для этой сцены ждала своего часа с 1902 года, когда Манн занес в записную книжку по горячим следам визита Эренберга набросок сцены, написанной от лица женщины: "Письмо ему, очень смелое. После этого его немедленный визит, его благодарность, его желание избавить ее от стыда, заключение дружбы, обещание верности".

Несмотря на внешнее примирение, трещина в отношениях не исчезла, а стала, возможно, еще глубже. Продолжение наброска в записной книжке убеждает в этом: "Кажется, что она, несмотря на его внешне примерное поведение, этим письмом больше навредила, чем помогла. Ласки, доверчивость, которые он иногда проявляет, подтверждают это. Его непосредственность все же иногда раздражает". Изображать подобные откровенные сцены Томас Манн в своих записках больше себе не позволял.

В апреле 1902 года отношения между Томасом Манном и Паулем вновь ухудшились. Писателя явно начинает раздражать "колоритная семейка"[1], как он называет теперь братьев Эренберг. В седьмой записной книжке братья называются "темпераментной", "колоритной", "страстной" семьею, которой "сам черт не брат", что Манн считает "ужасным". И продолжает:

1. Томас Манн использует словосочетание "rassige Familie", что можно перевести как "темпераментная семья", "колоритная семья".

Я это теперь так часто слышу, что испытываю страх перед этой ужасной семьей. Как только я слышу их имена, я сразу ощущаю себя словно бы парализованным и бессильным, так что на меня наваливается безнадежная усталость и внутри все рушится.

Через сорок с лишним лет в романе "Доктор Фаустус" Томас Манн преобразует свои чувства к Паулю в сложные отношения между Руди Швердтфегером (Пауль) и влюбленной в него Инес Инситорис (Томас), которая почти буквально повторяет слова из записной книжки 1902 года: "Когда я слышу слово "темпераментный", меня охватывают страх и тревога".

В отношении Томаса к Паулю все сильнее ощущается двойственность: с одной стороны, погруженному в напряженную духовную жизнь писателю по душе счастливая непосредственность, наивная простота его друга, который весь в реальной жизни. Противопоставление "духовности" и "реальной жизни" всегда тревожило Томаса Манна, и он был искренне признателен Паулю за то, что тому удавалось наводить мосты через эту пропасть. Но, с другой стороны, "святая простота" часто не в состоянии понять то, что волнует и мучает человека интеллектуального. В письме Хильде Дистель от 14 марта 1902 года Томас подводит определенный итог дружбы с Паулем: "Я сделал его немного литературнее, а он меня — немного человечнее. И то и другое необходимо".

Относительно духовного развития Пауля у Томаса никогда не было заблуждений. В новелле "Тонио Крёгер" Пауль выведен в образе Ганса Гансена, красавчика, в которого влюблен герой произведения. Ганс не читает серьезных книг, лишь разглядывает картинки в книжках про лошадей. Пауль рисует лошадей, и от него так же далеки философские проблемы, над которыми ломает голову его друг. Он не просто их не понимает, но даже о них не задумывается.

В "Докторе Фаустусе" Руди, списанный с Пауля, "по своему обыкновению, в подобных случаях, когда моя точка зрения оказывалась ему совершенно новой, сверлил своими голубыми глазами попеременно то мой правый, то левый глаз, при этом обезоруживающе надувал губки".

Наивность друга поначалу умиляла, казалась трогательной и детской. Потом безапелляционные высказывания Пауля о вещах, в которых он ничего не понимал, стали вызывать у Томаса смех. Например, когда Пауль примерял на себя образ Гамлета. Эту сцену Манн занес в записную книжку и использовал потом в новелле "Тонио Крёгер". В Гамлете Томас чувствует коллегу — "литератора до мозга костей"[1]:

1. Фраза из новеллы "Тонио Крёгер".

"Гамлет": его воодушевленные слабости, сверхчувствительность его совести, его болезненное самокопание, его пылкая фантазия и его отказ признавать действительность, его пессимизм, его отвращение к узнаванию (будь то Офелия, женщины, придворные, все его существование). (Ему достаточно вглядеться во что-нибудь, чтобы начать испытывать отвращение). – ecce ego![1]

Пауль отвечает не без важности:

"Да, это правда... Прямо, как будто в зеркало взглянул!"

И я дико смеюсь в душе... Дружок! Никогда он не был столь чужд мне. Он похож на Гамлета, как я на Геркулеса!

Возвращаясь мысленно к постоянным изменам Пауля, Томас Манн даже пытается оправдать своего легкомысленного друга:

В ссорах из-за флирта я стою разумом, несмотря на свою сердечную боль, на его стороне. <...> Такой свободный и целомудренный человек, не подверженный никаким порокам, который не курит и не пьет, которому не нужны никакие возбудители, – как ему обойтись без невинного наркотика – флирта!

Но и разум не спасал чувства, и привязанность медленно, но верно шла на убыль. Летом 1902 года друзья обменялись еще парой шутливых писем, в основном о новостях культуры. Былой теплоты в них уже не чувствуется.

Последним свидетельством прежней близости стало письмо Томаса Манна Паулю от 19 июня 1903 года. В письмо была вложена фотография и посвящение в стихах. Надпись: "Моему дорогому Паулю Эренбергу. Мюнхен, июнь 1903".

Про стихотворение нельзя сказать, что оно шедевр любовной лирики, но написано с душой и гладко. Однако того всплеска эмоций, что было в стихотворении 1901 года ("Я люблю Тебя, о Боже... я люблю Тебя!"), в нем уже нет. В стихотворении 1903 года дается портрет не объекта любви, а самого автора. Любовь превратилась в литературу. Писатель внутренне уже готов круто изменить свою не вполне благопристойную в глазах общества личную жизнь и стать "нормальным" мужем и отцом семейства.

Уже через пару месяцев Томас Манн сообщает своему доверенному другу Отто Граутофу о встрече с Катей Прингсхайм, с которой он вскоре навсегда свяжет жизнь. Планы женитьбы Томаса Манна на Кате поразили Пауля, который не мог поверить, что его влияние на друга уже не то, что раньше. Последовала ссора, подобная той, что описана в "Докторе

1. Вот я! *(лат.)*

Фаустусе", когда Адриан Леверкюн сообщает другу Руди Швердтфегеру, что намерен жениться. Потрясенный Руди говорит, что слово "человечный" не пристало употреблять такому человеку, как Адриан. На что Леверкюн отвечает:

То, что я с "человечностью" не имею ничего общего, что я не могу с ней ничего общего иметь, говорит мне тот, который меня с поразительным терпением склонил к человечности, обратил на "ты", тот, при котором я первый раз в жизни ощутил человеческое тепло.

Вскоре после этого друзья разошлись окончательно, Пауль женился на художнице с выразительным именем Лилли Тойфель[1]. Встречи Томаса и Пауля стали редкими, случайными, письма — холодными, формальными, вроде поздравительного письма Пауля в сентябре 1919 года по случаю присвоения Томасу Манну звания почетного доктора Боннского университета[2].

Через тридцать с лишним лет после событий 1899—1903 годов сам писатель без "углублений и преувеличений" назвал свои отношения с Паулем Эренбергом "центральным сердечным переживанием" своих первых двадцати пяти лет. В дневниковой записи, сделанной в воскресенье 6 мая 1934 года, пятидесятидевятилетний Манн признается:

Искал в старых записных книжках... и углубился в заметки, которые я делал тогда в связи с замыслом романа "Возлюбленные" о моих отношениях с П. Э. Страсть и меланхолическое психологизирующее чувство того отзвучавшего времени заговорили со мной доверительно и с жизненной печалью. Тридцать лет и даже больше прошло с тех пор. ...Я уже возвращался к заметкам о страсти того времени, описывая страдания Мут-эм-энет, чью беспомощную одержимость я отчасти благодаря этому сумел воссоздать...

Переживание с К. Х.[3]. было превосходящим, более зрелым и счастливым. Но потрясенность, о которой говорят решительные интонации заметок поры П. Э., <...> это было все-таки лишь однажды в моей жизни — как, пожалуй, и должно быть. Ранние переживания с А. М.[4]. и В. Т. отступают далеко в отроческое, а то, с К. Х., хотя и было поздним счастьем, носившим характер жизнеблагого исполнения, — все же в нем отсутствовала юношеская интенсивность чувства, то возвышенно-

1. Teufel — черт (*нем.*).
2. В 1936 г., после того как нацисты отобрали у Томаса Манна немецкое гражданство, Боннский университет лишил писателя звания "Почетный доктор". Звание вернули только в 1947 г. Всего же Манн был почетным доктором тринадцати университетов.
3. Клаус Хойзер — семнадцатилетний друг детей Томаса Манна, с которым писатель познакомился во время отдыха на курорте Кампен в 1927 г.
4. Армин Мартенс — см. прим. на с. 236.

ликующее и глубоко потрясенное, что определяло центральное сердечное переживание[1] моих 25-ти лет[2].

5. "Ваш Тонио Крёгер"

В книге "Рассуждения аполитичного", законченной в 1918 году, Томас Манн вспоминает одного геттингенского студента, который после лекции писателя подошел к нему и взволнованным голосом сказал:

> Вы, надеюсь, знаете, не правда ли, Вы знаете это – не "Будденброки" выражают Вашу сущность, Ваша сущность – это "Тонио Крёгер"! И я сказал, что я знал это.

В самом деле, не в огромной по объему хронике гибели одного семейства, принесшей автору литературную известность и спустя двадцать восемь лет – даже Нобелевскую премию по литературе, а в небольшой новелле о молодом литераторе с необычным для немца именем Тонио, тоскующем о радостях простой жизни "во всей ее соблазнительной банальности", о невинном человеческом счастье, наиболее полно выражено представление Манна о долге художника, о неразрешимом противоречии искусства и действительности.

Литературный образ одаренного писателя, чья нежность "ко всему примитивному, простодушному, утешительно-нормальному, заурядному и благопристойному" граничит с влюбленностью, с самого начала был неотделим от его автора. "Ваш Тонио Крёгер" – так подписал Томас Манн почтовую открытку, отправленную братьям Эренберг 8 февраля 1903 года.

Первоначально образ Ганса Гансена, в которого со школьных лет влюблен Тонио Крёгер, строился на воспоминаниях об Армине Мартенсе, гимназическом товарище Томаса Манна. Но и "центральное сердечное переживание" двадцати пяти лет оставило в новелле заметный след. Автор прямо вставляет в текст новеллы слова, посвященные в реальной жизни Паулю Эренбергу. Обращаясь к своей доверительной собеседнице Лизавете Ивановне, Тонио Крёгер дословно повторяет уже цитированную нами фразу о друзьях "среди демонов, кобольдов, завзятых колдунов и призраков, глухих к голосу жизни – иными словами, среди литераторов" из того места седь-

1. В оригинале Томас Манн использует слово "Herzenerfahrung", что означает "сердечный опыт", но мы оставляем перевод Игоря Эбаноидзе "переживание".
2. Томас Манн. Из дневника 1950 года / Перевод Игоря Эбаноидзе // Новый мир, 1996, № 1.

мой записной книжки, где Томас Манн называет Пауля своим "первым и единственным другом среди людей".

В "Очерке моей жизни", написанном почти через тридцать лет после "Тонио Крёгера", писатель признается, что эта новелла "из всего, что я написал, пожалуй, по сей день наиболее близка моему сердцу и все еще любима молодежью".

Писатель не преувеличивал. Его новелла не оставила равнодушными многих его современников. Макс Брод вспоминал, что его друг Франц Кафка был буквально захвачен новым произведением Томаса Манна.

Каждый читатель находил в новелле Томаса Манна что-то свое, открывал ответы на мучившие именно его вопросы. Кафку, например, по его словам, в новелле сильнее всего затронуло не столько противопоставление искусства и естественности, духовной и реальной жизни, сколько тайная влюбленность художника в свою противоположность, в "белокурых и голубоглазых, живых, счастливых, дарящих радость, обыкновенных".

Марсель Райх-Раницкий в своем эссе о новелле "Тонио Крёгер" называет еще несколько известных литературных имен, испытавших на себе действие этого шедевра. Среди них австрийский писатель Артур Шницлер, венгерский философ, литературовед и критик Георг (Дьёрдь) Лукач[1] и другие.

Но не только современники и коллеги раннего Томаса Манна попали под очарование новеллы "Тонио Крёгер". Воздействие "рассказа века", как назвал произведение Манна Райх-Раницкий, ощутило на себе не одно поколение молодых людей, и не только в Германии.

В 1921 году студентка факультета права парижской Сорбонны оказалась в Берлине, и в одном из книжных магазинов ей попался томик с рассказом "Тонио Крёгер". Студентку звали Наталья Ивановна Черняк, она была родом из Иваново-Воскресенска, но с восьми лет жила у отца в Париже. Через много лет Наталья Ивановна вспоминала: "Я чувствовала, что 'Тонио Крёгер' преображает меня, мне казалось, что он похож на меня. У меня появилось огромное желание писать самой". Так начался литературный путь французской писательницы, известной миру по фамилии ее мужа — Натали Саррот.

Не одни литераторы восхищались "рассказом века". Очень высоко оценивал новеллу великий математик современности А. Н. Колмогоров. Ученик Андрея Николаевича В. М. Тихомиров[2] вспоминал разговор с учителем о литературе:

1. Дьёрдь Лукач (1885–1971) — венгерский философ-неомарксист, литературный критик.
2. В. М. Тихомиров (р. 1934) — российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.

Андрей Николаевич прервал мои размышления: "Имейте в виду, Володя: крупнейшими писателями XX века являются Томас Манн и Анатоль Франс". Я немного читал А. Франса и лишь слышал о Т. Манне, так что мог в то мгновение лишь принять во внимание слова своего учителя. В тот вечер на полочке рядом с моей кроватью в Комаровке я обнаружил томик Томаса Манна с закладкой на новелле "Тонио Крёгер"[1].

* * *

Что еще сказать перед тем, как мы навсегда расстанемся с братьями Эренберг? С Паулем у Томаса случались редкие встречи, как правило, семьями. Например, в дневнике от 2 января 1921 года есть запись: "На чай к Паулю Эренбергу в Швабинг, куда мы шли через Английский сад. Там музицировали, и я читал из первой главы 'Волшебной горы' и из 'Хозяина и собаки'. Все вместе длилось долго, до 9 часов".

В швейцарском изгнании Томас Манн получает от своего бывшего друга слезные письма с просьбами о материальной помощи. В дневнике от 31 марта 1933 года читаем: "Письмо от Пауля Эренберга, находящегося в финансовой нужде и полном беспамятстве о моем собственном положении. Он меня извел такими просьбами".

В знаменитой дневниковой записи от 10 апреля 1933 года, в которой писатель весьма двусмысленно комментирует первые нацистские антиеврейские законы, есть замечание и о Пауле: "Новое письмо от П. Эренберга, которому я ссудил 800 марок".

После Второй мировой войны до Томаса дошли слухи о сотрудничестве братьев Эренберг с нацистами. Этому писатель не мог поверить и тот факт, что Пауль упорно скрывается, объяснял просто его не очень красивым поведением в денежных вопросах в 1933, 1934 годах.

Печальное известие о смерти Пауля Эренберга достигло Томаса 22 ноября 1949 года, заставив еще раз ностальгически вспомнить их непростые отношения. И неожиданно через неделю почта доставляет писателю запоздавшее письмо от Пауля, в котором тот сообщает, что послал ему в знак многолетней дружбы свою картину. "Возможно, еще придет", — меланхолически пометил писатель в дневнике 1 декабря 1949 года. Похоже, картина так и не дошла.

1. В. М. Тихомиров. Слово об учителе // Колмогоров в воспоминаниях учеников. – М.: Издательство МЦНМО, 2006.

“*Я не был первооткрывателем Томаса Манна*”

Интервью Натальи Громовой с Соломоном Константиновичем Аптом 27 сентября 2009 года

Я вошла в дом Соломона Константиновича Апта и Екатерины Васильевны Стариковой в 2006 году. Нас сблизила покойная Лидия Борисовна Либединская. С Аптами мне было очень тепло и весело, словно мы были знакомы много лет, и я очень полюбила их дом. Честно говоря, Соломон Константинович был интересен мне не как знаменитый переводчик, а более всего как человек. Он обожал Пастернака, едко рассказывал о встречах с Ахматовой, нежно относился к ушедшим друзьям, особенно к Борису Рунину, ценил и весело пересказывал остроумные истории о Маргарите Алигер. В нем была поразительная скромность, застенчивость. Он не очень любил разговоры о себе, всегда уходил от них. Когда я попросила его выступить на вечере в ЦДЛ, он сказал мне, что был бы рад, но он же не Цицерон.

Наталья Громова. Начнем с вашей фамилии. Соломон Константинович Апт. Откуда происходит фамилия? Вы знаете?

Соломон Апт. Точно это никому неизвестно.

Н. Г. Наверное, какой-нибудь немецкий город, да?

С. А. Скорее французский город. Город в Южной Франции, у меня открытка есть, присланная оттуда с его изображением, я вам потом покажу. И пишется по-французски название города буквально так: Apt, без “e” на конце.

Н. Г. Ваш год рождения — 21-й. Город Харьков.

С. А. Да.

Н. Г. Достаточно страшные времена. Я знаю, что харьковское ЧК в 21 году было жесточайшим.

С. А. Как раз когда я должен был родиться, моего отца держали некоторое время в этом самом харьковском ЧК.

Н. Г. А вы знаете, что Велимир Хлебников написал о его страшном начальнике?

С. А. Нет. Я знаю другое. Я ведь первые два курса окончил в Харьковском университете. Наш факультет помещался в одном из домов ЧК. И тогда я часто смотрел в окна коридора, они выходили во двор. И я понимал, что это был за двор, по некоторым рассказам отца. В этом дворе, бывало, расстреливали.

Н. Г. А почему ваш отец попал в ЧК?

С. А. По полному недоразумению. Он приехал в Харьков из Воронежа; наверное, решили проверить, что он там делал. Во всяком случае, его быстро выпустили. Отец потом говорил: "Я старый чекист, я еще в 20 году в ЧК сидел". Его выпустили незадолго до моего рождения, я родился в сентябре, а его выпустили, по-моему, в марте.

Н. Г. А языки вы знали с детства?

С. А. Моим воспитанием занимались мало. Родители всегда работали. Мое воспитание в том и состояло, что меня учили немецкому. Сначала я занимался один с учительницей немецкого языка. Потом эта немка собрала еще несколько детей, и мы составили группу. Группа у нее дома собиралась. Я, собственно, начал учиться читать по-немецки и по-русски одновременно, в четыре года. Немка была очень хорошая. А в 29 году в Харькове открыли немецкую школу, потому что в Харькове было очень много немецких специалистов, инженеров и даже квалифицированных рабочих. Тогда там строили тракторный завод. И вообще Харьков был столицей Украины, и связи с дофашистской Германией были довольно тесные. Я в немецкой школе проучился пять лет. Вот, собственно, мой немецкий язык пошел оттуда. А английский, французский — это я уж занимался во вполне взрослом возрасте, ну и классическое отделение, древние языки — это все из университета. Отец всячески поощрял мой интерес к книгам. Он часто ездил в Москву, потому что патроном колонии был Максим Горький. Так и называлась тогда колония — имени Горького. Отец, конечно, имел дело не с самим Горьким, а с Крючковым, его секретарем. Но где-то у меня среди бумаг отца есть заявление о какой-то просьбе, обращенной в наркомат тяжелой промышленности. Там есть и подпись моего отца. Адресована бумага Орджоникидзе, а Горький пишет своим таким вот мелким почерком, вот так вот снизу вверх: "Всемерно поддерживаю это ходатайство. А. Пешков". Такая вот примета времени. И когда отец ездил к Крючкову, он мне привозил в Харьков из Москвы какие-то, по его мнению, интересные для меня книги. Это была, в общем, советская литература, в основном поэзия, потому что он считал, что это мне по зубам. А сам мне читал "Капитанскую дочку", когда остался без работы. Мы с ним оба были в восторге от этого чтения.

Н. Г. Поэзия более по зубам, чем?..

С. А. Ну, он так считал. Я писал стихи, он не очень в это вникал, но ценил мои интересы. Он считал, что поскольку с немецким у меня хорошо получилось, то надо поддерживать то, что удается. И никаких мне советов о том, как дальше действовать, родители не давали. А я, став старше, не сомневался, что мне нужно поступить на филологический факультет.

Н. Г. Значит, вы поступили в Харькове. И какой это был год?

С. А. Это был 39-й. А в 41-м я навсегда покинул Харьков.

Н. Г. Это кошмарное время голода вы помните? 30-й, 31 год?

С. А. Очень хорошо помню. Ужасное было время. Поскольку когда отца посадили, нас выселили из квартиры, мы стали снимать на окраине у хозяйки две смежные комнаты во флигеле, во дворе. Водопровода не было, отопление было печное, угольное. Наша улица была необычная. Почти во всю ее ширину шел бульвар, который, собственно, делал ее почти непроезжей. Мы в детстве проводили там много времени. А улица называлась Семинарская. Напротив нашего дома прежде была семинария, потом там стала красноармейская казарма. Вот в этом сквере, как мы его называли, много крестьян бывало — из деревень приехавших, и вот там я видел их трупы. Очень было скудное время, ничего не было. У нас во дворе жил татарин-сапожник, инвалид с деревянной ногой, и к нему его друзья приводили иногда лошадей, и эти лошади часто стояли перед нашим окном, потом они исчезали. В общем, татары тайно торговали кониной. У меня это голодное время связано с запахом керосина. Электричества у нас не было, воду надо было носить из колонки. Трудная была жизнь и голодная.

Н. Г. И все-таки эти крестьяне попадали в город?

С. А. Еще как попадали. Много их было, и так как Харьков более или менее южный город, то скамейки, скверы, в том числе наш сквер, служили прибежищем для бездомных. Конечно, милиция их гоняла. Наш район, Холодная Гора, был еще районом тюрьмы. И когда я возвращался из школы, моя дорога проходила мимо ДПРа, так называлась тюрьма, дом предварительного заключения. Там вся улица была сплошь усыпана людьми, которые ждали возможности сдать передачу. Мне запомнилось — там сидели люди на земле и ели хлеб с помидорами, помидоры хорошие, красные, большие. И вот там я один раз встретил девочку из параллельного класса, очень хорошую девочку. Она стояла в очереди с передачей. Мы не были знакомы, но всегда здоровались. Когда она меня увидела, — ведь скрывали люди, что приходится ходить в тюрьму, — мы поздоровались, я не остановился и вопросов ей не задал. Потом мы встречались в школе и, конечно, на эту тему не говорили, но с большой симпатией смотрели друг на друга. Скудное голодное время наступило внезапно. Первый год в немецкой школе нас кормили, еще в 29 году мы обедали в школьной столовой, и там нас кормили, как все мы считали, роскошно: прекрасными котлетами с кашей. Эти котлеты

кончились уже в 30 году, один учебный год это продолжалось. Уже в следующем году не было ничего, кроме маленькой порции сухой и невкусной пшенной каши. И того хлеба, который давали к тем котлетам, тоже не было. В Харькове вообще белого хлеба на моей памяти больше не было.

Н. Г. Ладно, давайте перейдем к чему-нибудь более радостному. Вы расстались со школой и поступили в университет. Это 1939 год? Вы поступили сразу. И получается, что вы учились только до войны.

С. А. Да, я учился до войны. В 39-м мы, все первокурсники, проходили медицинское обследование и переписку в военкомате. Меня тогда признали по зрению не годным к службе. И потом еще в Харькове после начала войны я успел два раза пройти комиссию.

Началась война, и, конечно, нам на факультете всем раздали зачетные книжки и проштамповали их. Когда я понял, что с учением покончено, пошел работать на завод, где до войны делали аппараты-лейки "ФЭД", а во время войны это стал авиационный завод. Меня взяли туда в лабораторию спектрального анализа. Я в этом ничего не смыслил, но им нужно было переводить довольно много с английского. Я к тому времени немного насобачился и там проработал до первых чисел сентября. Немцы были уже очень близко от Харькова, а мы все занимались упаковкой оборудования, погрузкой всего, что нужно было эвакуировать. Наш завод должен был уехать в Бердск. Это под Новосибирском, где теперь научный городок Новосибирской академии наук. Вместе с оборудованием можно было взять довольно много собственных вещей. Я уехал с матерью. Отец ждал, что будет с его колонией. Мы ехали месяц в теплушке. Ну известное дело, что это были за вагоны. Интересно, каким странным маршрутом мы ехали. Сначала мы поехали через Москву. Была середина сентября 41 года. Мы приехали в Москву в самых последних числах сентября. Поскольку холодно было по ночам, я был в каком-то странном старом трикотажном пальто. Спали не раздеваясь. Поезд кружил вокруг Москвы, а в Москве наш эшелон стоял где-то возле Канатчиковой дачи. Нам сказали, что мы здесь будем стоять до вечера и можем уходить в город, но к вечеру должны вернуться. Неизвестно было, когда поезд отправится дальше. Я ходил по Москве в этом ужасном своем виде, конечно, уже заросший бородой. Позвонил своим московским родственникам и узнал, что мой дядя, брат матери, в ополчении. Его жена подошла к телефону, у них еще тогда работал телефон. Потом телефоны отключили. Я вернулся в свой вагон. Наш поезд постоял еще немного возле Москвы и внезапно двинул-

ся дальше очень странным образом. Мы снова поехали в направлении Орла. В Орле мы ночью стояли на путях, и бомбили именно эти пути. Это была большая товарная станция. В вагоне все тонкое, свист каждой бомбы был слышен, и, казалось, вот сейчас грохнет, и все. И вдруг мы снова двинулись. Ночь, никто ничего не знает, никто ничего не видит, затемнение полное. Только иногда прожекторы светят, но как-то они мало светили, а больше бомбы падали. Мы очень быстро ехали и оказались наутро возле станции "Лев Толстой". Прекрасная была погода. И снова началось кружение, кружение, кружение и кончилось тем, что мы оказались в начале октября опять возле Москвы. Орел мы покинули 3 октября, по-моему, или 2-го. Помню, на следующий день по радио сказали, что наши войска оставили город. И потом снова кружили и, знаете, в результате мы оказались где-то на ярославской дороге, немножко севернее Москвы, и я помню очень хорошо этот перегон, потому что мы ехали снова с огромной скоростью без остановок до самого Александрова, значит, на север. А затем мы проехали через Ярославль и вот таким образом двинулись в Сибирь. Я очень хорошо помню, как мы стояли в Тюмени, помню дорогу через бесконечную Кулундинскую степь. Так мы добрались до Бердска. В Бердске началась разгрузка вагонов с оборудованием, и так продолжалось довольно долго, а от отца — ничего, связь была потеряна совершенно. Харьков уже был занят немцами. Мы ничего про отца не знали. Он-то знал, куда мы отправляемся, и он в этот Бердск потом приехал без всякого предупреждения и нашел нас. Это была, конечно, радость, в которую мы уже не верили. Причем я был несколько шокирован. Дело в том, что моя мать заболела в Бердске, а в Новосибирске оказался ее младший брат. Ей нужно было лечь в больницу. Мы отправили ее в Новосибирск, а отец приехал в Бердск на завод, где мы ютились. Он, увидев меня и узнав, что матери нет, на меня не обратил никакого внимания и помчался в Новосибирск. Тем временем его колония отправилась в Томск. И он поехал в Томск, чтобы там как-то устроиться. Мать выздоровела к новому году, к 42-му, и мы с ней приехали к отцу в Томск. В Томске я стал преподавать в школе русский и немецкий.

Н. Г. То, что вы знали немецкий, давало вам какие-то возможности или ничего не давало?

С. А. Предмет как предмет. Как в школах преподавали? Да еще в Сибири. Вот так два с половиной года я жил в Томске. А в Бугуруслане организовали такое бюро, где эвакуировавшиеся из разных мест люди могли найти друг друга. Я даже удивлялся, что при той неразберихе была какая-то связь. Мой то-

варищ по Харьковскому университету и по немецкой школе таким образом меня нашел. Он написал мне, что он аспирант МГУ на филологическом факультете. И сообщил: если хочешь, можешь продолжать учиться на классическом отделении в Москве, нужно подать заявление в МГУ. Как раз МГУ вернулся из Свердловска после эвакуации. Там очень нужны те, кто может в такое время быть студентом. Я написал на эту кафедру, и мне тут же прислали вызов. Я поехал в Москву и поселился у тетки. Вот так. Шел 1944 год. И мне устраивают в Московском университете экзамен на классическом отделении. Первый человек, которого я там увидел, был Радциг. Он со мной был очень мил, очень любезен, сказал, что, конечно, нужно вас принять на третий курс сразу, но еще надо вас проверить по латыни и греческому.

Н. Г. А вы уже знали латынь и греческий?

С. А. Я знал за два курса. И то и другое продемонстрировал с большим успехом — и к собственной радости, и к удовольствию экзаменаторов: это были Шендяпин и Жюстина Севериновна Покровская. Они давали мне латинские тексты из Цезаря, а греческие из Ксенофонта, которые я должен был перевести и в каких-то местах разобрать грамматику. Это я с легкостью сделал, тем более что, когда уже решил ехать в Москву и занимался хлопотами о рейсовой продовольственной карточке, о железнодорожном билете, еще в Томске понемногу почитывал классиков. Так как я мог довольно много груза взять с собой в поезд, то у меня с собой были греческие, латинские учебники и конспекты.

Н. Г. Удивительно, что в советское время власти была нужна все-таки классическая филология.

С. А. Много было очень нелепого. Часто встречались странные сочетания остатков прежней культуры и полного невежества властей.

Н. Г. А что за народ в университете учился в этот момент?

С. А. В моей группе — восемь или девять человек, в основном девочки. Были еще какие-то не задержавшиеся надолго. Все классики разделялись на две группы. Состав группы менялся. Кто-то отчислялся, кто-то уходил сам. Больше тридцати человек на курсе классического отделения не было.

Н. Г. А с вами кто-то учился из интересных людей? Тот, кто, скажем, тоже собирался переводить художественную литературу?

С. А. Никто никого не учил переводить. Из тех, которые действительно занимались классической филологией, как ученые известны только Гаспаров и Аверинцев. Ошеров, Сима Маркеш — они были намного моложе меня. Девочки что-то

не очень преуспели. Я даже не знаю, кто из классиков моего поколения заявил потом о себе именно как классик.

Н. Г. Давайте перенесемся теперь уже в космополитические времена. Вы говорили мне, что не могли после защиты диссертации устроиться на работу.

С. А. На меня было две, как говорят, заявки. Одна с исторического факультета МГУ, с кафедры классической филологии. Был там такой Виктор Степанович Соколов, который хорошо ко мне относился и очень хотел меня взять. А вторая заявка была от Марии Евгеньевны Грабарь-Пассек в Иняз на ее кафедру.

В 50-м году моя аспирантура закончилась осенью, а перед Новым годом я защитил диссертацию. Меня брали на работу еще до защиты, но Министерство просвещения не разрешало. И тогда я сам пошел в министерство. И сразу понял, что это абсолютно глупо и нечего туда было ходить. Но я решил до конца пройти официальный путь распределения. В министерстве мне говорят: "Мы вам найдем работу, найдем, найдем". А время идет, но ничего не находится. Тогда я купил открытки с оплаченным ответом, написал в них свои данные и разослал по адресам разных университетов и институтов провинциальных. Разослал открыток двадцать, на половину ответа вообще не получил, на половину получил отказ. Недаром я давал все свои анкетные данные, в том числе полное имя, и теперь уже сообщал о том, что защитил кандидатскую диссертацию. В ответ слались сплошные отказы или просто никакого отклика не было. Я пошел с тем, что получил, опять в министерство, надеясь на свободное распределение. И там мне говорят: "Нет, мы вас сами пошлем в Нальчик в педагогический институт". Я понял, что они просто тянут время, но уже знал, что делать: послал такую же открытку с оплаченным ответом в Нальчик, откуда очень аккуратно ответили отказом. Тогда я окончательно понял, что мне не нужно больше обращаться в министерство, но, на всякий случай, дома держал отказы. Еще когда был аспирантом, я старался приработывать к стипендии. Началось все с частных уроков, диктанты писал со школьниками. Это Ольга Михайловна, Катина мать — она была учительницей, — своих плохих учеников направляла ко мне. Кому-то еще я латынь преподавал, какой-то глупой девице, не помню уже, зачем ей понадобилась латынь. Еще составлял словарь для учебника Соболевского. Я, кажется, даже записал свои впечатления о доме знаменитого старика и о похоронах девяностодевятилетнего филолога. Время после аспирантуры было для меня тяжелое, но случайные знакомства остались забавными воспоминаниями. Были заработки, ко-

торые я называю переводческими авантюрами. Так, через Федора Александровича Петровского я познакомился с университетским профессором географом Митрофаном Степановичем Боднарским. Он составлял сборник античной географии. Ему нужны были люди, которые бы перевели с латинского и греческого отобранные им тексты. Отбирал он в основном тексты очень известных авторов. Там были и Аристотель, и Цицерон, и Плиний Младший, и Птоломей, еще был Помпоний Мела, никому неизвестный. Вот этих авторов я для Боднарского и переводил. Книжка вышла в 52 году. Но дело не в книге. Профессор прежде всего поразил меня своим видом. Он жил в Трубниковском переулке, 26. Митрофан Степанович сидел обычно за письменным столом в нижнем белье, в рубашке самой простецкой, солдатского типа. У него под столом вместо плевательницы и корзины для бумаг, стоял синий эмалированный ночной горшок с белой внутренностью, очень чистый. Когда я принес ему первую часть сделанной работы, он мне говорит: "Вы знаете, ведь это когда еще издадут..." А кроме меня он имел дело еще с одной студенткой, тоже что-то переводившей для этой книги. Так вот он и говорит: "Ну что же мы будем ждать, у меня есть деньги, мое жалованье поступает на сберкнижку, а вы человек молодой, вот у вас ребенок родился, и эта Нина Поземская, она тоже молодой человек, и лето приближается, она может купить себе путевку или курсовку. Лучше я с вами обоими расплачусь сразу, не будем ждать". А мы ему только первые куски работы принесли, он посмотрел, увидел, что мы не врем в этих переводах, добросовестно их делаем, и был доволен. Ну а мы очень рады. Как-то раз входит в его комнату домашняя работница, он называл ее нянькой, старая женщина, единственный человек, который за ним ухаживал и всем здесь руководил, и говорит: "Вас спрашивают". — "Кто, какого пола, мужеского или женского?" — спрашивает Митрофан Степанович. Нянька отвечает: "Женского". Тогда он потребовал, чтобы ему дали фуфайку, вставать он не собирался, но рубашку свою прикрыл. Входит девушка. Он спрашивает: "Девушка, вы откуда?" Она говорит: "Я из издательства 'Молодая гвардия'". Он ей в ответ: "Не трудитесь снимать ботики, милая барышня, если вы из 'Молодой гвардии'. Вот Бог, а вот порог". Она совершенно опешила и тут же ушла. Я ему говорю: "Митрофан Степанович, за что вы ее так?" Он отвечает: "С этим издательством 'Молодая гвардия' я дела иметь не хочу, они меня обидели". Выясняется, что дело было еще до войны и было связано с книгой капитана Бадигина, служившего на Северном Ледовитом океане. Я не помню, какого рода там возник-

ли разногласия, но одно было ясно, что этой девушки на свете тогда не было. Я говорю: "А вы не передумаете? Ведь, наверно, в этом издательстве уже другие люди". Боднарский отвечает: "Нет-нет, не передумаю". Кажется, во время последней моей встречи с ним он мне говорит: "Читал на ночь книгу очень мистического содержания. Я, наверное, скоро умру. И что же это будет? Тут я лежу, придут всякие из университета, от географического общества, от черта, от дьявола, и вместо посещения тела получится расхищение книжечек, которые стоят по стенам. У меня дочь в Гельсингфорсе, — именно так он сказал, не в Хельсинки, — она там замужем за советским посланником, а тут нянька, темный человек, она не разберется, и будет нехорошо. Пожалуй, дочери напишу и попрошу ее приехать, потому что я скоро умру".

У меня еще был курьез переводческий. Познакомился я тогда с профессором Соболем, который служил в Институте истории естествознания. Он издавал "Историю животных" Аристотеля. Ему нужен был редактор старого текста перевода Карпова, был такой. Соболю кто-то меня порекомендовал, я не помню кто. Мы с ним хорошо и долго были знакомы. Однажды он мне сказал, что хочет издать автобиографию Дарвина "Воспоминание о развитии моего ума и характера" — так она называлась и, кроме того, некоторые письма Дарвина. "Вот вы не могли бы взяться за такой перевод?" — спрашивает Соболь. Я думал, что это будет на тех же примерно условиях, что я делал для Боднарского, и согласился. Перевел с большим интересом и удовольствием эту автобиографию. Дарвин очаровательный человек был вообще, и такие же его письма. Но потом меня ожидало большое разочарование. В сочинениях Дарвина мои переводы вышли под названием "Биография и письма под редакцией профессора Соболя". А мне, кандидату филологических наук С. К. Апту, он выражал благодарность за помощь в работе. Я удивился. Вообще-то он был человек славный и перед советской властью беззащитный. Он собрал прекрасную коллекцию микроскопов, начиная от левенгуковского до микроскопа электронного. Ему за работу об истории микроскопа дали Сталинскую премию. Коллекция микроскопов помещалась в одной большой комнате метров двадцати пяти. Какому-то начальству в институте потребовалась эта комната. Коллекцию нужно было убрать. Соболь понимал, что если ее уберут оттуда, то неминуемо разворуют, от нее ничего не останется. Так оно и случилось. Он ходил на прием к Фурцевой, имел еще неосторожность ей сказать: "Ну как же так? Ведь это всего только одна комната, ваш кабинет больше этой комнаты. Зачем коллекцию распатронивать?" Ход был

очень неверный, как он мне сам говорил. А еще он попросил меня посмотреть его перевод "Фауста" Гёте.

Н. Г. А уже был пастернаковский перевод или еще нет?

С. А. Да, был! Соболь мне говорит: "Понимаете, вот есть перевод Пастернака, он опубликован, потому что ему покровительствует Вильмонт". Что у него было в голове? И Соболь меня спрашивает: "Вы не могли бы мне помочь издать мой перевод?" Я отвечаю: "Я не специалист по Гёте". Не мог сказать ему, что его перевод, по-моему, ерунда. А Соболь просит: "А вы не могли бы какого-нибудь специалиста найти?" Я сразу назвал Габричевского и говорю Соболю: "Я попробую". Соболь прислал Габричевскому свой перевод, тот написал отзыв. Соболь мне его показал. Это был серьезный разбор. Я действительно не мог бы так убедительно показать главный недостаток перевода — никакой стилистической задачи Соболь перед собой не ставил. Это было не то что не художественно, это черт знает как было. А Габрический нашел слова, чтобы и звучало убедительно и не в обидной форме все это переводчику объяснялось. Я так восхитился отзывом Габричевского, что не мог скрыть своего восторга. Соболь не обиделся. Он вообще ни на кого не обижался, кроме советской власти. В феврале 1951 года я случайно услышал, что в Орехове-Зуеве в пединституте нужен латинист. Сел в поезд и поехал в Орехово-Зуево — поскольку часто ездил к родителям в Покров, дорога была знакома. Когда в пединституте узнали, что я могу и немецкий преподавать, а не только латынь, они меня тут же взяли. Директор объяснил: "До конца учебного года вы будете почасовик, а с начала нового учебного года мы вас берем в штат". Все так и было. Мне скоро велели подать документы на звание доцента, а потом, когда образовались кафедры немецкого, английского и французского языков, то какое-то время мне пришлось заведовать немецкой кафедрой. Я этого очень не хотел, это значило проводить в Орехове больше времени. У меня все занятия укладывались во вторник, среду и четверг. А конец и начало недели я был в Москве. Мы жили в Зарядье на чердаке, но это был мой дом, и там я работал, переводил в основном античную литературу. И так вот я ездил пять лет, до тех пор пока не перевел Эсхила. А потом перевел с одной редакторшей в соавторстве роман Фейхтвангера "Лисы в винограднике".

Н. Г. Это был первый ваш немецкий перевод?

С. А. Нет, первым моим немецким переводом была новелла Томаса Манна "Тристан". В Гослитиздате было решено издать сборник новелл Томаса Манна в новых переводах молодых переводчиков.

Н. Г. Мы с вами постепенно подошли к Томасу Манну. Теперь объясните мне, я плохо в этом разбираюсь: Томас Манн еще не выходил тогда в Советском Союзе?

С. А. Томас Манн выходил.

Н. Г. Еще до войны?

С. А. Еще до войны выходил, но только "Будденброки" и "Волшебная гора".

Н. Г. А в чьих переводах?

С. А. "Будденброки" выходили еще в дореволюционном переводе, потом был перевод Наталии Ман. Собственно, других переводов я не знаю.

Н. Г. А Вильмонт не занимался разве немецкими переводами, или я что-то путаю?

С. А. Вильмонт — это вообще особая статья. Вильмонт был человеком, мягко сказать, непринципиальным. Он и говорил, что "принципиальности от меня не ждите". Он был женат на Наталии Ман. Когда заболел Пастернак, Вильмонт пытался проникнуть к больному, но Зинаида Николаевна не пускала Вильмонта. Я не знаю, на чем они разошлись с Пастернаком в свое время. К Пастернаку он не допускается, но на дачу к нему ездит. Пастернаку уже перед самой его смертью приходят немецкие переводы "Доктора Живаго", и Зинаида Николаевна дарит Вильмонту немецкую книгу. Вильмонт дал мне эту книгу. И, сказать по правде, мне по-немецки роман понравился тогда гораздо больше, чем по-русски. По-русски, как поэт, Пастернак всегда прекрасен. В прозе, как романист, он мне показался не таким хорошим. В немецком переводе всякие шероховатости романиста пропадают. А уж разговоры Стрельникова, где отвлеченные темы, по-немецки вообще звучат прекрасно. Немецкий язык создан для таких разговоров. Думаю, что немецкая речь вообще повлияла на мышление Пастернака и особенно на эти страницы романа. Очень заметно там знакомство с немецкой философией. Вернемся к Вильмонту. И Вильмонт, и Наталия Семеновна, они сначала меня обласкали и привлекли к работе над "Доктором Фаустусом". Наталия Семеновна взялась переводить этот роман и увязла в нем. Вильмонты уже знали меня как молодого переводчика. Ведь когда я им принес "Тристана", они очень обрадовались и дали переводить труднейший роман Томаса Манна "Избранник". Трудности его очевидны, особенно если знать подлинник. Там есть старофранцузская и староанглийская лексика, которая рядом с немецким и с латинским шрифтом — это хорошо, а по-русски — это плохо. Английский все-таки имеет германские корни, к тому же общий шрифт. Что до французского — надо было уже просто транскрибировать

слова. Это оказалось очень трудно. Там много игры, и сочетания стихов и прозы тоже есть. После того как я перевел "Избранника", Вильмонт мне предложил: "Вы возьмите начало и конец романа, а Наталия Семеновна всю середину". А вся середина – это музыка и все прочие трудности. И я переводил всю середину. Там тридцать шесть или тридцать четыре листа. Мне семнадцать и семнадцать листов Наталии Семеновне. Листы разделены поровну, но трудности, материал и фактура разные. Меня эта работа, признаться, радовала, потому что было интересно. Тут можно было пробовать свои силы, и сама трудность меня привлекала очень, и Вильмонты были довольны. Помню, мы сидели рядом, Вильмонт все смотрел в немецкий текст, а я читал русский перевод. Наталия Семеновна вообще никуда не смотрела и только время от времени показывалась. Я понял, что Наталия Семеновна часть работы своей отдала Вильмонту. А в десятитомное тогдашнее собрание сочинений "Иосиф и его братья" не вошел, русского перевода не было.

Н. Г. Это все было уже после 56 года, разумеется.

С. А. Да. В 60 году или в 61-м кончило выходить собрание сочинений Томаса Манна. Но уже в 60 году я начал переводить "Иосифа". Семь лет радости и муки. Материально выдержать такой срок, надо сказать, помог Брехт. Я три пьесы его перевел еще в 50-е годы, а тут пошли эти пьесы в театрах. Доходы были небольшие, но, можно сказать, регулярные. И я мог почти не отрываться от "Иосифа". И с редактором мне повезло. Сережа Ошеров – классик по образованию, сам переводчик, человек высокой культуры; он понимал, с чем имеет дело. А о трудностях перевода этой громадной тетралогии я здесь не стану рассуждать. Но поздней весной – в начале лета 67 года, когда была уже верстка "Иосифа", случилась Шестидневная война.

Н. Г. А, связь получается прямая: "Иосиф и его братья" и Шестидневная война.

С. А. Да-да. Сучков, он был рецензентом "Иосифа", говорит: "Боюсь, как бы это все не затруднило..." А я ему в ответ: "Ну что вы, выйдет". Почему-то думал: раз столько времени и сил на это убил, не может быть, что так уж совсем впустую, и вот уже верстка... В общем, роман "Иосиф и его братья" вышел. Я не был первооткрывателем Томаса Манна. Но писем было очень много, очень много.

Н. Г. И вы на них отвечали?

С. А. На письма с благодарностью, во всяком случае, отвечал всегда, не оставлял никого без ответа. Но если письмо выходило за пределы предмета, я отвечал не так, чтоб продол-

жать вообще переписываться. И большинство писем не были такими уж особенно содержательными. А некоторые читатели вносили в письма элементы не литературные, а личные. Я тогда обрывал переписку.

Н. Г. Какой отклик был на выход "Иосифа"?

С. А. Ситуация для нашей страны того времени довольно обычная. Пятидесятитысячный тираж двухтомного романа в два-три дня был раскуплен, так что, видимо, люди слышали что-то о романе. Вся образованная молодежь тогда его прочитала. А в прессе была одна, хотя и положительная, но... какая-то обыденная рецензия Романа Самарина в "Литературной газете". Ирина Млечина, тогда там работавшая, так сказать, организовала рецензию. Всего одну. На объявленное обсуждение "Иосифа" в Союзе писателей пришло человек десять, если не меньше. Писатели не заметили появления романа. А читателей, страстных читателей, было много. И я не огорчался. Я же знал, что такое наш Союз писателей, да и наша пресса.

Н. Г. Расскажите что-нибудь про Кафку.

С. А. Про Кафку история очень короткая. О Кафке некоторые знали. Я тогда имел дело с журналом "Иностранная литература", довольно много у них шло всяких моих публикаций и работ, я рецензии писал для них, переводил что-то, какие-то подборки делал. Мне там говорят: "Вы бы взялись переводить Кафку?" Я отвечаю: "Конечно, взялся бы, да вы же не напечатаете". У меня был однотомничек Кафки, мне мой знакомый математик, коллега по Орехову, дал, и я его прочел и находился под огромным впечатлением, но считал, что никто не издаст его. Кафке предшествовала слава, что у нас он не пройдет. И вот меня пригласил к себе заведующий отделом прозы "Иностранной литературы", был там тогда такой Борис Исаакович Розенцвейг, и говорит: "Вы бы согласились перевести Кафку? Немного, пять листов. Вы читали Кафку?" — "Читал, но, — говорю, — текстов у меня нет". — Ведь это книжка была не моя. "Тексты я вам дам". Дает мне Кафку со словами: "Отберите в пределах пяти листов, что вы хотите". Я посмотрел книжечку и говорю: "Знаете, листа на три или четыре мне и выбирать не нужно. Вот эти два рассказа как раз и составят нужный вам объем". Он спрашивает: "А какие рассказы?" Я отвечаю: "'Превращение' и 'В исправительной колонии'". — "Ага, вы с козырной карты решили идти". Он читал по-немецки что-то из Кафки до этого. Я спрашиваю: "А кого я должен побивать этой козырной?" — "Кого... сами знаете кого". Он хотел напечатать Кафку, но страшно боялся; славный человек был, но трусливый, как все тогдашние издатели. И он пони-

мал, что если будет окрик сверху, то Чаковский Розенцвейга тут же отдаст на заклание, скажет: "Это он". И Розенцвейг, конечно, был прав в своей догадке. Но Кафку встретило какое-то равнодушие со стороны Чаковского, а Розенцвейг сумел проявить смелость. Напечатали и остальные рассказы, всего пять листов. Это и была первая публикация Кафки. Откликов последовало очень много, но писем мне как переводчику уже не писали. Хотя Кафка – нелегкий автор для перевода, совсем нелегкий. Потом уже пошло, пошло, пошло.

Н. Г. "Пошло" в какие годы?

С. А. В 63 году, по-моему, вышли первые рассказы Кафки.

Н. Г. Да, самая оттепель.

С. А. Потом было много изданий Кафки, очень много. Дальше моя исповедь перед вами станет однообразной, потому что очень много места и времени занял Гессе и очень много времени у меня занял Музиль. Вот это главные, я считаю, немецкие авторы, которых я перевел: Томас Манн, Гессе, Кафка и Музиль. А остальных было тоже очень много, но эти главные. Да и обстоятельства для меня изменились; довольно давно уже наступило время, когда я не ждал предложений, а предлагал сам. И никогда не предлагал того, что мне не нравилось, или того, что, может быть, само по себе было интересно, но как переводческая работа особого смысла не представляло и увлекательного труда не сулило. Такие авторы тоже были. Таков был, например, Макс Фриш.

Н. Г. Макс Фриш вам не очень нравится?

С. А. Он хороший автор.

Н. Г. У него пьесы были изумительные, такие тонкие.

С. А. Да, вот я одну из этих пьес перевел, "Андорру", и перевел роман "Назову себя Гантенбайн".

Н. Г. Фриш был очень популярен. Целое поколение 60-х годов выросло на нем.

С. А. Хороший автор и Дюрренматт, я тоже немножко переводил его. Грасса перевел роман. Грасс хороший писатель. Очень хороший. Теперь я читаю и никак не могу кончить его автобиографическую повесть.

Н. Г. "Луковицу памяти" скандальную? Как он два месяца в конце войны служил в СС?

С. А. Она у меня по-немецки.

Н. Г. И вам не нравится?

С. А. Нет, мне нравится, но мне скучно стало, потому что я хорошо знаю его другие книги, и он по всем книгам распределил свой биографический материал, только умолчал о том, что вызвало сенсацию. По фактам последняя его повесть – повторение того, что можно узнать и из других его книг.

Н. Г. Каких-то контактов у вас с ним не было?

С. А. Нет, когда он был в Москве, выступал в Библиотеке иностранной литературы. Я там был, и Борис Хлебников, который ему переводил, говорит мне: "Хотите с ним познакомиться?" Я сказал, что нет.

Н. Г. Почему?

С. А. Не знаю, вот так. Я сидел близко; он прошел и с несколькими людьми, в том числе и со мной, поручкался. Но я не хотел знакомиться.

Н. Г. Просто вы скромный человек.

С. А. Да нет, мы вот с Кристой Вольф были в немецком доме творчества одновременно, и все рвалась состоявшая при ней Кацева нас познакомить. А мне не хотелось знакомиться, потому что Криста Вольф мне казалась такой гэдээровской конформисткой. В ее книгах я всегда вижу, где и на что она закрывает глаза. Ведь она неглупая, очень неглупая.

Н. Г. А если бы выпала такая возможность, с Томасом Манном вы бы хотели познакомиться?

С. А. Знаете, когда я занимался Томасом Манном, он был уже стар и жил в Цюрихе, о знакомстве речи не было.

Н. Г. Я говорю: если бы...

С. А. Мне кажется, что это знакомство мешало бы мне. Я не знаю почему. Человеческий контакт в данном случае не нужен. Нужно то, что вышло из-под его пера, нужно знать как можно лучше, полнее и понимать весь контекст его творчества, его жизни. Но личное знакомство... нет, мне это не нужно.

Сергей Гандлевский

Повторение пройденного: пять дней в Гаване

На борту самолета компании "Аэрофлот", следующего рейсом "Москва–Гавана" и обратно, по просьбе пассажиров введен "сухой закон" – так мне объяснила стюардесса. Вполне разумно: за шестнадцать часов пути под алкоголь можно и отличиться. Поэтому мне пришлось воровато прикладываться к стеклянной фляге, приобретенной в "Duty free". За этим очень по-отечественному панибратски-избирательным соблюдением закона я и скоротал дорогу.

Эффект узнавания настиг тотчас по прибытии в аэропорт "Хосе Марти". Такую угрюмо-казенную расцветку стен сейчас в Москве можно встретить в запущенных подъездах, полуподвалах домоуправлений или районных отделениях милиции. В туалете унитазы были полны по края чем полагается и, если бы не физика с ее поверхностным натяжением, *это* переливалось бы на пол. (Вообще, отсутствие стульчаков, засор и кромешная темнота в местах общего пользования – кроме валютных – обычное дело в Гаване. Мужчины в силу особенностей анатомического устройства еще могут справить хотя бы малую нужду, но как быть женщинам? Впрочем, негодование мое лукаво: не я ли в конце 80-х, уезжая из гостиницы в Белгороде, вывернул лампочку в номере за неимением их в продаже – и явился в семью добытчиком?) В знакомо-замедленном темпе со знакомо-незаинтересованными лицами передвигался персонал аэропорта. Прибывшие выстроились в часовую очередь к трем пропускным пунктам, в каждом из которых неулыбчивая девушка лет восемнадцати-двадцати что-то долго писала от руки, а после велела пассажиру встать на заданное расстояние от конторки и смотреть в определенную точку – видимо, фотографировала. Я – не цыпа, не мистер-твистер и не соотечественник с Брайтон-Бич, упоенный своим преуспеянием, свалившейся как снег на голову цивилизованностью и говорящий про Америку "у нас"; словом, я не корчу благородного недоумения – напротив, все это слишком знакомо: я про-

© Сергей Гандлевский, 2011

жил в подобных декорациях без малого сорок лет, и мне эта экзотика не внове. По окончании процедуры пассажир выходил в скучную серо-зеленую дверь и оказывался под звездами южного неба, среди тропического тепла и благоухания — и это после еще *сегодняшнего* гнилостного московского февраля!

Нас ждала машина, и, в порядке дежурной дорожной болтовни, я задал сопровождающему, приветливому и сносно изъясняющемуся по-русски кубинцу, вопрос насчет комаров в гостинице. Он рассмеялся и ответил, что местным они не докучают, а нас могут и покусать: "Лучше кушаете — лучше мясо".

На жизнь жаловались (замечу задним числом) почти все из моих новых гаванских знакомых, обреченно и охотно, с полуоборота — точь-в-точь как мы иностранцам лет двадцать пять-тридцать назад. Вот что осталось по прошествии пяти дней в Гаване в моих путевых записях. Инженер зарабатывает в день 25 песо (или 1 конвертируемый песо — параллельная денежная единица, что-то вроде советских чеков), то есть стоимость бутылки газированной воды или литра бензина. Есть и карточки — на хлеб, сахар, фасоль, рис, фарш, сливочное масло, курятину и проч.; они "отовариваются" по месту жительства. Совершенно очевидно, что при такой скудной жизни подавляющее большинство островитян ежедневно руководствуется постылой мудростью: "Хочешь жить — умей вертеться..."

Бедность и дефицит изнуряют. Они формируют у взрослого человека психику сироты казанского. А заодно действуют приезжему на нервы: привилегированность для нравственно вменяемого человека — положение неловкое и малоприятное.

Из нескольких новых знакомых только два человека не сетовали на свое житье-бытье. Одна — женщина лет сорока, энтузиастка по темпераменту. Она не сторонилась ответственности за революционный пыл молодости и наломанные дрова, не сластила пилюлю сегодняшнего дня и спокойно, хотя без иллюзий, смотрела в будущее, которое, естественно, собиралась разделить с соотечественниками. (Она напомнила мне бабушкиных подруг — комсомолок 20-х годов, овдовевших в террор 30-х.) И второй — мужчина средних лет, скорей всего, судя по коротко поминаемому Парижу (кубинцы в массе своей "невыездные"), чей-то сынок — демагог и фаршированная голова с набором знакомых "убеждений": особые кубинские духовность и бессребреничество, антиамериканизм, снисходительность к непосвященным...

Отель "Ривьера", куда нас поселили, — помпезный и неуютный, хотя благоустроенный. Все расчеты, разумеется, в конвертируемых песо; пункт обмена валюты с грабительским курсом тут же. Все снова

же знакомо и все немного не по-людски: каменные пепельницы в холле "Ривьеры" намертво вмурованы в столы, и, чтобы стряхнуть пепел, приходится каждый раз вставать из неподъемных кресел поодаль. О перечнице и солонке в общепите следует особо просить официанта, который вскоре забирает их прочь. Впрочем, улыбчивость местных жителей отчасти возмещает прорву неудобств — с отечественным, утробным и бескорыстным, хамством я не столкнулся ни разу. Наверняка бытовых осложнений и напастей в жизни кубинцев гораздо больше — много ли я мог заметить за считаные дни в Гаване?!

На упреки в мелочности и злопыхательстве отвечу, что это не мелочи, а стиль, в сущности, бесчеловечный и смахивающий на издевательство, — и Куба здесь ни при чем: такова природа утопии. В одной ученой книжке я прочел, что утопия, если память мне не изменяет, Томмазо Кампанеллы была снабжена авторским планом "Города Солнца". Исследователь обратил внимание, что в идеальном городе улицы располагаются в виде концентрических кругов, но поперечных переходов с одной дуги на другие всего четыре — во внешний круг вписан крест. Увлеченный аккуратным черчением утопист и радетель о человеческом благе не удосужился представить себе человека во плоти, которому не с руки давать здоровенного крюка, чтобы зайти в лавку, на почту или на соседнюю улицу к приятелю — недужная симметрия дороже.

И антиутопия Оруэлла когда-то восхитила меня, главным образом, не идеологически (эту "алгебру" контрреволюции мы знали и по "Бесам"), а прозорливостью британца (!) в мелочах: рассыпающимся табаком сигарет "Победа", незажигающимися спичками "Победа", отравным спиртным "Победа" и т. п. Была в СССР такая мазохистская, как большинство невольничьих шуток, загадка: летит, гудит, сверкает, а в жопу не толкает. (Специальная советская машинка для толкания в жопу.)

Но несчастная привычка обобщать и сравнивать тотчас уступила место более отвлеченному строю мыслей, как только я обнаружил, что окна моего номера на четвертом этаже выходят прямо на набережную Малекон, за которой во мгле мерцает, шевелится и тихо ухает всамделишный Мексиканский залив.

С утра поехали в центр — Старую Гавану, Habana Vieja. Передвигались на чиненых-перечиненых "жигулях" 1983 года, но водитель объяснил, что эти колымаги пользуются на Кубе большим спросом, потому что к ним можно достать запчасти. (О, этот соцлагерный глагол "достать" — колбасу, детскую коляску, могильную плиту!) "Дворники" работали вовсю, поскольку штормило, и волны перехлестывали через парапет набережной, обдавая лобовое стекло. (Бывает, что

движение по Малекону совсем перекрывают, когда волнение достигает нешуточного балла.) Об автомобилях Гаваны говорят все — скажу и я: они того стóят. Уличное движение самое привольное — трафика и пробок нет по бедности и в помине, и транспортные раритеты можно разглядывать в свое удовольствие. Допотопные "бьюики", "кадиллаки", "форды" и всякое такое, как обшарпанные разноцветные рояли "стейнвей", катят по улицам с лязгом и выхлопами. Больше похоже на карнавальную клоунаду, чем на будничную езду, особенно когда за рулем этих ископаемых невозмутимо сидят киногеничные мужики всех цветов кожи.

Как же к лицу красивым городам (а Гавана очень красива) отсутствие рекламы, когда "пластмасса" и ядовитые краски не перебивают очертаний и цвета архитектуры двух-трехвековой выдержки! (Исключения редки, мне на ум приходит только нью-йоркская Time's Square, где ошеломляющее электрическое сияние доведено до особого эстетического качества.) От "луна-парка", например, на Пушкинской площади в Москве с души воротит. Хороший вкус Гаваны, разумеется, не от хорошей жизни, но все равно хорошо. Правда, в первый день с непривычки досаждали несметные портреты Че Гевары, похожего на гиену в берете, но вскоре они примелькались.

Гавана и впрямь загляденье. Мне больше понравились не те несколько площадей, что отреставрированы и отдраены в угоду туризму: с вечными ряжеными под старину статистами для фотографирования на память и кабриолетами, а улицы позатрапезней, заплата на заплате — с облупленными колоннами и деревцами, проросшими на кровлях зданий ар-нуво и старше. Жить в этих кварталах, вероятно, не сахар, но даже во мне, дальтонике, эта нечаянная красота пробуждает трепет художника. Сходное впечатление производят старый Тбилиси, Львов, Стамбул в своей непарадной части. Элегия чистой воды, упадок, своего рода "осень", когда процветание сменяется живописным до поры запустением. Это, скорей всего, имел в виду Ходасевич, писавший, что никогда Петербург не был так прекрасен, как во время послереволюционной разрухи.

Но надолго впасть в элегическое оцепенение не получается, потому что по Старой Гаване пробираешься, как сквозь цыганскую толпу, скажем, у Киевского вокзала: чужака преследуют ласковые, но требовательные оклики и зазывания с целью урвать с тебя хоть что — хоть сигарету.

Один из обязательных пунктов в рассказах путешественников о Кубе — красота и сговорчивость кубинок. Красоту заметил, о доступности судить не берусь: или мои застенчивые провожатые избегали злачных мест, или меня, прожившего последние десять лет на Тверской и видев-

шего воочию ее ночные будни, трудно удивить любовью по найму. Раз-другой на глаза попадались профессионалки, но довольно убогого вида, вроде тех же несчастных, московских. Интерес ко мне проявила лишь мулатка лет восьмидесяти: встретясь со мной взглядом, она подмигнула и развратно зачмокала губами.

С некоторых пор взяв за правило наведываться в художественные галереи незнакомых городов, будь то Пермь или Прага, я пошел в гаванскую "Коллекцию всемирного искусства". Музей, скажем прямо, так себе, но почему-то именно на этом безрыбье две гигантские негритянки-смотрительницы ходили за мной неотступно и дышали в затылок, в то время как ни в Лондонской национальной галерее, ни в Метрополитен с их несметными и бесценными шедеврами тебя не подозревают так откровенно, хотя наверняка тоже по долгу службы не выпускают из поля зрения. Я снова же имею в виду не собственно Кубу, а социализм с его унизительными навыками: ведь на Петровке в Музее современного искусства я тоже никак не мог остаться наедине с экспонатом: рядом бдительно сопела музейная сотрудница. Именно этот, "самый гуманный" общественный строй приучил своих подопечных в забвение приличий смотреть друг на друга, как на отпетое жулье!

Одна маленькая картина 1920—1930-х годов меня тронула. Художник изобразил нарядную компанию на фоне моря — мужчины в канотье, дамы в широкополых шляпах, борзая собака, — прогуливающуюся по набережной Малекон. Две маленькие девочки в воздушных платьицах забежали вперед, наскуча чинной прогулкой старших... Уж не этих ли состарившихся девочек видел я сегодня мимоходом в очереди на раздачу хлеба: двух ветхих породистых старух в застиранных тренировочных штанах и сбитых сандалетах?! Вылитые уроженки Арбата из бывших, памятные с отрочества.

Осудительный уклон, тяга к обличению до добра не доводят — по себе знаю, не только из Евангелия. Стоит мне зайтись от праведного гнева, не сегодня-завтра я непременно сяду в лужу, причем основательно. Поучительная нелепость произошла и в Гаване.

Поездка была литературного свойства. На поэтическом вечере "Поэты против войны" стихи читали латиноамериканские лирики и я. Сидя вместе с коллегами в президиуме, я исправно аплодировал каждому очередному автору, хотя не понимал ни слова. Из краткого вступления, которым перуанская поэтесса предварила свое чтение, я, наконец-то, понял одно-единственное слово — "Палестина" — и решил, что не стану, и все тут, рукоплескать конформистке. После мне перевели речь перуанки, она сказала: "У меня нет стихов в защиту Палестины, как сейчас пишут,

поэтому я прочту что прочту". И это я еще легко отделался. Случаются со мной афронты и похлеще.

Вот так, занятые то досадой, то умилением, прошли пять дней в Гаване.

Образцовый психопат, я был абсолютно готов к отъезду за полтора часа до прихода такси в аэропорт. Чтобы както убить время и не нервничать, я придвинул кресло к окну, поставил минералку и пепельницу на подоконник, уселся поудобней и стал смотреть в окно. По-прежнему шумел шторм. Внизу под мрачным небом неестественно сиял в отсутствии солнца синий прямоугольник безлюдного бассейна в окружении праздных лежаков. Поодаль черные мальцы пинали мяч на пустой замусоренной автостоянке. Какой-то неясного происхождения звук доносился невесть откуда, я даже уловил его повторяющиеся через равные промежутки времени ритм и лад. "Маяк, что ли?" — подумал я. От нечего делать и в силу профессионального рефлекса я стал подбирать сравнения для движущихся к берегу волн. Из всех вариантов лучше прочих был такой: "Валы приближаются медленным брасом — то пряча белые головы под воду, то высовывая на поверхность..." Но и он не ахти.

Благополучно забуду все, что я здесь понаписал, но вот этот, убитый у окна час с лишним, скорее всего, — нет: шторм, тихий галдеж подростков на мусорном пустыре, а главное — загадочный ноющий звук, его-то я точно долго буду помнить.

Среди книг

с Верой Калмыковой

О *границах чудесного*

Жак Ле Гофф *Герои и чудеса Средних веков* / Пер. с французского Д. Савосина. — М.: Текст, 2011. — 220 с.

К русскому читателю Жак Ле Гофф пришел в начале девяностых, уже будучи признанным лидером французской исторической школы "Анналов". Ныне он едва ли не один из самых издаваемых зарубежных историков: на прилавках сегодня можно одновременно увидеть три его монографии, что, разумеется, не может не радовать. Ведь история в изложении авторов школы "Анналов" — это история людей и для людей, а этого, видит Бог, много не бывает.

Монография "Герои и чудеса Средних веков" посвящена, как сразу предупреждает автор, "новой сфере в исторической науке, переживающей стадию бурного развития: сфере имагинального". Под "имагинальным" понимается, пользуясь определением Эвелина Патлажана, "совокупность представлений, выходящих за пределы, устанавливаемые фактическим опытом и дедуктивным мыслительным рядом, объясняющим этот опыт". Проще говоря, сфера имагинального — это сфера образов, которые порождает каждая культура. Это не просто представления, но дорога в иной мир, остановленное и запечатленное в легенде мгновение полета фантазии. К таким образам Ле Гофф относит короля Артура и Карла Великого, Единорога и Лиса Ренара, Роланда и Робина Гуда, фею Мелюзину и Папессу Иоанну. Каждому из образов посвящена отдельная статья. А методологическая платформа исследования, написанная в изящно-доступной форме и корректно переведенная Д. Савосиным, изложена во введении.

Образ, герой и чудо — вот три темы, интересующие автора книги. Именно образ — художественный, разумеется, — помогает чуду осуществиться, а герою встретиться с ним. Неслучайно Ле Гофф приводит определение англичанина Гервасия Тильбюрийского: чудесное — это "то, что недоступно нашему пониманию, хотя и совершенно естественно".

Абсолютно неважно, существовали ли Артур или Изольда *исторически*, обладают ли образы реальными прототипами из плоти и крови. Главное, что они реально существуют *в культуре* и вот уже много веков оплодотворяют ее, насыщая эмоционально и духовно. Многочисленные экранизации легенд "артуровского цикла", по-

стоянно появляющиеся на мировых экранах все новые киноверсии деяний благородного разбойника из Туманного Альбиона – не лучшее ли доказательство их востребованности даже в такую негероическую, чтобы не сказать антигероическую, эпоху, как наша?

На страницах книги нет специальной статьи, посвященной Святому Граалю или Александру Македонскому. Несмотря на важность этих образов в культуре, порождены они всё же не Средневековьем, а Жака Ле Гоффа интересует именно эта эпоха. Но зато есть статьи "Кафедральный собор", "Жонглер", "Трубадур, трувер", расширяющие наши представления о границах чудесного.

Лоуренс Бергрин *Марко Поло. От Венеции до Ксанаду* / Пер. с английского Г. Соловьевой. – М.: АСТ: Астрель, 2011. – 476 с.

Собственно, лишь термин "имагинальное" является некоторым новшеством для широкого читателя. Сам же подход – как к тому, чтобы творить историю, так и к тому, чтобы ее писать с помощью некоторого вдохновляюще-возвышающего образа ("тьмы низких истин нам дороже..."), – стар как мир. Кто только им не пользовался! И уж, во всяком случае, среди адептов имя венецианца Марко Поло должно стоять на почетном месте.

Книга Лоуренса Бергрина "Марко Поло. От Венеции до Ксанаду" – не научная биография и не роман в собственном смысле, но некоторый синтез обоих жанров. В таком подходе нет ничего нового. Но теоретиков, готовых воспринимать лишь небывалые концепции, в мире, к счастью, немного. А читатель, сохранивший, при всей любви к процессу поглощения печатного текста, некую необходимую искушенность, обратит внимание, насколько тонко здесь подмечена основная черта купца-путешественника, купца-писателя – его тяга к чудесному, его чувство "имагинального".

Бергрин подмечает: "В интерпретации Марко монгольское завоевание предстает не беспощадным избиением тысяч людей, а сказочной историей о том, как власть монголов свободно распространилась по великой степи". И далее: "Описанному Марко восхождению Чингисхана к вершинам славы недостает неприятных подробностей об убийственной жажде власти, свойственной этому вождю. Марко предпочитает вместо этого ввести в повествование фантастическую картину сражения монгольского воина с христианским владыкой Востока пресвитером Иоанном. Однако великий соперник Чингиса, пресвитер Иоанн, не существовал в действительности, вопреки убежденности европейцев, что он обитает в Азии или, может быть, в Африке, повелевая чудесным и богатым христианским царством. Устойчивый миф о пресвитере Иоанне берет начало в живом воображении монахов, сочинивших якобы написанное

им письмо к христианским властителям Запада".

"Неприятные подробности" – не что иное, как упомянутая "тьма низких истин". Марко Поло, а вслед за ним и Лоуренс Бергрин двигаются совершенно в ином направлении: они транслируют всем желающим прекрасные сны о культуре, неуловимые, неправдоподобные, дающие жизнь.

Александр Гримо де Ла Реньер *Альманах Гурманов* / Пер. с французского, вступ. статья, примечания В. А. Мильчиной. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 631 с.

Знаменитое высказывание Павла Афанасьевича Фамусова "Ешь три часа, а в три дни не сварится" принято считать типологической характеристикой русской ментальности и, соответственно, культуры. Изданный НЛО "Альманах Гурманов" вносит некоторую корректировку в устоявшееся представление. Впервые вышедший в Париже в 1802 году, а в России – в 1809-м, альманах этот и два столетия спустя может послужить настольной книгой реального или потенциального Гаргантюа, в какой стране он ни поглощал бы пищу.

В самом деле, даже человек, вынужденный ограничиваться протертой перловкой, не сможет удержать невольной слезы при чтении, например, таких строк: "Самые лучшие индейки прибывают в Париж из провинции Гатине и из окрестностей Орлеана, где их во множестве разводят на продажу. Орлеанские индейки известны в Долине под именем пожирательниц яблок. Покупая индейку, следует первым делом убедиться, что она юна и нежна, а затем проверить, не горькое ли у нее мясо. Способ проверки не вполне пристоен, но зато весьма надежен, а нужда в нем очень велика; по этой причине нам, надеемся, простят нашу нескромность. Не при дамах будь сказано, надобно ввести палец в задний проход птицы, затем сделать глубокий вдох и обсосать палец. Средство это совершенно безотказное".

Поскольку "Новое литературное обозрение" – издательство сугубо научное, серьезно подходящее к публикациям, то "Альманах Гурманов" снабжен солидным аппаратом сносок и исчерпывающе-энциклопедическим предисловием переводчика (о качестве самого перевода, изящного и остроумного, дает представление приведенный отрывок). Человеческое тело со всеми его естественными потребностями и отправлениями обретает благодаря публикации альманаха еще один аспект существования, который можно было бы обозначить как *историю и типологию обжорства*. Так что современный русский читатель, взявший в руки данную книгу, может питаться не только "от души" или "от пуза", но и от ощущения глубокой причастности к серьезному семиотическому пласту.

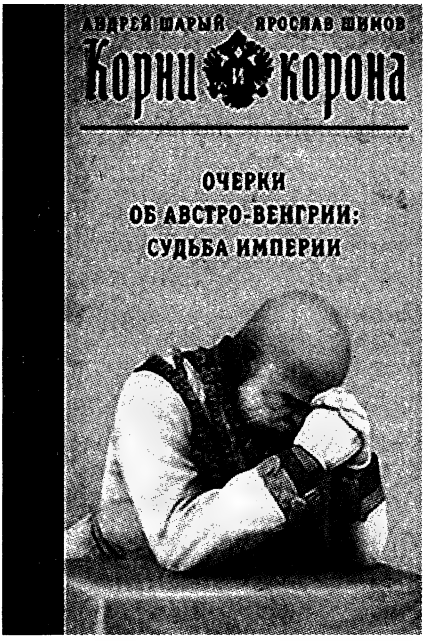
Что не исключает, разумеется, вневременной верности пророчества Фамусова.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

На сайте YouTube можно найти ролик "1000-летняя история Европы за 5 минут". В качестве отдельных кадров выступают варианты политической карты континента: в динамике на этой карте меняются границы, сталкиваются соседи, появляются, растут, распадаются и исчезают отдельные государства, напоминающие амебообразные организмы. И сколь бы стабильными ни казались современникам империи с вековой историей, благодаря подобному мультдайджесту наглядно видишь, что любая из них имеет начало и конец.

Это утверждение более чем справедливо для государства, которое всего лишь каких-то сто лет назад было одним из крупнейших в Европе. В Первую мировую войну Австро-Венгрия вступала в 1914 году как вторая по площади и третья по численности держава Европы, а уже через четыре года от нее остались в буквальном смысле одни осколки. Истории этой страны посвящена книга журналистов **Андрея Шарого** и **Ярослава Шимова** *Корни и корона: Очерки об Австро-Венгрии: судьба империи* (М.: КоЛибри, 2011. – 448 с.).



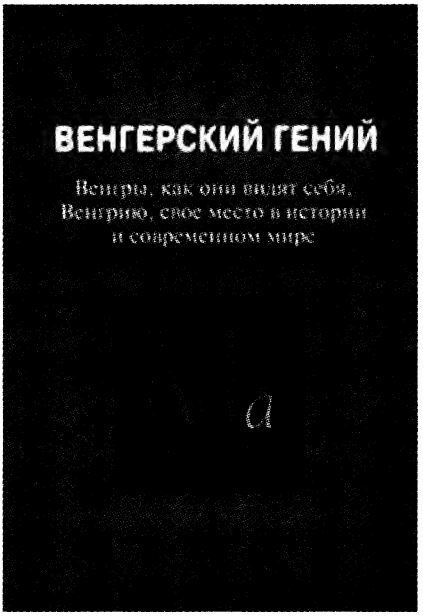
О предмете исследования авторы пишут с безусловным знанием дела: оба давно занимаются проблемами славянских территорий бывшей Австро-Венгрии: Шарый – Сербии и Хорватии, Шимов – Чехии и Словакии. Продукт их совместного труда удачно сочетает в себе черты разных жанров и стилей – истории, социологии и политологии; академической монографии, эссеистики и травелога. Опорные географические точки здесь – это, помимо столичных Вены и Будапешта, также Прага и Триест, Сараево и Львов (последний – слегка в ущерб Кракову, который с не меньшим основанием мог претендовать на звание "столицы" Галиции).

Судьба державы, простиравшейся от Прикарпатья на Востоке до Адриатики на Западе, конечно же, не может не натолкнуть и на исторические аналогии, и на соображения о жизнеспособности империи и плюсах и минусах подобной формы государственности. Для нас слово "империя" традиционно обладает негативной коннотацией: империя — это "тюрьма народов", где сильные, "титульные" нации угнетают слабые. Пример Австро-Венгрии отчасти подтверждает этот стереотип: "слабыми" здесь были прежде всего нации славянские, которые после распада империи получили независимость (в свою очередь то разделяясь, то объединяясь: как Чехия и Словакия или Хорватия и Словения). Соседняя империя, Российская (где, напротив, "базовыми" нациями были славянские: русские, украинцы и белорусы), просуществовала на несколько десятилетий дольше, однако тоже оказалась недостаточно устойчивой.

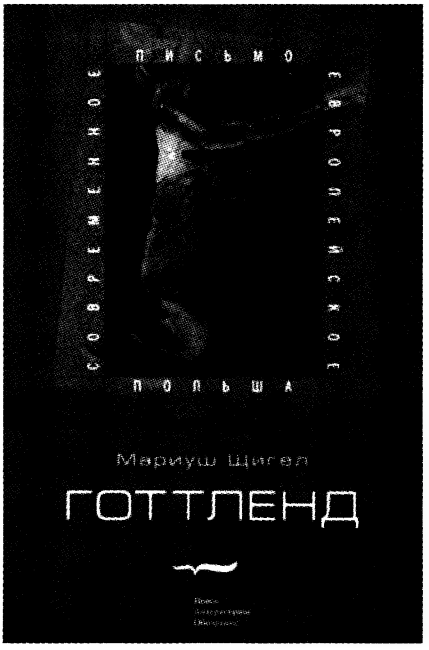
Естественно, образование своего собственного, национального государства для более "слабой" нации представляется несомненным историческим достижением: здесь и независимость, и сохранение национальной культуры и языка, и восстановление исторических традиций. Однако, как показывает практика, оборотной стороной этих позитивных процессов становятся конфликты с соседями и национальная изоляция, способная порождать и ксенофобию, и шовинизм. И в этом контексте понятие "империя" потенциально может иметь и положительную коннотацию — если рассматривать его как альтернативу "национализму", когда включение в общую государственную структуру позволяет гасить агрессивные националистические инстинкты.

Одна из наиболее нетривиальных "исторически пульсирующих" в геополитическом смысле европейских наций — венгерская. Венгры пришли в Европу более тысячи лет назад с Востока: с точки зрения жителей Западной Европы они были отчасти "варварами", однако сами венгры считали себя форпостом и оборонительным щитом Запада в его противостоянии реально угрожавшим Европе варварам. Динамика государственных границ на протяжении минувшего тысячелетия была для венгров позитивной, и в XX век они вошли как нация имперская: вторая по значимости в "двойной" Австро-Венгерской монархии. Ситуация радикально изменилась после Первой мировой войны: империя распалась, и в соответствии с Трианонским мирным договором (который венграми и по сей день воспринимается как источник незаживающей исторической боли) Венгрия стала одним из рядовых национальных государств, потеряв при этом ряд обширных территорий, отошедших к соседним Румынии, Словакии и Хорватии, венгерские жители которых получили статус национального меньшинства.

Осенью 1939 года, через два десятилетия существования в ранге независимого государства, в Будапеште вышел в свет сборник статей "Что есть венгерское?", в котором представители венгерской духовной элиты размышляли над проблемами национальной и культурной идентичности. Следующие полвека сложились для венгерской нации крайне неблагоприятно: формально сохраняя независимый статус, Венгрия стала союзницей фашистской Германии во Второй мировой войне, а после ее окончания на несколько десятилетий попала в сферу влияния советской империи, существуя в рамках так называемой "доктрины ограниченного суверенитета". Лишь после распада этой империи Венгрия стала независимой не формально, а реально; и через 15 лет новой независимости венгры решили повторить проект сборника "Что есть венгерское?", собрав под одной обложкой статьи и эссе полутора десятков современных венгерских интеллектуалов, которые рассматривают разные аспекты все того же постоянно волнующего их вопроса о сущности "венгерского". По-русски этот сборник вышел под названием *Венгерский гений* (пер. с венгерского **О. А. Володарской**, **Д. Ю. Анисимовой**. — М.: Логос, 2011. — 420 с.): слово "гений" понимается здесь в смысле "дух, выражающий сущность места своего обитания" (русское издание снабжено подзаголовком *Венгры, как они видят себя, Венгрию, свое место в истории и современном мире*).



О малоизвестных страницах из жизни другой бывшей части Австро-Венгерской империи — той, которая стала независимой Чехословакией,



рассказывает в своих очерках польский журналист **Мариуш Щигел**: в издательстве "Новое литературное обозрение" вышел сборник *Готтленд* (пер. с польского **О. Козеренко**. – М.: 2009. – 264 с.; фрагменты книги печатались в "ИЛ", 2009, № 1). Здесь и рождение и расцвет знаменитой "обувной империи" Антонина Бати (годы тридцатые), и недолгая жизнь самого большого в мире памятника Сталину (пятидесятые), и невеселая история популярной эстрадной певицы Марты Кубишовой (шестидесятые), которая – в отличие от своих коллег Карела Готта и Хелены Вондрачковой – выбрала судьбу нонконформиста, и еще много неожиданных и любопытных частных сюжетов и личных судеб.

Ну, а о специфических нюансах обыденной жизни тех, кому суждено было по факту рождения стать представителями какой-либо из европейских королевских династий, можно узнать из информативной и ироничной книги потомка древнего графского рода **Александра фон Шёнбурга** *Все, что вы хотели знать о королях, но не решались спросить* (пер. с немецкого **Е. Зись**. – М.: Текст, 2010. – 254 с.).

Аттила Бартиш
Attila Bartis
[р. 1968]. Венгерский писатель, драматург, фотограф. Лауреат премий Жигмонда Морица [1995], Тибора Дери [1997], Шандора Мараи [2002], Йожефа Аттилы [2005] и др.

Автор романа *Прогулка* [*A séta*, 1995], сборников новелл *Синеватая дымка* [*A kéklő pára*, 1998], *Апокрифы Лазаря* [*A Lazar apokrifek*, 2005], пьесы *Моя мать, Клеопатра* [*Anyam, Kleopatra*, 2002] и др.
Роман публикуется по изданию *A nyugalom* [Budapest: Magvető, 2001].

Дэниел С. Либман
Daniel S. Libman
Американский писатель. Работает книжным обозревателем в *Fifth Wednesday Journal* и держит небольшую ферму. Лауреат премии *Париж Ревью Дискавери* [1999] и Пушкартовской премии [2001].

Его рассказы и эссе напечатаны в *Details, The Paris Review, The Baffler, Columbia, Santa Monica Review, Beloit Fiction Journal, Northwest Review, Oxford Magazine, Confrontations* и др. Первый сборник рассказов *Женат, но все еще в поиске* [*Married but Looking*] выйдет в декабре 2011 года.
Рассказ *In the Belly of the Cat* взят из сборника *Лучшие произведения малой формы, удостоенные в 2001 г. Пушкартовской премии* [*The Pushcart Prize 2001. The Best of the Small Press.* Wainscott, New York: Pushcart Press, 2001].

Иван Голль
Ivan Goll
[1881–1950]. Немецкий поэт, прозаик, драматург. Писал на немецком и французском языках.

Автор поэтических книг *Стихи о любви* [*Poèmes d'Amour*, 1925], *Стихи ревности* [*Poèmes de Jalousie*, 1926], *Седьмая роза* [*Die siebente Rose*, 1928], *Иоанн Безземельный* [*Jean sans terre*, 1936, 1938, 1939, 1950], *Десять тысяч рассветов* [*Zehntausend Morgenröten*, 1954] и др.
Стихи *Блуждание* [*Irrsal*], *Сон-трава* [*Alasam*] и вступление Клэр Голль взяты из книги *Сон-трава* [*Das Traumkraut.* Wiesbaden: Limes Verlag, 1951]. Стихи *Рука каштана* [*Die Kastanienhand*], *Часы* [*Stunden*], *Дождевой дворец* [*Der Regenpalast*], *Соленое озеро* [*Der Salzsee*], *Древо праха* [*Der Staubbaum*] взяты из книги *Стихотворения в четырех томах. Том II. Стихи о любви 1917-1950* [*Die Lyrik in vier Bänden. Band II. Liebesgedichte 1917-1950.* Argon Verlag, 1996].

Евгений Михайлович Беркович
[р. 1945]. Математик, публицист, историк, издатель и редактор. Кандидат физико-математических наук. Создатель и главный редактор журнала *Семь*

Автор книг *Заметки по еврейской истории; Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории Холокоста. Заметки по еврейской истории двадцатого века*, сценария документального фильма *Вопросы к Богу*, а также многих статей, опубликованных в журналах *Нева, Лехаим, Вестник* [Балтимор], газетах *Еврейское слово, Международная еврейская газета, Русское слово, Горизонт* и многих других изданиях США, Израиля, Германии, России, Украины.

искусств и создатель сетевого портала *Заметки по еврейской истории*. С 1995 года живет и работает в Германии. Награжден медалью *За трудовую доблесть* [1985].

Наталья Александровна Громова
Московский прозаик и драматург, член Союза писателей Москвы, старший научный сотрудник Дома-музея М. И. Цветаевой.

Автор книг *Достоевский. Воспоминания. Письма. Дневники...* [2000], *Все в чужое глядят окно* [2002], *"Дальний Чистополь на Каме..." Писательская колония. Москва–Чистополь–Елабуга–Москва* [2005], *Узел. Поэты. Дружбы и разрывы. Из литературного быта конца 20–30-х годов* [2006], *Эвакуация идет...* [2008], *Распад. Судьба советского критика. 40–50-е годы* [2009] и др., более ста статей литературно-философского содержания.

Соломон Константинович Апт
[1921–2010]. Литературовед, переводчик. Лауреат премии имени Г. Гессе [ФРГ, 1982], Австрийской государственной премии [1986], премий фонда *Знамя* [1995], имени В. Жуковского [2000], имени Александра Меня [2006], был награжден Почетным крестом "За заслуги в области науки и искусства" [Австрия, 2001].

Автор книг *Томас Манн* [1972, в серии *ЖЗЛ*], *Над страницами Томаса Манна* [1980]. В его переводах издавались трагедии Эсхила, романы *Доктор Фаустус* и *Иосиф и его братья* Томаса Манна, *Степной волк* [*ИЛ*, 1977, № 4, 5] и *Игра в бисер* Г. Гессе, *Человек без свойств* и *Душевные смуты воспитанника Терлеса* М. Музиля [*ИЛ*, 1992, № 4], пьесы Б. Брехта и др.

Сергей Маркович Гандлевский
[р. 1952]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий *Малый Букер* [1996], *Московский счет* [2009], национальной премии *Поэт* [2010] и др.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых — книга стихов *Праздник* [1995], повесть *Трепанация черепа* [1996], избранное *Порядок слов* [2000], роман *<НРЗБ>* [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002], *Опыты в стихах* [2008].

Вера Владимировна Калмыкова
Поэт, филолог, кандидат филологических

Автор поэтической книги *Первый сборник* [2002], книг по истории искусства и истории литературы, в том числе *Венецианская живопись XV–XVI вв.* [Белый город, 2008], *XIX век. Национальные школы* [в соавторстве с В. Темкиным; Белый го-

наук. Главный редактор издательства *Русский импульс*.

род, 2008], принимает участие в издании словарей, энциклопедий и других справочных изданий по вопросам теории и истории литературы. Постоянно печатается в журналах *Нева*, *Октябрь*, *Юный художник*, в одесском альманахе *Дерибасовская-Ришельевская* и др.

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премий *Человек книги* [2004], имени А. М. Зверева [2010], журнала *Октябрь* [2010].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению*.

Переводчики

Дарья Юрьевна Анисимова
Лингвист, переводчик со словацкого и венгерского языков. Кандидат филологических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН.

В ее переводе публиковались стихи словацких поэтов М. Гауговой, Г. Кошковой, Ш. Моравчика, Р. Чижмарика и др., венгерских поэтов Б. Балашши, Э. Кукорелли, Ж. Раковски, а также *Сказки из Будапешта* А. Мошони, пьеса *Казематы* А. Тереи и Я. Паппа.

Антон Владимирович Ильинский
[р. 1976]. Переводчик с английского и испанского языков. Журналист, переводчик художественных фильмов.

В его переводе выходили романы Ф. Пулмана, Э. Фуэнтеса, М. Пуига. В *ИЛ* в его переводе был опубликован рассказ А. Хемона *Слепой Йозеф Пронек* [2003, № 1], роман М. Пуига *Поцелуй женщины-паука* [2003, № 6], эссе С. Д. Ливайн и Р. Пигльи [2003, № 10], фрагменты книги Т. Конновера *Новичок, или Как я охранял "Синг-Синг"* [2004, № 4] и др.

Вальдемар Вебер
[р. 1944]. Поэт, прозаик, переводчик с немецкого. Пишет на русском и немецком языках. Лауреат Литературной премии министерства культуры герцогства Люксембург [1993], Главной литературной премии ПЕН-клуба Лихтенштейна [2002], Первой премии международного конкурса имени Анатолия Маковского в номинации "Проза" [2002].

Автор книг *Tränen sind Linsen. Gedichte und Essays* [на немецком языке, М., 1992], *Тени на обоях. Стихи и переводы с немецкого* [М., 1995], *Черепки. Книга стихотворений* [М., 2000], *Scherben. Gedichte* [Augsburg, на немецком языке].
Составитель многих антологий классической и современной немецкой поэзии.

В оформлении обложки использован фрагмент картины венгерского художника Дежё Корнишша [1908–1984] *Печаль* [1944].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3);
в книжном магазине "dodo-space" (Рождественский бульвар, д. 10 / 7).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.08.2011
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 35.
Тираж 5500 экз.
Отпечатано ОАО "Типография "Новости", 105005, Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Присланные рукописи не возвращаются и не рецензируются.

МИЛОШЕВСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ РУССКИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Польский Институт книги
объявляет конкурс на лучшие переводы Чеслава Милоша,
приуроченный к 100-летию со дня рождения поэта.
Жюри конкурса:
Игорь Белов, Томас Венцлова, Наталья Горбаневская
(председатель), Адам Поморский, Андрей Хаданович.

Тексты стихов, предложенных на перевод, можно найти на сайте польского фонда ЗА ВАШУ И НАШУ СВОБОДУ, соорганизатора конкурса: http://zawolnosc.eu/milosz-konkurs/ wiersze/

Тексты прозы: http://zawolnosc.eu/milosz-konkurs/proza/

Каждый участник присылает на конкурс от 3 до 10 переведенных стихов из числа предложенных Институтом книги, а также от 1 до 3 переводов предложенной прозы.

Переводы следует присылать по электронному адресу:
milosz.konkurs@gmail.com

Срок подачи переводов - до 25 октября 2011 года.

Итоги конкурса будут объявлены 30 ноября 2011 года и помещены на сайте Института книги. Церемония награждения победителей состоится в середине декабря в польском посольстве в Москве.

Победителям будут вручены премии:
1 премия - 50 000 рублей.
2 премия - 30 000 рублей.
3 премия - 20 000 рублей.

Переводы участников конкурса, вошедших в шорт-лист (первые 10 мест), будут включены в состав сборника, который выйдет в 2012 году и будет представлен в Москве и Кракове. Для группы победителей конкурса будут организованы также переводческие мастер-классы в Польше.

---

[10] 2011

ПОЛЬША: ЛИТЕРАТУРА ФАКТА — МИНИРОМАН ПЕТРА ЧЕРСКОГО "ОТЕЦ УХОДИТ" / ПЬЕСА ТАДЕУША СЛОБОДЗЯНЕКА "ОДНОКЛАССНИКИ" / ВОЙЦЕХ ТОХМАН, ВЛОДЗИМЕЖ НОВАК И ДР. В РУБРИКЕ "РЕПОРТАЖ СЕГОДНЯ" / ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА: "МАНДЕЛЬШТАМ В ПОЛЬШЕ" АДАМА ПОМОРСКОГО И "ИВАШКЕВИЧ. ПИСАТЕЛЬ НА ФОНЕ КАТАСТРОФ" МАРЕКА РАДЗИВОНА / "ГРОМ: СИЛА И ЧЕСТЬ" — БЕСЕДА С ГЕНЕРАЛОМ СЛАВОМИРОМ ПЕТЕЛИЦКИМ В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА"